

К 83,39 (= ЧУВ)

4-82

ЧУВАШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

К - 46526

10
класс

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
БЕСПЛАТНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР
Уч. р.

к

ЧУВАШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматия

10 класс

Для школ с многонациональным составом
учащихся и русских школ

Допущено
Министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики

01173
2007.05.09
Кр

ЧУВАШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЧУВАШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЧУВАШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Чебоксары
Чувашское книжное издательство
2007

УДК 373.167.1

ББК 83.3 (2 Рос=Чув) я 72

Ч 82

Автор-составитель **В.Н. ПУШКИН**

10 класс

Многонациональный состав учащихся и русских школ

Чувашская Республика

ПРОВЕРЕНО
20 10 22 МАР 2017

К-46526

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ч 82 **Чувашская литература: Хрестоматия для 10 класса школ с многонациональным составом учащихся и русских школ / Авт.-сост. В.Н. Пушкин. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2007. — 383 с.**

ISBN 978-5-7670-1532-0

УДК 373.167.1

ББК 83.3 (2 Рос=Чув) я 72

Ч 82

ISBN 978-5-7670-1532-0

© В.Н. Пушкин, 2007

© Чувашское книжное издательство, 2007

ДОРОГИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ!

Вы приступаете к изучению нового предмета — «Чувашская литература». До сих пор вы знакомились с чувашским языком — одним из древнейших в семье тюркских языков. Новый предмет является продолжением дисциплины «Чувашский язык» и тесно связан с «Культурой родного края».

В хрестоматию включены отрывки из наиболее значительных произведений известных чувашских писателей. Она предусматривает изучение чувашской литературы на основе исторического подхода и в какой-то степени охватывает все основные этапы ее развития. Из-за отсутствия переводов на русский язык в хрестоматию не включены памятники древней тюркской письменности, средневековой болгарской культуры, старописьменной литературы. Большое внимание уделено произведениям XVIII и XIX веков, а основной базой изучения чувашской словесности является литература XX века.

Перед вами на первых порах возникнут немалые трудности в связи с тем, что по новому предмету отсутствуют дополнительные учебные наглядные пособия, а также хрестоматия по внеклассному чтению. Поэтому можно рекомендовать замену отсутствующих художественных текстов другими произведениями. Программа также позволяет использовать вариативность в изучении тем, авторов и произведений по тому или иному периоду.

Принцип вариативности также предполагает возможность выбора конкретного произведения одного и того же автора с учетом их художественных и духовно-нравственных достоинств.

Естественно, в учебной хрестоматии невозможно представить все богатство чувашской литературы, поэтому здесь находит отражение лишь ее ядро. К сожалению, творчество

некоторых весьма интересных чувашских писателей в хрестоматии не представлено, так как нет переводов их произведений на русский язык.

Изучение чувашской литературы должно предоставить общие сведения о ней и сформировать целостное представление о чувашской словесности как виде национального искусства. В ходе анализа конкретных произведений вам предстоит выявить специфические особенности и общность чувашского фольклора и литературы с русской и зарубежной, познакомиться с главными вехами ее развития, осознать общечеловеческую ценность и национальную самобытность лучших образцов словесного творчества чувашского народа.

Тексты художественных произведений, помещенные в хрестоматию, дадут вам возможность увидеть эстетическое и философское богатство чувашской национальной литературы, раскрыть закономерности развития чувашского искусства в контексте духовной культуры русского и других народов.

В хрестоматии наряду с текстами произведений даны краткие биографические сведения о писателях.

При составлении статей о жизненном пути и творчестве писателей были использованы справочник «Писатели Советской Чувашии» М. И. Юрьева и З. В. Романовой, монографии и статьи о чувашских писателях.

Итак, перед вами книга, с которой вам предстоит работать не просто как читателю, а как вдумчивой творческой личности.

Удачи Вам!

Василий ПУШКИН,
кандидат педагогических наук,
доцент, член Союза писателей
России, заслуженный работник
образования Чувашской
Республики

ЛЕГЕНДЫ

Земля Улып^{*1}

По рассказам древних стариков, в те далекие времена, когда людей на нашей чувашской земле еще не было, а лишь шумели сплошные дремучие леса, — с южных Арамазейских гор спустился Улып-Великан. Его послал на нашу землю бог-громовержец Аслати², чтобы творить добро. Улып был огромного роста и обладал богатырской силой. Ему ничего не стоило перешагнуть реку. Высокие сосны были ему только по пояс.

Спустившись с гор, Улып увидел в долинах многочисленные стада. Их пасли очень маленькие, по его понятиям, люди. Скот, за которым они ухаживали, давал им пищу и одежду.

Улып забыл наказ отца Аслати, отобрал у людей скот и разорил их жилища. Выбрав самую красивую девушку, женился на ней и стал жить хозяином всех богатств здешней земли. Жена родила ему двух сыновей. Сыновья от отца-великана росли тоже богатырями-великанами. Они пасли стада и ходили на охоту. Их стрелы поражали любого зверя за семь верст.

В весенний праздник Калм³ умерла их мать. Улып погоревал-погоревал и пошел искать себе жену на родных горах Арамази.

День прошел, два прошло, три минуло, нет Улып. Сыновья забеспокоились и отправились на поиски своего отца. Поднялись на самую высокую гору и нашли его прикованным к скале. Увидев сыновей, он сказал:

* Перевод С. Шуртакова.

¹ Улып — исполин, богатырь.

² Аслати — гром.

³ Калм — весенний праздник чувашей-язычников, совпадающий с Пасхой.

— За то, что я ослушался Аслати и вместо добра сеял зло, боги приковали меня здесь на вечные времена. Так что вы, дети мои, не сейте злые семена, не делайте людям вреда, а поселитесь среди них и живите в мире и согласии. Идите отсюда прямо на север. Через три дня вы дойдете до большой реки, впадающей в море, и продолжите ваш путь вдоль этой реки. Через семь лет вы придете в такое место, где река соединяется с другой такой же большой рекой. Здесь вы жертвоприношением умилостивите богов и попросите их, чтобы они помогли вам в дальнейшей жизни. А после этого поселитесь: младший — между реками, а старший — по правую сторону той реки, которая впадает в море. Это будет родиной вашего племени. И если вы посеете на этой земле семена добра, ваши потомки будут помнить и почитать вас во веки веков.

Сыновья обещали выполнить наказы отца, попросились и ушли. Зная, что больше он никогда уже не увидит своих сыновей, Улып заплакал горючими слезами. Его слезы растопили горные льды, и с гор потекли в долины ручьи, заливая зеленые луга. Луга покрылись красными и белыми цветами.

Сыновья Улып пошли со своими стадами на север. Вскоре им преградили путь горные люди, но они отбились от них и через три дня пришли к большой реке, впадающей в море. Они назвали эту реку Адыл — Волга и ее берегом пошли дальше. Здесь им пришлось защищаться от нападений степных людей. Добрались они до горного кряжа, который рассекала река, и за которым начинались густые непроходимые леса. Лесные люди тоже пытались остановить их, но они при своей богатырской силе легко справились с ними и продолжили свой путь.

Ровно через семь лет они пришли в то место, о котором говорил отец: здесь в Адыл вливалась другая столь же великая река. Братья остановились, в ближайшую среду зарезали утку и принесли ее в жертву богу-громовержцу Аслати.

— Грозный Аслати! — обратились братья с молитвой к богу. — От всего сердца приносим тебе эту жертву и просим сделать так, чтобы наше племя росло и крепло. Сохрани нас, о великий Аслати, от всех зол и бед, от врагов и недругов, от злых духов, от моря, от огня, от голода. Пусть наш скот плодится и наши стада увеличиваются. Пусть наши желания

сбываются. Помыслы наши чисты, и мы надеемся, верим, ждем, что все так и будет!

После этого младший сын Улыпа поселился между реками, а старший занял правый берег Адыла вплоть до того места, где впадает в нее тихоструйная Сура.

Однажды старший сын охотился и забрел на другой берег Суры. Там он увидел поле, сплошь покрытое желтыми стеблями с колосьями. Он спросил у людей, которые работали на этом поле, кто они и что делают.

— Мы — русские, убираем созревший хлеб, — ответили ему.

С тех пор сын Улыпа сам начал корчевать леса и очищенные места засеивать рожью.

Когда во время пашни в лапти набивалось много земли, великан снимал их и вытряхивал. На этих местах образовались большие ли, малые ли холмы, которые и по сей день зовутся Землей Улыпа.

И весь наш народ ведет свое происхождение от племени Улыпа.

Гора Чабырлы*

В седую незапамятную старину на берегах Свяги жил Улып. Тогда там и леса росли гуще, и деревья были выше. Трава и та была такая, что в ней всадник с конем мог скрыться. Звери, водившиеся в степях и лесах, тоже были крупнее. Однако же крупнее и сильнее Улыпа-Великана не было никого.

Однажды Улып решил отдохнуть после охоты. Остановился он на берегу Волги, вытряхнул пыль из одежды, начал умываться. Одной рукой он черпал воду из Волги, а по другой руке, по шее и по спине вода стекала в Свягу. Да так много воды натекло, что Свяга разлилась. Захотел Улып прилечь, глядит — кругом сыро. Тогда он поднялся на гору Пушчу, что возвышалась между Волгой и Свягой. Гора была покрыта дремучим лесом, и когда на нее лег Великан, ему показалось, что спину то тут, то там покалывает.

— На какую-то колючую траву, что ли, угодил, — проворчал Улып, поднялся и стал выдергивать с корнем деревья.

* Перевод С. Шуртакова.

Из этих деревьев он сделал себе шалаш на берегу Свияги. «Только, пока я буду спать в шалаше, — подумал Великан, — как бы вода из речки не затопила его». И взял да и русло, по которому текла Свияга, повернул в сторону горы Пушчи. Текущая до этого места прямо река пошла кружным путем.

Покончив с этими хлопотами, Улып, наконец, лег отдыхать. Как и все великаны, спал он долго. За это время разлив на Свияге кончился, река вошла в свое русло, и в том месте, где Улып вытряхивал пыль из одежды, глинистые прежде берега Свияги покрылись толстым слоем чернозема.

Богатырь еще спал, как на него напали пришедшие из южных степей враги. Окружили Великана, колют пиками, секут мечами.

— То ли плохо я умылся — потом лицо шиплет, то ли комары кусают, — ворчит во сне Улып, проводит ладонью по лицу и смахивает врагов, как обыкновенную мошкарку.

Отмахивался он так во сне раз да два, потом проснулся. Видит — со всех сторон лезут на него полчища врагов.

— Вон какие это окаянные слепни мне спать не дают! — сказал рассерженный Великан.

Поднялся он во весь свой рост, махнул правой рукой — смахнул половину вражеского войска в Волгу, махнул левой — вторая половина в Свияге оказалась. В одном месте, в долине, какая-то часть войск уцелела. Так туда рассерженный Улып бросил горсть земли. Врагов земля похоронила, из нее образовалась целая гора. Гору эту потом назвали Горой Чабырлы. Она и по сей день видна издалека.

Мост Азамата*

В очень давние времена жил спустившийся с гор Арамази Улып-богатырь. У него было много скота, и жил он в полном достатке и довольстве. Всякие беды и несчастья обходили его стороной.

Но однажды кто-то из богов, видно, разгневался, горы Арамази затряслись, загредел гром, засверкала молния, и полились нескончаемые потоки воды. Горные озера и реки

* Перевод С. Шуртакова.

вышли из берегов, и потоки воды устремились в долины и начали заливать луга, на которых Улып пас свои стада. Такого еще никогда не бывало, и Улып не знал, что делать, чтобы спасти свои стада. А луга с каждым днем затопляло все больше. Тогда Улып, при своей богатырской силе, начал перебрасывать своих коров, овец, лошадей на более высокие, незатопленные места.

Три дня и три ночи трудился Великан, но скота у него было так много, что до окончания дела было еще далеко.

По соседству с Улыпом жил кузнец-богатырь Азамат. Решил Азамат помочь своему соседу. За семь дней и ночей он сковал узорчатый, сверкающий семью цветами мост. Один конец моста упирался в горы Арамази, другой опускался на волжские луга.

Улып со своей женой перегнал свои стада по этому мосту на волжский берег. И как только все стада перешли через мост, он исчез, стал невидим.

Теперь этот семицветный мост можно видеть только в ясную погоду после дождя. Вот почему чувашки возникающую после дождя радугу называют Мостом Азамата.

Чемень*

В древности среди наших дедов и прадедов жил, говорят, один богатырь по имени Чемень. Всегда одетый в воинские доспехи, он разъезжал на белом коне по чувашской земле и охранял ее границы от врагов. Богатырская слава Чеменя была громкой, его знали далеко за пределами родной земли, и среди врагов не находилось охотников мериться с ним силой и молодецкой удалью.

Прожил Чемень долго. Но пришло время умирать богатырю. Перед смертью он собрал всех чувашей и сказал:

— Мне пришла пора умирать. Как умру, похороните меня вместе с моим конем и богатырскими доспехами. Если нападут враги, и я вам понадобится, придите на могилу и позовите меня: «Чемень! Чемень!», и я выйду к вам на помощь.

Умер богатырь. Похоронили его, как он просил: вырыли в горе большую могилу, одели умершего в воинскую одежду и посадили на коня, а рядом положили щит и меч.

* Перевод С. Шуртакова.

Чемень умер, а его слава, его имя остались в народе, его памяти. О ратных подвигах богатыря старики рассказывали сыновьям и внукам.

Однажды весной, когда молодежь рядом с курганом, в котором был похоронен Чемень, водила хороводы, парни вспомнили о богатыре. Вспомнили передаваемые из поколения в поколение его слова о готовности в лихую годину прийти на помощь своему народу. Молодым парням очень хотелось посмотреть на богатыря.

— А давайте позовем его, — предложил один из них.

Парни пошли на курган и хором закричали:

— Чемень! Чемень!

Земля разверзлась, и из кургана выехал Чемень на белом коне в одежде воина и воинских доспехах.

Парни перепугались, но Чемень их не тронул. Он пустился в свой знакомый путь, объехал всю чувашскую землю и вернулся в курган.

С тех пор на чувашских детей напал мор. И малые, и большие ребята мрут, да и только. Старики собрались вместе, говорят меж собой:

— Это Чемень, наверное, посылает мор на наших детей, обиделся, что его напрасно потревожили.

Пришли старики на курган, закололи быка, и дети перестали умирать.

С тех пор Чеменю каждый год приносят в жертву быка.

Лунная девушка*

Давным-давно, в незапамятные времена, жила на земле злая-презлая колдунья. У колдуньи была падчерица — тихая, работающая, и собой писаная красавица.

Не любила колдунья свою падчерицу, постоянно ругала, изводила непосильной работой. А та, хоть бы ей что, все такая же красивая да пригожая. Заговорит — словно жаворонок запоет, улыбнется — будто ясным солнышком все кругом осветит. Всем нравилась красавица, все ее любили. Но это только еще больше злило мачеху, и задумала она во что бы то ни стало погубить падчерицу.

Однажды, в глухую полночь, колдунья примчалась невесть

* Перевод С. Шуртакова.

откуда на своей железной мялке, разбудила спящую девушку и говорит:

— Сбегай-ка на речку, свежей водицы испить захотелось!

Девушка встала с постели, взяла ведра с коромыслом и пошла на реку.

«Пойти-то ты, красавица, пошла, а вот поглядим, вернешься ли», — думает про себя колдунья.

Ночь была ясная, морозная. С неба светила полная луна, под ногой снег похрустывал.

Любуясь лунным сиянием, девушка спустилась к проруби. Сняла с коромысла ведра, чтобы зачерпнуть воды, а когда выпрямилась — в ужасе отшатнулась: со всех сторон ее окружали страшные ведьмы. Они носились вокруг нее на помельях и мялках, протягивали костлявые руки, шелкали железными зубами.

В страхе девушка зажмурилась, взяла ведра на коромысло и заспешила домой. Не тут-то было! Ведьмы не отстают от нее ни на шаг, загораживают дорогу, со всех сторон тянут страшные руки, вот-вот растерзают.

Девушка в отчаяньи озирается, но кругом — ни души, только одна-одинешенька луна с неба светит.

— Не дай погибнуть, ясный месяц! — взмолилась девушка.

Луна услышала мольбу девушки, засияла еще сильнее и на своих лучах подняла девушку с ведрами и коромыслом к себе. Теперь ведьмам до нее было уже не дотянуться.

С тех пор в ясные ночи на полной луне и видится девушка с коромыслом на плечах. Приглядитесь получше — обязательно увидите.

НАРОДНЫЕ ЗАГОВОРЫ, ЗАКЛИНАНИЯ*

Заговоры от дурного глаза

* * *

Вот пришла старуха Ажабатман:
Во рту — один зубок,
Сзади — один волосок,
Это она ворожит, она лечит,

* Перевод А. Прокопьева.

На белом коне скачет,
В белую кошму прячется,
Белого пса кличет.

Черная туча рышет,
Гром грохочет,
Молния сечет,
Дождь по крышам бьет,
По черной земле хлещет,
Течет да очищает.

Так же пусть из имярека
Дурной глаз выйдет,
Выйдет да очистится:
Черный ли глаз упал,
Светлый ли глаз упал,
Карий ли глаз упал,
Серый ли глаз упал,
Белый ли глаз упал,
Косой ли глаз упал,
Голубой ли глаз упал.

Вот пришла старуха Ажабатман.
Она ворожит, она лечит:
Золотой ветлой шумит,
Золотой метлой метет,
Хлещет да очищает.

Так же пусть из имярека
Нечистое выйдет,
До вечера будет вылечен,
До утра будет чист нутром,
Хорошим пусть будет,
Пригожим пусть будет.
Аминь.

* * *

Глаз шиворот-навыворот,
Глаз навывоте,
Карий глаз!
Со стороны восхода
Идет красный бык:

Одним рогом сорок аршин земли роет,
Другим рогом сорок аршин неба несет.
Когда красный бык прибежит — забодает,
Пусть тогда лишь
Дурной глаз имярека возьмет!

Со стороны полудня
Идет пегий бык:
Одним рогом сорок аршин земли роет,
Другим рогом сорок аршин неба несет.
Когда пегий бык прибежит — забодает,
Пусть тогда лишь
Дурной глаз имярека возьмет!

Со стороны заката
Идет черный бык:
Одним рогом сорок аршин земли роет,
Другим рогом сорок аршин неба несет.
Когда черный бык прибежит — забодает,
Пусть тогда лишь
Дурной глаз имярека возьмет!

Заговоры от огня и пожара

* * *

На солнце девица
В красном шубыре¹ явится.
Пусть тогда лишь огонь
Наш дом возьмет,
Когда девица в красном шубыре
До стены дотронется.
С огненного месяца
Красный бык свесится.
Пусть тогда лишь огонь
Наш дом возьмет,
Когда красный бык
Потолок проломит,
На Звезде Зари
Красный конь горит.

¹ Шупӑр (чуваш.) — летняя женская верхняя одежда из белого полотна.

Пусть тогда лишь огонь
Наш дом возьмет,
Когда красный конь
На окно налетит.

* * *

Стоит золотая гора,
На золотой горе — золотой лес,
В золотом лесу — золотая изба,
В золотой избе — золотая печь,
В золотой печи — золотой огонь.
Золотой огонь, уймись, уймись!
Досточтимый, почтенный, на место ляг!

Стоит серебряная гора,
На серебряной горе — серебряный лес,
В серебряном лесу — серебряная изба,
В серебряной избе — серебряная печь,
В серебряной печи — серебряный огонь.
Серебряный огонь, уймись, уймись!
Досточтимый, почтенный, на место ляг!

Стоит медная гора,
На медной горе — медный лес,
В медном лесу — медная изба,
В медной избе — медная печь,
В медной печи — медный огонь.
Медный огонь, уймись, уймись!
Досточтимый, почтенный, на место ляг!

Заговоры от воды

* * *

Глядь-поглядь: черный столп,
На черном столпе — черный петух.
Когда под водой окажусь,
Пусть черный петух крылами забьет,
Волну остановит,
Тогда лишь вода возьмет.

Глядь-поглядь: красный столп,
На красном столпе — красный петух.
Когда под водой окажусь,
Пусть красный петух крылами забьет,
Волну остановит,
Тогда лишь вода возьмет.

Глядь-поглядь: белый столп,
На белом столпе — белый петух.
Когда под водой окажусь,
Пусть белый петух крылами забьет,
Волну остановит,
Тогда лишь вода возьмет.

* * *

В воду когда
Земной бык
Вровень с землей,
Рогом зарывшись, войдет,
Пусть тогда лишь вода
Имярека возьмет.

В воду когда
Земной бык
Вровень с землей,
Спиной зарывшись, войдет,
Пусть тогда лишь вода
Имярека возьмет.

В воду когда
Земной бык
Вровень с землей,
Хвостом зарывшись, войдет,
Пусть тогда лишь вода
Имярека возьмет.

Заговор от горечи и желчи

В семьдесят седьмом море на острове
Золотая гора стоит,
На золотой горе — золотой улей,

В золотом улье — золотые соты,
На золотых сотах — золотая пчела.
Когда мед золотой пчелы станет горьким,
Пусть тогда лишь имяреку станет горько.
От проказы, от дьявола, от нечистой силы
На земле — чемерица злая,
От злой чемерицы и я злой,
Полынь горькая,
От полыни и я горек,
Лук едкий,
От лука и я едкий.

В семьдесят седьмом море на острове
Серебряная гора стоит,
На серебряной горе — серебряный улей,
В серебряном улье — серебряные соты,
На серебряных сотах — серебряная пчела.
Когда мед серебряной пчелы станет горьким,
Пусть тогда лишь имяреку станет горько.
От проказы, от дьявола, от нечистой силы
На земле — чемерица злая,
От злой чемерицы и я злой,
Полынь горькая,
От полыни и я горек.
Лук едкий,
От лука и я едкий.

В семьдесят седьмом море на острове
Медная гора стоит,
На медной горе — медный улей,
В медном улье — медные соты,
На медных сотах — медная пчела.
Когда мед медной пчелы станет горьким,
Пусть тогда лишь имяреку станет горько.
От проказы, от дьявола, от нечистой силы
На земле — чемерица злая,
От злой чемерицы и я злой,
Полынь горькая,
От полыни и я горек,
Лук едкий,
От лука и я едкий.

Заговор от порчи

И-и, бесмелля, Господи помилуй!
Пусть моленье с жертвой дойдет,
Мертвых с живыми Бог наш помилует.
День будет впрок,
Человеку — урок,
Без запинки сказать,
Без заминки дунуть-плюнуть,
Заговорить.
Польза будет — исцеленье будет,
Вечно заклинать не нужно будет.

Не я дую-плюю —
Посреди степи да темный лес,
В темном лесу да круглое озеро,
В круглом озере
С золотыми волосами,
С серебряными зубами
Ажабатман-старуха сидит,
Это она дует,
Это она плюет.
Если вышло — выйди,
Если не выходит — выйди,
Уже идет, уже режет,
Уже колет, уже отпускает.

Зло воровское,
Зло резаное,
Зло колотое,
Зло недужное.
Зло дьявола,
Зло киреметя
Пусть как дым разойдется-рассеется,
Из имярека пусть выйдет.
Из тела — из плоти,
С лица — с облика,
Из костей — из ключиц,
Как вошло,
Откуда пришло,
Так же пусть выйдет,
Туда же пусть войдет.

Черные тучи пусть явятся,
Под черными тучами — черная девица.
Когда черной девице
На волос будет порча,
Пусть тогда лишь имярек
Будет порчей взят.

Красное солнце пусть явится,
Под красным солнцем — красная девица.
Когда красной девице
На волос будет порча,
Пусть тогда лишь имярек
Будет порчей взят.

Гриве буланого коня Пигамбара¹
Когда будет порча,
Пусть тогда лишь имярек
Будет порчей взят.

Как весенние воды журча,
Как осенние воды шепча,
Выйди, нечистая сила,
Из имярека!

Славная Мать Огня,
Дунь и выдуй!
Славная Мать Огня,
Дуй и выдуй!
Славная Мать Огня,
Дуй и выдуй!

Месяц проходит — пусть пройдет,
День проходит — пусть пройдет,
Ночь проходит — пусть пройдет.
Как вихрь взметает,
Пусть выйдет нечистая сила.
Как чистая вода,
Как намытое золото,
Как белое серебро,
Пусть останется имярек!

¹ Пихампар (*чув.*) — один из приближенных ко Всевышнему Благому Богу благих духов, охраняющий стада и людей от волков. Волк — собака Пигамбара.

Как одним путем сходятся,
На сто дорог расходятся.
Так же пусть нечистая сила
Из имярека выйдет!

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ*

Поминальные

* * *

Ай-гай, ты, дядя наш, дядя Шагай,
Где-то кости твои сейчас лежат?
— Там, где мостик решетчатый, они лежат,
Под скирдою сена они лежат,
У крутого обрыва они лежат.
«Умирая, там был я три дня, три ночи,
Я свистел тебе, матушка, ты не слышала,
Я манил тебя, матушка, не видели очи, —
Вот тогда-то душа из меня и вышла».

* * *

И-и, несчастный наш белый свет —
Солнце одно и Луна одна.
Какой-никакой, а все-таки свет.
И-и, несчастный загробный мир —
Семь там Солнышек, семь там и Лун.
Семь-то их семь, а света от них никакого.

* * *

Осенью посеянные всходы ржи
До весны нам больше не увидать,
До весны нам больше не увидать.

Ах, родной мой, повторяю, ах, родной,
Пока сами не умрем — тебя не повидать,
Пока сами не умрем — тебя не повидать.

* Перевод А. Прокопьева.

Рекрутские

* * *

Только что срезанный свежий веник
Дайте отцу — пусть он парится, парится,
Пусть он парится, как полагается,
Нас не дожидается.

Только что купленную новую шубу
Матери дайте — пусть она носит,
Носит пусть, носит, как полагается,
Нас не дожидается.

Только что купленный новый халат
Дайте невестке — пусть она носит,
Носит пусть, носит, как полагается,
Нас не дожидается.

Только что купленный новый платок
Дайте сестрице — пусть она носит,
Носит пусть, носит, как полагается,
Нас не дожидается.

Только что купленные сапоги
Старшему брату дайте — пусть носит.
Носит пусть, носит, как полагается,
Нас не дожидается.

Только что купленный новый картуз
Младшему брату дайте — пусть носит.
Носит пусть, носит, как полагается,
Нас не дожидается.

* * *

Где медведь не смог продрасться — мы прошли через овраг,
Где медведь не смог продрасться — мы прошли сквозь лес
дремучий,

Сестра, а сестра, поговори со мной...

Каша пшенная в амбаре, с маслицем ее поесть...

— Пусть стоит на радость псу, пусть стоит на радость псу.

Сестра, а сестра, поговори со мной...

Солнце сядет, ночь придет, с девицей бы поиграться...
— Жди-пожди, все понапрасну, жди-пожди,
все понапрасну.

Сестра, а сестра, поговори со мной...

Сердится ль ее отец, сердится ль ее отец...
— Выпейте же ковш до дна, выпейте же ковш до дна.
Сестра, а сестра, поговори со мной...

Сердится ли мать ее, сердится ли мать ее...
— Кружку выпейте до дна, кружку выпейте до дна.
Сестра, а сестра, поговори со мной...

Сердится ли старший брат, сердится ли старший брат...
— Чарку выпейте до дна, чарку выпейте до дна.
Сестра, а сестра, поговори со мной...

Сердится ль ее невестка, сердится ль ее невестка...
— Кошелек уж пуст до дна, кошелек уж пуст до дна.
Сестра, а сестра, поговори со мной.

Сурхури — святочные

* * *

В поле выйдешь — женщин нет,
В дом вернешься — мужчин нет,
В печь заглянешь — жаркого нет.
Жизнь проходит, а счастья нет.

Говорят, Сурхури¹ не кончается,
Сурхури приходит и уходит.
Жизнь проходит — Сурхури возвращается,
Жизнь проходит — Сурхури не проходит.

* * *

Как в лесу оставит следы лиса,
Как в лесу оставит следы лиса.
Нет лисы, а следы тянутся —
Счастье нам никак не достанется.

¹ Сурхури — святки. От Сурӕх ырри — Овечий Дух, название божества.

Мохноногий сыч на мякиннице,
Мохноногий сыч на мякиннице
Сторожит-стережет курицу —
Умница сычу не достанется.

Длинноногий в горнице молодец,
Длинноногий в горнице молодец
Сторожит-стережет девицу —
Умница ему не достанется.

* * *

Кони мчатся, шеи вытягивая,
Кони мчатся, шеи вытягивая,
Шелковые вожжи натягивая,
Шелковые вожжи натягивая.

Едет наш родной, о нас вспоминая,
Едет наш родной, о нас вспоминая,
Куний свой тулуп под себя уминая,
Куний свой тулуп под себя уминая.

Куньего тулупа на всем базаре нет,
Куньего тулупа на всем базаре нет,
Такой родни, как наша, во всей деревне нет,
Такой родни, как наша, во всей деревне нет.

* * *

На высокую гору бы я взошел,
На высокую гору бы я взошел,
И на белом бы камне я написал:

Если б это в моей было воле,
Если б это в моей было воле,
Я счастливую б долю себе написал.

* * *

Пара вороных вровень бежит,
По ременным вожжам белый пот бежит,
По ременным вожжам белый пот бежит.

Как подумаешь сразу обо всем,
Парой вороных слезы побегут,
Парой вороных слезы побегут.

Будем запрягать, да запряжем гнедых,
Одного коня будет мало нам,
Одного коня будет мало нам.

Родила нас матушка, значит, счастья дай,
Ведь одних невзгод будет мало нам,
Ведь одних невзгод будет мало нам.

* * *

Спойте нам да спойте, повторяют,
А спрятана где песня — не знают...

А спрятана где песня — не знают,
А спрятана песня в зеленой шкатулке.

А спрятана песня в зеленой шкатулке,
Зеленая шкатулка лежит на чердаке.

Зеленая шкатулка лежит на чердаке,
Открыть его хотела, да ключика нет.

Открыть его хотела, да ключика нет,
А ключик малый матушка с собой унесла.

А ключик малый матушка с собой унесла,
А матушка у старшей сестрицы в гостях.

А матушка у старшей сестрицы в гостях,
А старшая сестра живет за Камою-рекой.

А старшая сестра живет за Камою-рекой,
Пойти к сестре хотела, да мостика нет.

Срубить хотела мостик, а жердочек нет,
Срубить хотела жердочек — топорика нет.

Срубить хотела жердочек — топорика нет,
Топор купить хотела — ай, денежек нет.

Топор купить хотела — а денег-то и нет,
А где бывают денежки — того никто не знает.

А где бывают денежки — того никто не знает,
А денежки бывают перед самым царем.

А денежки бывают перед самым царем,
А царь-то перед нами на троне сидит.

* * *

Пущу коня шагом ли, рысью ли,
Пущу коня шагом ли, рысью ли,

Прежде чем околицу миновать,
Прежде чем околицу миновать.

Миновал околицу, стал траву косить,
Миновал околицу, стал траву косить,

О цветочках-ягодках знать не знал,
О цветочках-ягодках знать не знал.

О цветочках-ягодках если б знал,
О цветочках-ягодках если б знал,

Ту траву бы, матушка, не косил,
Ту траву бы, матушка, не косил.

Ягодник скосил я да улей поставил,
Ягодник скосил я да улей поставил,

О гнезде осином да знать не знал,
О гнезде осином да знать не знал.

О гнезде осином если бы знал,
О гнезде осином если бы знал,

Улья бы, матушка, не оставил я,
Улья бы, матушка, не оставил я.

Вдоль широкой улицы избу срубил,
Вдоль широкой улицы избу срубил,

О соседской зависти знать не знал,

О соседской зависти знать не знал.

О соседской зависти если б знал,

О соседской зависти если б знал,

Этот дом бы, матушка, не ставил я,

Этот дом бы, матушка, не ставил я.

Посреди поля*

(Сиротская песня)

Посреди поля дуб развесистый.

Показался он мне родным батюшкой.

Но не промолвил он: «Сын мой, здравствуй!» —

Опечалился и загорюнил я...

Посреди поля липа широкая.

Показалась она мне родной матушкой.

Но не звала она меня к себе —

Опечалился и зарыдал я...

Посреди поля береза белая.

Показалась она любимой девушкой.

Но не сказала она: «Подойди, милый», —

Опечалился и зарыдал я...

Песни девушек на предсвадебном девичнике**

* * *

Ласточка-чернушка с двойным хвостом,

Ласточка-чернушка с двойным хвостом,

В небо она, матушка, держит путь,

В небо она, матушка, держит путь.

Где же она сядет да отдохнет,

Где же она сядет да отдохнет?

Ни сучка, ни веточки на небе нет,

Ни сучка, ни веточки на небе нет.

* Перевод М. Сироткина.

** Перевод А. Прокопьева.

Останутся без дочери матушка с отцом,
Останутся без дочери матушка с отцом,
На кого же в старости опереться им,
На кого же в старости опереться им?

Обопрется батюшка да на соху,
Обопрется батюшка да на соху,
Обопрется матушка на ткацкий стан,
Обопрется матушка на ткацкий стан.

* * *

Ласточка-щебетушка, ты черный цвет,
Ласточка-щебетушка, ты черный цвет,
Улетишь и вернешься, так Бог велит,
Улетишь и вернешься, так Бог велит.

Матушка да батюшка, мы в цвете лет,
Матушка да батюшка, мы в цвете лет,
Улетим — не вернемся, так Бог велит,
Улетим — не вернемся, так Бог велит.

Дикий гусь рыдает: кигак да кигак,
Дикий гусь рыдает: кигак да кигак.
Никого, наверно, несчастнее нет,
Никого, наверно, несчастнее нет.

Как расстаться с матушкой, с батюшкой как?
Как расстаться с матушкой, с батюшкой как?
Никого несчастнее девушки нет,
Никого несчастнее девушки нет.

Оттого ли зелены были холмы,
Оттого ли зелены были холмы,
Что под снегом тающим трава росла,
Что под снегом тающим трава росла?

Оттого ль, подружки, как ягодки вы,
Оттого ль, подружки, как ягодки вы,
Что подружкам не было здесь числа?
Что подружкам не было здесь числа?

Саламалик!*

(Величаявая речь свадебного головы)

Саламалик. Слава угощению.
Привечаете ли вы нас?
Если вы рады нам, то мы три шага вперед,
Если не рады, то мы три шага назад...
Ехали мы к свату между небом и землей,
Пересекли дремучий лес в шестьдесят верст,
Проехали степью семьдесят верст,
Как ехали дремучим лесом,
То повстречались с оленем.
Отростки его рогов золотые,
Кончики копыт серебряные,
Хвостик у него ковыльный.
Рогами он чертит — след прокладывает.
Копытами ступает — дорогу прокладывает.
Хвостиком метет — дорогу разглаживает.
Мы той дорогой и приехали...

Плач невесты**

* * *

Кленовая дудка строгаётся,
Березовая — ломается.
Отцова семья убавляется,
Чужая семья прибавляется.

* * *

Если прилетает черный ворон,
Видно, за цыпленком он прилетел.
Алгашский чуваш — черный, как ворон,
Видно, за мной он прилетел.

* * *

Новеньким пряду веретеном —
Никакого шума не слышу.

* Перевод М. Сироткина.

** Перевод А. Прокопьева.

Не успею войти в чужой дом —
О себе пересуды услышу.
У железных саней — полоз медный,
Блеск его на дороге останется.
Голос мой — колокольчик медный,
Пусть на улице он останется.

* * *

Зачерпнула воды у колодца,
У крыльца остановилась — сердце бьется.
Сердолик опустила — не тонет,
Серебро опустила — не плывет.
Пожелала б всего хорошего
Пареньку из Старо-Алгашева,
Да у Бога не принято спрашивать;
Божье слово, что волосы спутаны:
И от суженых мы не отсужены.
Тот, кто Богом вовсе не суженный,
Сам отстанет — и не отваживай.

* * *

Из дому вышла — поклонилась,
От семьи своей отделилась.
Из сеней вышла — поклонилась,
От родни своей отделилась.
Из ворот поехали — поклонилась,
От подружек своих отделилась.
Из села поехали — поклонилась,
От селян своих отделилась.
На чужбину поехали — поклонилась,
От родной земли отделилась.

* * *

Дикie утки где кричат?
А посреди семи рек.
Дикie гуси где гогочут?
А посреди семи городов.
Ах, матушка, матушка моя,
Где твоя дочь плачет?
А посреди чужой семьи.

Песни перед выездом в дом жениха

«Чарик» да «марик» — в добрый путь,
«Чарик» да «марик» — в добрый путь,
Скрип да скрип — со снопами воз,
Скрип да скрип — со снопами воз.

Если не скажем — «в добрый путь»,
Если не скажем — «в добрый путь»,
Вряд ли поедет с гостями воз,
Вряд ли поедет с гостями воз.

Нам по дороге в дальний дом,
Нам по дороге в дальний дом
Грач и сорока не нужны,
Грач и сорока не нужны.

В доме, куда мы вместе войдем,
В доме, куда мы вместе войдем,
Нам ненавистники не нужны,
Нам ненавистники не нужны.

Свадебная плясовая

Айда, иньгэ¹, сено косить —
Не говори, что коса не берет.

Айда, иньгэ, рожь убирать —
Не говори только: серп туповат.

Айда, иньгэ, жать ячмень —
Не говори, осыпался весь.

Айда, иньгэ, пшеницу жать —
Не упрямясь, на месте не стой.

Айда, иньгэ, овес убирать —
Да, почесываясь, долго не стой.

Айда, иньгэ, посконь брать —
Да, переминаясь, на месте не стой.

¹ Инке (чуваш.) — тетя.

Айда, иньгэ, конопель рвать —
Да, потягиваясь, на месте не стой.

Айда, иньгэ, полбу жать —
Да, вертясь, на месте долго не стой.

Айда, иньгэ, чечевицу жать —
Только: «Ямщик едет», — не говори.

* * *

Отец выдал замуж дочку через лес,
Пусть, мол, волк любимую доченьку съест.
У меня же, бедной, тулуп волчий есть,
Волк меня не тронет, ни за что не съест.
Отец выдал замуж через реку дочь,
Пусть, мол, ночью в речке утонет дочь.
У моей же лошади — крылья с плавниками,
Утонуть в реке мне никак невмочь.
Ах, отец мой, батюшка, ровно белка скачет —
Бедну доченьку увидеть он хочет.
На высокий дуб забрался и глядит,
Только дочь его у корней сидит.
Отец выдал замуж в голую степь,
Пусть замерзнет, говорит, дочь его здесь.
Но поленниц у нас шестьдесят сажень,
Ни за что от холода мы не умрем.

Шла синица...*

Непоседливой синице
Не ложится, не сидится,
И подумала синица:
«Не пойти ли в гости к птицам?»

Надо ястреба проведать,
Буду с ястребом обедать.
— Ты ко мне? — спросил он строго,
Кочергой прогнал с порога.

* Перевод А. Лайко.

Надо бы сову проведать,
У нее и отобедать.
А сова топоршит перья,
А сова — как хлопнет дверью.

Что ж, проведуя сороку,
Дом ее неподалеку.
Час сорока говорила —
Болтовнею угостила.

Надо бы скворца проведать,
Буду со скворцом обедать.
Червячка мы поделили,
Ключевой водой запили.

Надо воробья проведать:
Просит воробей отведать
Пшениной каши, булки белой,
Жаль, что я уже поела.

Раздобыла я сластей
И зову к себе гостей.
Только ястреба, сову
И сороку — не зову.

Спокойной ночи*

На полати старичок,
Старичок,
Лег и курит табачок.
Пых!
Пых!

А старушка на печи,
На печи,
Улеглась и ну чихать —
Ап —
Чхи!

* Перевод А. Лайко.

А в конюшне конь живет,
Конь живет,
Сено да овес жует.
Хруп,
Хруп.

А собака под крыльцом,
Под крыльцом,
У собаки хвост кольцом.
Гав!
Гав!

Дремлет кошка на окне,
На окне,
Замурлыкала во сне.
Мур!
Мур!

Пальцы на моей руке*

Ты, БОЛЬШОЙ, куда ходил?
— За мукой, муку добыл.

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ, а ты?
— К роднику, набрать воды.

СРЕДНИЙ, ты где пропадал?
— Хворост в роше собирал.

БЕЗЫМЯННЫЙ, ты где был?
— Клецки вкусные варил.

А МИЗИНЕЦ, что успел?
— Что успел? Я клецки съел!

* Перевод А. Лайко.

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЦЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ



ЕРМЕЙ РОЖАНСКИЙ

(1741 — первая четверть XIX века)

Ермей Иванович Рожанский родился в 1741 году в г. Курмыш. Отец научил его читать и писать. В течение восьми лет учился в Нижегородской духовной семинарии. Работал дьяконом в Нижнем Новгороде, попом в Курмыше. В 1765 году его назначили проповедником в Ядринском и Курмышском уездах для ведения миссионерской работы среди чувашей. На этой должности находился до начала XIX века. Вначале он был сторонником насильственного распространения христианства среди чувашей, позднее понял, что такой способ неэффективен.

Е.И. Рожанский был переводчиком, автором оригинального очерка. В 1785 году написал очерк «О чувашах, живущих в Нижегородской епархии», редактировал «Словарь языков разных народов...», который содержал 12 тысяч слов.

Дата смерти неизвестна.

О чувашах

Они признают разных богов в разных случаях и называют их следующими именами:

Великий Бог	Мән Торă
Великого Бога мать	Мән Торă амăш
Бог	Торă
Божия мать	Торă амăш
Небесный Бог	Пўлѣхсѣ Торă
Небесная мать	Пўлѣхсѣ амăш
Бог плодов	Хѣрлѣ сьр
Бог земли	Сѣр ашшѣ
Мать земли	Сѣр амăш

Из коих Великого Бога (Мӑн Торӑ), Великого Бога мать (Мӑн Торӑ амӑшӗ), Бога (Торӑ) и Божию мать (Торӑ амӑшӗ) просят чуваши в великих требованиях, яко от них сотворенных зависящих и раждаемых, чтобы ниспослали, умножали, утвердили в следующем разуме:

Боже великий! Великого Бога мать! Боже! И божия мать!

Творцы и хранители вселенныя, создатели человеков, помилуйте, сохраните и не оставьте нас.

Мӑн Торӑ! Мӑн Торӑ амӑш! Торӑ и Торӑ амӑш тӑваканӗ, осраканӗ!

Ќанталӑкӑн ҫоратаканӗ, этемсамӑн (тӑваканӗ), ҫырлахсамӑр, осрасамӑр, ан пӑрахсамӑр перя.

Небесного Бога (Пӗлӗхҫӗ Торӑ) и Небесную мать (Пӗлӗхҫӗ амӑшӗ) просят о просвещении людей, о ниспослании благорастворенного воздуха, благовременного дождя и других служащих благополучию людей, скотов и прочих одушевленных тварей.

Небесный боже! Небесного Бога мать! Просветите всех людей, очистите воздух, излейте вовремя дождь и обогатите нас, наших скотов и прочих животных всяким изобилием.

Пӗлӗхҫӗ Торӑ! Пӗлӗхҫӗ амӑшӗ! Ќуталтарсамӑр пор халӑхсама, тасатсамӑр ҫотсанталӑка, йохтарсамӑр хисеплӗ ҫомӑр, пойтарсамӑр перя перен выльӑх-чӗрлӗхсама, пор ырлӑхпа.

Бога плодов (Хӗрлӗ ҫыр) просят, чтобы он пришедшие от земли всякие плоды сохранил от ветра и от всякого губительства.

Боже, хранитель плодов (Хӗрлӗ ҫыр), сохрани наши нивы и всякие плоды, от земли происшедшие, не побей градом, не поломай ветром и всякого губительства повреждением не приведи нас к разорению.

Хӗрлӗ ҫыр, осра перян тырра, пор ҫӗртен тохнӑ япаласама, пӑрпа силпе, пор осаллӑхпа ан ҫӗмӗрсе яр: перя тӗпех ан тӑв.

Отец земли (ҫӗр ашшӗ), Мать земли (ҫӗр амӑшӗ), укрепите землю и дайте ей силу производить все то, что людям и скоту полезно и потребно.

ҫӗр ашшӗ, ҫӗр амӑшӗ, ҫирӗплетсамӑр ҫӗре, парӑр она вӑй, ҫитӗнтерме порӗ, мӗн халӑха, выльӑха кирлӗ полать.

Общая всем и всегда, употребляемая чувашские молитвы следующие:

Боже! Помилуй, Боже! Не откинь меня, Боже! Сохрани меня, Боже! Дочерей и сыновей дай мне.

Умножи хлеба до наполнения житниц.

Наполни двор мой всяким скотом. Умножи лошадей, коров, овец и протч.

Торă! Ырлах, торă! Ан прах мана, Торă! Осра мана, Торă! Хёрывăл пар мана!

Пар тырă клетсама толтармалăх.

Толтар пахча манăн пор выльăхпа. Хотăштар лаша, ёне, сорăхсама.

Подобно сему просят и всяких своих потребностей, изъясняя их в просьбе своей особенным названием каждую вещь без всякой красоты и умножения слов.

Пред обедом, пред ужином и пред начатием всякого дела говорят вместо молитвы одно слово: «милля», которое значит: «Благослови, Бог». А после ястия и по окончании дела нередко говорят: «Рахмат, Тора», благодарность Богу.

Во время поминок умерших бросают на могилы куски блинов, лепешек, пирогов и всякого мяса, говоря «сер унче полтър»¹, то есть «это перед вами»; плещут тут ковшами пиво с приговором «пиве патър», что значит: вот вам для отведки.

Жертвы у чуваш бывают следующего содержания. Они по смерти своих родственников обмывают обыкновенно, а по омытии своим семейством и с сшедшимися родственниками и соседями несколько поют в доме умершего и обходят в близкие к селению их овражки, где есть хотя малое течение воды и где умерший в жизни своей на свою пашню, луга и в лес хаживал; и сделавши небольшой мостик (кёпер) из досок или перекладцов, и все без изъятия чрез него переходя пробуют твердость онаго. И как будут о его твердости чрез то уверены, то попив тут пива и с плесканием рук поиграв в гусли, призывают умершего: поди, крепок мосток сделали (килях, сирёп кёпер хывса тăврăмър). Потом, возвратясь к умершему, сказывают и тут тоже самое: поди, поди, мост для тебя крепкий изготовили (каях, каях, кёпер саншăн сирёп хывса килтёмър) и относят его к погребению.

¹ Сирён умърта пултър.

После погребения спустя несколько дней приходят в нарочитом собрании к тому же мосточку, у которого приготовят заколотое животное, то есть могущие быка, а другие барана и пива, чем и довольствуются сами, и на имя умершего уделяют некоторую часть. И, пировавши, призывают умершего вышеписанным приглашением: поди, поди (килях, киях) и, будто увидевши, с восторгом кричат единогласно: идет, идет (килет, килет), причем, напившись и наевшись того приготовления, остаточные от мяса кости сжигают и отходят в дом.

В осеннее время, а именно в ноябре, которой чуваша называют «чўк ойăх» — жертвенной месяц, ходят в разные лесные овраги и там всяк по своей силе закалывает быка или барана, и, сваря с своим семейством, ест и пьет пиво в знак поминания прежде умерших родственников, и при том пиршестве напоминает всяк из них о жизни, поведении, нравах, обхождениях и прочих качествах умершего, какие кто вспомнить может.

В летнее время промышляют черных овец или баранов. А отыскав, приводят их в лес, где, привязав головою вверх к сучку какова ни есть дерева с тем, чтоб то животное, глядя к небу, просило бога о ниспослании дождя к напоению их полей, а чтоб оно произносило голос, укалывают его с обеих сторон шилами и, когда оно от того укалывания закричит, то считая его за угодное богу и за полезное себе, закалывают и делают жертву (чўк), употребляя мясо в пищу, а кости сожигают огнем. Если же то животное, хотя и многократно укалываемое, не закричит, то оно в жертву не приносят, считая богу не угодным и себе не полезным.

ХВЕДИ ЧУВАШ

Современник А.С. Пушкина, был выходцем из верховых чувашей. Биографические данные о нем неизвестны. Предполагают, что родился он в 1810—1815 годах, жил вблизи Чебоксар или в самом городе. Был неграмотным. В 1833 году русский поэт, краевед, собиратель чувашского фольклора Д.П. Ознобишин, записывает у народного певца, поэта-импровизатора «из чуваш Феде», песни, представляющие собой произведения чувашской народной лирики. «Нешлифованным алмазом» назвал он чувашского певца-самородка.

Эти песни были дважды опубликованы в 1833—1834 годах Д.П. Ознобишиным в журнале «Заволжский муравей», выходившем в Казани. В 1840 году они также были опубликованы в книге «Записки Александры Фукс о чувашах и черемисах Казанской губернии».

Песни Хведи стали первой публикацией устной поэзии чувашей в печати. Поэт-самородок был из крестьян, и все его песни непосредственно связаны с устным творчеством родного народа.

Стихи Хведи Чуваш по форме своей напоминают народные песни. Они отличаются неподдельной безыскусностью и народностью. Историки чувашской литературы отмечают, что песни Хведи, хотя и являются перепевами народных песен, но в них присутствует самостоятельность творчества. Безусловно, песенно-поэтическое творчество Хведи можно считать своеобразным мостом от фольклора к письменной поэзии чувашей.

* * *

Куковала кукушка на елке,
Перепелка кричала во ржи,
Соловей на черемухе щелкал, —
И мне песнь захотелось сложить!

* * *

Жил, на черной работе состарясь,
Но душа моя чистой осталась;

У богатого ж — коль обнажить —
Совесь черная: алчен и ловок.
На рубле может сотню целковых,
А на сотне — и тыщу нажить.

* * *

Плачет жалобно чибис в осоке:
Нет подруги и нет чибисят.
Над обрывом грустит вяз высокий, —
Обнаженные корни висят...
Так и мы...
Нас в различные сроки
И беда и печаль посетят.

* * *

Кто в жизни не был
— того не считай
— кто в жизни не был
— того не считай

* * *

Кто в жизни не был
— того не считай
— кто в жизни не был
— того не считай



НИКИТА БИЧУРИН

(1777—1853)

Великий сын чувашского народа Никита Яковлевич Бичурин родился 29 августа (по н. с. 9 сентября) 1777 года в с. Акулево Цивильского уезда (ныне д. Типнеры Чебоксарского района Чувашской Республики) в семье дьякона.

Свою учебу, по словам биографа Н. Щукина, в будущем один из зачинателей чувашской книжной поэзии и художественной прозы начал в «училище нотного пения города Свияжска», а оттуда перешел в Казанскую семинарию. Биографы отмечают, что Н.Я. Бичурин в 1790 году обучался в высшем латинском классе, а в 1793 году — в классе риторики, по освоению предметов был оценен как «отличного понятия» и «понятия превосходного».

В 1800 году Н.Я. Бичурин постригся в монахи и стал носить имя Иакинф. Вскоре ему поручили управление Казанским иоановским монастырем, а в 1802 году назначили ректором Иркутской духовной семинарии, откуда был переведен на должность преподавателя риторики Тобольской семинарии. Здесь он начал самостоятельно изучать восточные языки — татарский, арабский, китайский.

В 1807 году его назначили членом духовной Российской миссии, отправлявшейся в Пекин. Глава Российской миссии отец Иакинф в Китае усердно занимался миссионерской деятельностью: переложил на китайский язык и напечатал краткий катехизис, в церквах миссии постоянно отправлял богослужение. Овладев китайской разговорной речью, он составил китайский словарь вещей с рус-

ским произношением и переводом, изучил десять тысяч иероглифов.

В мае 1821 года члены духовной миссии отправились из Пекина домой в Россию, где отец Иакинф «был подвергнут наказанию за отказ дать какие-либо объяснения по обвинению его в разных поступках» и заключен в монастырскую тюрьму.

«Неутолимая литературная деятельность, изумившая не только русский, но даже и иностранный ученый мир», как отмечал востоковед Н.И. Веселовский, начинается с 1826 года. Как литературные, так и научные работы ученого монаха вызывали особый интерес всей прогрессивной интеллигенции России того времени. В стихотворениях и одах Н.Я. Бичурина прославляется разум, воспевается «просвещенный иерарх», т. е. идеи российского просвещения XVIII века, которые провозглашали равноправие народов. Поэтическим творчеством, главным образом переводами, ученый монах занимался и в зрелые годы. «Я привык писать одно дельное, высказывать откровенно, и притом в коротких словах», — писал Н. Я. Бичурин. Он имел хорошие отношения с деятелями русской культуры, московскими литераторами, с такими, как Н. И. Надеждин, Н. А. Полевой, Д. П. Ознобишин и др. В литературных салонах Петербурга он общался с И. А. Крыловым, И. И. Панаевым, А. В. Никитенко, там же он подружился с декабристом Н. А. Бестужевым. По воспоминаниям М. П. Погодина, в гостиной В. Ф. Одоевского «сходились веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими сузившими глазками...» По настоянию и ходатайству А. С. Пушкина в журналах «Северные цветы» (1832) и «Телескоп» (1833) были напечатаны путевые записки Н. Бичурина «Байкал» и «Прогулка за Байкал» (позже они были объединены автором и названы «Отрывки из путешествия по Сибири»).

1826—1837 годы — период нового восхождения Бичурина: в 1828 году он был избран членом-корреспондентом Российской академии, а в 1831 году — действительным членом Азиатского общества в Париже, в 1835 году стал лауреатом Демидовской премии Академии наук (впоследствии этой премии он удостоился еще три раза).

Н. Я. Бичурин умер в 1853 году в Петербурге.

Байкал

25 мая в 5 часов вечера я распростился с Иркутском. По дороге к Байкалу, называемой Заморскою, минуя городскую заставу, немедленно поднимаешься на Крестовскую гору, облегающую Иркутск с южной стороны. Кладбище с тремя ка-

менными церквами, расположенное по сей горе над самым городом, представляет очень хороший вид. Возвышенности от кладбища далее на юг покрыты густым мелким березняком и сосняком, отчего весною и осенью много бывает сырости и мокредин. При небольшом труде можно бы сии места превратить в поля или луга, и в обоих случаях город много выиграл бы, получив здоровое и красивое местоположение с сей стороны. Но только что переступите за межу городской земли, то вправо открываются холмистые поля и луга, пересекаемые перелесками и источниками. Пред вами внизу расстилается светлая Ангара, усеянная островами. Сии места, по их прелестному положению, составляют в летнее время лучшее гулянье для горожан. На десятой версте лежит Большая Разводная, село, расположенное на самом берегу Ангары. Здесь предел очарования, производимого силою трудолюбия на хорошей почве. Отселе чем далее к Байкалу, тем природа становится и диче, и угрюмее. Дорога более лежит местами болотистыми, неудобными к населению. По левую сторону тянутся горы, покрытые хвойным лесом. Из их падей вытекает множество горных речек и ключей. Вправо синее Ангара, омывающая подошву высоких гор, покрытых лесом. Левый берег совершенно необитаем.

На двенадцатой версте второго переезда, при реке Тальце, находится стеклянный завод, на котором делают еще фарфоровую и фаянсовую посуду и ткнут в небольшом количестве солдатские сукна. Виденные мною образчики фарфора изрядны. Глазурь на фаянсе желтоват и темен. Стекло и белое, и зеленоватое средней доброты ...

Уже в три часа утра я приехал в Никольское зимовье, бедную деревушку, лежащую на берегу Ангары. Деревянная церковь во имя св. Николая, построенная для проезжающих, совершенно обветшала. Здесь есть небольшая, но спокойная пристань, в которой суда, плавающие по Байкалу, останавливаются на зимовку или для починок. Пятью верстами далее находится Лиственничное зимовье, расположенное по узкому каменистому берегу Байкала подле высоких гранитных гор, покрытых лиственничным лесом. Зимовьями называют здесь одинокие избышки, построенные для временного приюта зимою в необитаемом месте: но ныне и целые селения, заведенные на таковых местах, удерживают

названия зимовей. В Лиственничном находится этапный дом, почтовый двор и до десяти обывательских домиков. Местоположение не позволяет жителям заниматься ни хлебопашеством, ни скотоводством. Они пропитываются только рыбным и звериным промыслами.

На пространстве между селениями Никольским и Лиственничным Ангара выходит из великого своего водоема — Байкала, перекатываясь чрез каменные вершины высочайшей подводной горы между собою. Ангарское жерло содержит в себе около 2-х верст в ширину, на протяжении не более 10 саженей, при глубине, достаточной для пропуска больших судов. Сие подводное ущелье лежит в 20 саженях от правого берега и называется береговыми воротами. На половине переката выдалась из воды острая гранитная вершина, называемая Шаманским камнем, вышиною до двух саженей над поверхностью реки и около семи саженей в окружности. Чайки убелили сей камень, оставляя на нем следы своего пребывания, а монголы избрали оный священным местом для поклонения духу, охранителю сих мест.

Ангара, при выходе своем из Байкала, течет с таким стремлением, что на тридцать верст от устья никогда не покрывается льдом. Говорят, что поверхность Байкала 69-ю саженями выше поверхности Ангары, протекающей подле Иркутска. Это можно усмотреть из самого местоположения. Иркутск расположен на небольшом мысу, образующем подошву гор, которые от южной городской заставы продолжаются до самого Байкала, постепенно возвышаясь. Почему некоторые не без основания опасаются, что сей город соделается жертвой Байкала, если сильный удар землетрясения осадит каменное русло жерла ангарского.

Байкал, по-монгольски Байгал, есть собственное имя, данное сему озеру монголами, первобытными обитателями его окрестностей. Уверяют, что китайцы еще в 119 году до Р. Х. видели Байкал с Боргойского хребта и, соглашаясь созвучность сего имени с местоположением в отношении к своему отечеству, назвали сие озеро Бэй-Хай, что значит «северное море». Жители Восточной Сибири наименовали Байкал морем единственно по его обширности; но он не имеет ни одного из качеств, свойственных морям. Вода в нем пресная, светлая, весьма холодная. Периоди-

ческих приливов и отливов, также стремления вод в одну которую-либо сторону никогда в нем не бывает. В Байкале находятся только две вещи, общие ему с морями: тюлени, которых здесь называют нерпами, и морская губка, называемая бодягою ...

На рейде пред Лиственичным стояли два казенных судна, определенные для перевоза путников, едущих по подорожным. Небо было пасмурно, при крепком северо-западном ветре, который, впрочем, был недостаточен для больших судов. Я не имел терпения сидеть на пустом берегу: поставил бричку в рыбацью лодку, плывшую отселе прямо в Селенгу, и в 11 часов утра отправился в путь. Рыбачьи лодки считаются удобнейшими для скорой переправы через Байкал, потому что при безветрии могут идти на веслах, а при сильном волнении не столько подвержены качке, как большие суда.

Чем более мы отдалялись от берега, тем более развертывалась пред нами картина окрестных видов. Вскоре показалось солнце и представило красоты их в полном блеске. Лесистые горы беспрерывно тянутся по западному берегу Байкала, и чем далее к северу, тем становятся выше. Темно-зеленая хвоя оттеняет вершины их одну от другой в разных направлениях. В туманной дали юго-востока Хамар-дабан выходил из волн морских во всей своей огромности. Северо-восточный берег еще был невидим, и лазуревый небосклон сливался с темною поверхностью вод. О! Что значат пейзажи славнейших художников в сравнении с подлинниками их в природе! Там удивляешься высокому искусству в подражании и ничего более не чувствуешь. Здесь, напротив, истаиваешь в невыразимых удовольствиях души и наконец весь исчезаешь в смиренном благоговении к невидимой некоей силе.

В два часа пополудни миновали мы Кадильное, а в пять и Голоустное. Сии два зимовья суть единственные селения на всем западном берегу Байкала, если только два дома с почтовым двором можно назвать селением. Пред закатом солнца ветер начал стихать, и вскоре совершенно замер. Хозяин привязал руль и с своими работниками спокойно предался сну — в десяти верстах от берега. Якорей, по причине глубины, не бросают.

28-го. В три часа утра солнце еще скрывалось от нас за горами, как первые лучи его уже рассыпались по их вершинам и золотом отразились в зеркальной влаге. В горных падах медленно образовались туманы. Они густели, темнели, разветвлялись и наконец начали отдаляться от гор целыми рядами облаков. Во все утро царствовала глубокая тишина. Наконец, гладкая поверхность Байкала начала рябеть, и вскоре направление облаков сделалось однообразным к северо-востоку. Мы снова пустились в путь по ветру попутному. По мере как Хамар-дабан тонул в синеве юго-востока, в отдаленности северо-востока открывались новые горы. Но Хаимские гольцы (в Восточной Сибири гольцами называются высочайшие горы, коих вершины состоят из каменных громад, не имеющих ни травы, ни дерева), еще за двести верст видимые из-за других гор, оспаривали первенство у самого Хамар-дабана. Гранитная плоскость их, покрытая вечными снегами, представляла белейший венец, лежавший на темнохвойной сливной макушке прочих гор. Бесподобна величественная картина!

В три часа пополудни пронеслись над западным берегом небольшие дождевые тучи и вслед за оными по темно-зеленой плоскости вершин древесных и образовались ряды белоснежных холмов. Это были новые облака, еще в младенчестве своем. В пять часов ужасная буря ринулась с гор на море, и я еще в первый раз увидел, как ветер со свистом свертывал воду и перебрасывал ее через огромные валы. Но в это самое время мы успели войти в устье Селенги, а на другой день (29-го) в семь часов утра пришли в Чертовку, небольшое селение, лежащее на левом берегу Селенги, в 20-ти верстах от ее устья. Сие селение тем достопримечательно, что в августе собирается сюда множество народа для засола омулей, промышляемых как в самой Селенге, так и в устьях ее.

Устье Селенги разделяется на пять больших рукавов и занимает обширную равнину, содержащую в себе около 70 верст в длину и столько же в ширину. Сия равнина нечувствительно возвышается от моря до самых восточных гор, вся состоит из наносного ила и есть не что иное, как произведение самой Селенги. Во времена, не известные самим преданиям, горы те служили восточным пределом Байкала. Се-

ленга, увлекая быстрым течением землю, отторгаемую от рыхлых своих берегов и, наконец, слагая сию ношу при впадении в Байкал, медленно образовала помянутую равнину. Сим же образом и ныне продолжает увеличивать оную: ибо, по уверению здешних старожилов, в течение последних тридцати лет образовалось около пяти верст материка, который едва отделяется от поверхности воды, и, кроме некоторых трав, тростника и тальника, ничего еще не произрашает. Подводные мели, могущие впоследствии образовать новый материк, простираются уже далеко в море и отличаются от глубы глинистым цветом воды. (...)

В двенадцать часов утра, оставя Чертовку, я отправился в дальний путь. Дорога через станцию Кабанскую и Таркановскую лежит долиною, пересекаемую небольшими возвышениями и перелесками. Впереди с трех сторон синелись горы, покрытые темным хвойником. Селенга извивается около подошвы их, протекая в талинной тени. Прелести юной весны только что начинали разворачиваться по нежной зелени лугов.

За десять верст до Ильинской станции лежит на берегу Селенги Троицкий заштатный монастырь. Церковь в нем каменная, недавно построенная старанием нынешнего настоятеля; ограда ветхая, деревянная, с такими же башенками по углам. (...) Отселе до Ильинской дорога лежит ровным лугом.

В шесть часов утра, оставя Ильинскую станцию, я проехал десять верст ровным же лугом до переправы на правый берег Селенги. Отселе вверх до самой границы с Монголиєю сия река усеяна островами, которые, по рыхлости берегов почвы, образует и уничтожает по своему произволению. Недавно в сих окрестностях смыло водой остров, под которым лежало большое плоскодонное судно.

По переправе через Селенгу дорога поворачивает в горную долину на северо-восток вверх по речке Итанце. По берегам ее лежат небольшие, но частые селения, поблизости коих паслись стада, а за паствами пестрились тучные луга. По горным отлогостям зеленелись полосы бархатных озимей, а подле них желтели ряды прошлогодней соломы на корню или чернелись отдыхающие залежи.

Такая пестрота забайкальского земледелия есть необходи-

мое последствие климата и обстоятельств. Сия страна состоит более из гор и долин. До завоевания оной обитали здесь монголы, которые по удобности для скотоводства более кочевали по близости к воде. По этой причине берега Селенги и речек, впадающих в нее, представляют собой голые степи, а горы доселе остаются покрыты дремучим лесом. Русские поселенцы первые начали здесь заниматься земледелием и по собственным опытам узнали, что в горных долинах весной сильные ветры выдувают посеянные зерна, а летом ранние инеи побивают хлеб еще не дозревший; по сей причине стали избирать под хлебопашество места возвышенные. Каждый вновь поселяемый сам для себя расчищает землю; и как почва здесь вообще рыхла и не требует навоза, то каждый делит свою землю на две части, из коих одну засеивает, смотря по доброте почвы от двух до пяти лет сряду, а потом оставляет на несколько лет для отдыха и засеивает другую: вот почему здесь невозможно ввести трехпольного разделения полей.

Переезды Корымский и Турулевский еще недавно заселены, и во всех сельских занятиях видна юность домоводства. От Турулевки далее дорога лежит дремучим лесом, склоняясь по отлогости хребтов на северо-запад до реки Хаима, на левом берегу коей построен почтовый двор в тридцати верстах от впадения сей реки в Байкал. Таков же точно и переезд Гремяченский, склоняющийся на северо-запад до самого Байкала, по берегу коего еще четыре версты до станции Гремяченской, также состоящей из одного почтового двора. Дорога на сих двух переездах имеет большую покатость от подошвы Хаимских гольцев до Байкала, почему и реки, выходящие из сих гольцев, текут с чрезвычайною стремительностию. Следующий переезд весь лежит по самому берегу Байкала до реки Турки. Переправясь через сию реку при самом ее устье, вступите в Туркинское селение, состоящее из одного почтового и шести обывательских дворов; отселе останется девять верст до горячих вод, названных по речке Туркинскими.

Пространство от Турулевки до Турки представляет пустыню, в которой одна только дорога показывает следы труда человеческого, а все прочее напоминает первобытных времен дикость. Употребите усилие достигнуть со мною вершин Хаима и с высоты его окиньте взором окрестность во все

четыре стороны. Вам представятся горы за горами, одни других выше, одни других темнее, одетые дремучими непрерывными лесами. Отдаленные гольцы кое-где прерывают сие единообразие, белея на мрачных покатах, образуемых вершинами дерев. Сия беспредельная пустота, сие повсеместное безмолвие нечувствительно увлекают воображение до первых времен мира и после кратковременного мечтания погружают душу в какое-то самозабвение. Здесь природа как будто сохранила первобытную свою девственность. Но я должен был расстаться с любимую детскою мыслью увидеть огромные древние деревья, современные возрождению нашего мира. Кедр и сосна, лиственница и ель находятся под общими законами природы. Деревя также имеют юность и возмужалость, старость и кончину. Отжившие свой век на высоких местах, пред смертью начинают сохнуть с вершин. Растущие на низких местах чахлы, маловетвисты; мох высасывает из них соки, и они умирают преждевременно. Здесь на отвесных покатосях высочайших каменных громад лежат миллионы кедров и елей, упавших с обрушившимися скалами или опровергнутых ураганами; подле них уже начинают возникать новые поколения. После ураганов лесные пожары составляют второй бичь для лесов. На земляной почве огонь съедает только сухую траву и хворост, не вредя деревьям; а на каменном грунте, где корни лесин расстилаются по поверхности, он истребляет обширные леса. Дерево с обгоревшим корнем лишается органов к принятию влаги и засыхает.

Прежде узкая тропа, проложенная зверями по направлению горных падей через болота и пески, составляла единственный проход через сию пустыню. Сколько трудностей переносили путешественники, сколько скота погибало под тяжестью вьюков! Г. Трескин первый устроил нынешнюю большую дорогу, сократив ее почти на 80 верст против прежней. На устройство сей дороги употреблено было два лета; весь край Забайкальский участвовал в трудах и издержках. (...) От теплиц далее к Баргузину еще нет тележной дороги, а ездят верхом такими тропами, по которым и пешему ходить трудно. (...)

Туркинские горячие воды находятся в полутора верстах от Байкала на восток в логу посреди обширной долины. Строе-

ние, известное под названием теплиц, лежит на южном возвышении сего лога и состоит из длинного корпуса с шестью номерами для пребывания пользующихся водами. В каждом номере по две кровати, а по нужде могут поместиться и шесть человек. (...)

Главный ключ серных минеральных вод находится в 130 саженях выше теплиц. Он углублен около аршина в серый камень, из которого бьет несколькими отверстиями и покрыт небольшой деревянною беседкою. Вода к купальням проведена крытым деревянным желобом. Она содержит зимою 41°, а летом 42° по Реом (ера); почему для умерения оной подведена к купальням холодная вода из ключей, лежащих в том же логу с горячими. Главный ключ холодной воды выходит несколькими саженями выше горячего; отседе вниз почти по всему правому берегу проседают холодные ключи. В самом же логу, как и в купальнях, со дна, покрытого толстым слоем песка, прорываются ключи горячей воды; из него заключают, что масса серной печенки лежит во всю длину сего лога; но сверху покрыта толстым слоем тины, по которой перебирается вода холодных ключей. Далее по дороге к Баргузину в нескольких местах еще находятся горячие ключи. (...)

Туркинская горячеводская долина, как и окрестные горы, была покрыта дремучим лесом; но в 1828 году лесной пожар опустошил сию долину с частью окрестных гор. Теперь она вся завалена обгоревшими лесинами и глухо обросла кустарными растениями. Здешние леса состоят из сосны, кедра, лиственницы, ели, пихты, березы и осины. Из кустарных растений много багульника, ракитника, ольхи, кизильника, таволги, бузины, шиповника, боярышника, розмарина и жимолости с темно-голубыми ягодами. Из ягод растут рябина, черемуха, смородина, черника, голубика, брусника, шикша, морошка, княженица и земляника. Также родятся все грибы, свойственные хвойным лесам. В тайгах и по каменным вершинам гор водятся лоси, зубры, медведи, олени и белки. Лисиц и соболей мало.

По берегам Байкала и речкам, впадающим в него, ловят множество налимов, сигов, омулей; изредка попадаются таймени и осетры. Здешние налимы считаются лучшими по всему Байкалу; а омули попадают весом от трех до двадцати

фунтов и вкусом превосходят сига. Для прогулки больных находится несколько тропинок на юг и на восток к горам и одна на север, составляющая большую дорогу в Баргузин, которая, впрочем, корниста и болотиста. С вершин высоких гор представляются величественные виды во все стороны: но восток на оные по причине топкости места и густоты кустарников чрезвычайно труден. Лучшая и обыкновенная прогулка по большой дороге к берегу Байкала, с которого представляются взорам поразительнейшие картины. В сорока верстах от берега на северо-запад расстилается сумрачный Ольхон, как огромное морское животное, поднявшееся на поверхность вод. Высочайшие утесы его, как будто пред вашими глазами, опускаются в море. Но более всего поразителен ужасный Онгорен, на вершинах коего вечные снега издали представляют группу облаков, как будто покоящихся на высочайшем престоле, взгроможденном из мрачных гранитных скал. Сей картины, отстоящей с лишком на сто верст от берега на северо-запад, невозможно изобразить во всем ее величестве. (...)

По южную сторону теплиц находится небольшое селение, в котором в течение последних двадцати лет построено до двенадцати домиков. Живущие в них крестьяне и служители имеют изрядное скотоводство, но по малолюдству и недостатку сил еще не успели развести хороших огородов, хотя здесь капуста, свекла, редька, морковь и особенно картофель хорошо рождаются. Даже не имеют сенокосов, несмотря на то, что по берегу Байкала от теплиц до Турки находятся превосходные луга, требующие только небольшой очистки от валежника. Говорят, что заводили здесь земледелие, но опыты посевов не были удачны. Это последнее вероятно, ибо с трех сторон горы, покрытые дремучими лесами, а с четвертой — Байкал, долго поддерживают стужу. Снеги лежат до Николина дня, а инеи начинают падать с Ильина дня. Но относительно опытов земледелия что-то сомнительно: ибо в окрестностях вовсе не приметно, чтобы начинали когда-нибудь распахивать землю. Здешние жители получают достаточное содержание от рыбных и звериных промыслов. Осенью во время рекостава каждый дом добывает в реке Турке от тридцати до пятидесяти пудов налимов, которых продают в Верхнеудинске, а отсель берут хлеб и другие вещи, нужные

в домашнем быту. Сверх того промышляют белку, соболей, лисиц, также сохатых, оленей и козуль, коих мясо употребляют в пищу. Все сии выгоды достаточно заменяют хлебопашество и поддерживают кочевую беспечность, свойственную большей части сибиряков. Даже летом у себя не занимаются они рыбным промыслом, а предоставляют это бурятам, приезжающим сюда с острова Ольхона. Впрочем, и свежая рыба здесь так дешева, что сиг в два и три фунта весом стоит не более пятнадцати копеек. Почему буряты, разрезывая сырую, крупную рыбу, сушат на солнце, а мелкую варят и, очистив от костей, также сушат. Первую называют они юколою, а последнюю — порсою. Оба сорта довольно вкусны; только приготавлиются без соли.



МАКСИМ ФЕДОРОВ

О жизни Максима Федорова сохранилось очень мало сведений. Известно, что он жил в середине XIX века, был образованным для своего времени человеком. Судя по его творчеству, можно сказать, что он был знаком не только с русской историей и литературой, но также неплохо знал историю народов Поволжья.

В 1836—1838 годах он работал волостным писарем в Курмышском уезде Симбирской губернии, в 1838 году его перевели в Алатырскую волость.

В его стихотворении «Мы чувашами родились...» выражены думы, чаяния родного народа и тревога за его судьбу.

Некоторые современные исследователи предполагают, что автором данного произведения является В. Лебедев.

Мы чувашами родились...*

Мы чувашами родились
И у Волги поселились.
Любопытствуя подчас,
Дьяки спрашивают нас:
«Кто вы, что вы за народ,
Ваш откуда род идет?
Кто такие предки ваши?»
Отвечаем:
— Мы — не бары,
Коренные мы чувашы,
А родня наша — татары.
Коль у нас бывает горе,
Посещаем киремети¹,
Мы приносим в жертву нетель,
Просим бога счастья дать
И здоровья нам послать.

* Перевод П. Хузангая.

¹ Киреметь — злой дух, демоническое начало в чувашской мифологии; здесь — обиталище этого духа, языческое капище в так называемой священной роше.

Ни писать мы не умеем,
Ни считать не понимаем.
А когда самим невмочь,
Просим батюшку помочь:
Как беду нам отвести,
Что нам дьякам поднести?
Так вот мы и поживаем,
Век в работе коротаем,
Курим трубку... Знать, таков
Наш удел спокон веков.
И хотя у нас есть скот,
Яйца, молоко и мед,
Мы на это лишь глядим,
Сами черный хлеб едим.
А скотину продаем,
Деньги дьякам отдаем.
Да и хлеба-то не вволю...
Что нам делать? — Наша доля!



СПИРИДОН МИХАЙЛОВ (1821—1861)

Спиридон Михайлович Михайлов родился 28 ноября 1821 года в д. Юнгапоси Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского района Чувашской Республики).

В 1829 году восьмилетним мальчиком Спиридон был отдан на воспитание и обучение грамоте в город Козьмодемьянск купцу Т.Ф. Михееву, бывшему волостному писарю Орининской волости. В конце 1833 года он оставил этот дом, т. к. купец с ним мало занимался, будучи отвлекаем своими хозяйственными делами.

С 1834 по 1838 годы С.М. Михайлов пребывал помощником писаря в разных волостных правлениях Ядринского и Козьмодемьянского уездов. В 1838 году он переходит на работу в качестве писца в Козьмодемьянскую уездную полицию. В 1842 году его, как в совершенстве знающего русский, чувашский и марийский языки, назначают штатным переводчиком Козьмодемьянского суда, и он остается им до конца своей жизни.

С 1851 года С.М. Михайлов начинает литературно-публицистическую деятельность. Он сотрудничает в газетах «Казанские губернские ведомости», «Русский дневник», «Русский инвалид», «Северная пчела» и в журнале «Москвитянин», публикует в них статьи, заметки и документы историко-литературного характера. Выпускает отдельным изданием исследование «О музыке чуваш» (1852), сборник «Чувашские разговоры и сказки» (1853), этнографический очерк «Капустники...» (1855).

В 1854 году С.М. Михайлов за плодотворную научно-исследовательскую и литературно-публицистическую деятельность по истории, этнографии и собиранию и обработке образцов устно-поэтического народного творчества избирается членом-сотрудником Российского географического общества, а в 1856 году — членом-корреспондентом Казанского губернского статистического комитета,

являвшегося одним из крупных научных центров по изучению Среднего Поволжья. Труды его были поощрены в 1859 году Российским географическим обществом награждением его серебряной медалью.

Умер 15 января 1861 года.

* * *

О ты, Юнга, родной мой край.
Где колыбель меня прияла¹,
Лью слезы, говоря: прощай,
Я сиротой печальной стала.

Прощай, страна моих отцов,
Прощайте, дни мои молодые.
К тебе я сохраню любовь,
В пределы удалясь чужие.

Мой конь не всю меня увлек:
Здесь я часть жизни оставляю,
Прими, прими ее навек,
Тебе в дань сердце обрекаю.

«Человек предполагает, а бог располагает»

(Хитрая кошка)

Есть между низшим и бедным классом такие люди, которые при скотских падежах стараются соблюдать свои выгоды и экономию. Так, например, часто распродают большую скотину мясникам на убой, дабы не лишиться даром своей животины. Известно, что мясники при падежах не упускают своего случая так же, как и прочий торговый класс, если только не заметят другие злых их проделок; но где за всеми усмотреть? Пословица говорит, что «и на старуху бывает проруха», в особенности, когда со стороны продавцов и покупателей истощаются все хитрости и уловки.

Привожу здесь одно замечательное обстоятельство, случившееся в недавнее время при подобной проделке. Один русский мужичок имел двух коров, из них одна стала захвары-

¹ Приняла.

вать. Хозяин, дабы не вовсе лишиться своей коровы, решил продать ее тороватому мяснику, скупающему больных коров на убой по ничтожным ценам, не воображая того, что он таковым своим действием грешит только пред богом, а не экономию соблюдает. Продавши большую корову за 10 руб. серебром и получив деньги кредитным билетом, он, как нарочно себе на беду, положил билет не в сундук, а в горшок, стоявший в числе прочих на полке. Жена, не знавшая, что деньги муж положил в горшок, утром, подоивши оставшуюся здоровую корову, вылила удой молока в этот самый горшок, в котором лежал 10-рублевый билет. Муж, заметивши это, сказал жене, что в горшке был билет. Тогда молоко тотчас было перелито в другую посуду, а билет, напитанный этою влагою, повешен сушить на лучинке. Кошка, бывшая во все это время в избе, зорко следила за переливанием молока и выниманием из оногo билета, которая, наконец, уловив удобные минуты, стремительно схватила с лучинки билет вместо пенки и с ним исчезла на двор в отворенную дверь, по случаю летнего тогда времени. Хозяева бросились со всех ног преследовать вора-кота, но тщетно: Васька кот успел уже билет изжевать и совершенно истребить, так что мужику нечем было и горю пособить — и поделом; сама себя раба бьет, коль нечисто жнет. Мужик, продавши хворую корову, хотел экономию соблюсти, но, напротив, сего не состоялось, по пословице: «Человек предполагает, а бог располагает».

Разговор на постоялом дворе

Ныне зимою, проезжая через одну поволжскую губернию по своим делам, случилось мне ночевать в одном селе, расположенном на берегу реки Волги. Село небольшое; жители в нем — почти все содержатели постоялых дворов да рыбаки. Завидев меня, подъезжающего, дворники приветливо зазывали всякий к себе, нахваливая комнату и пищу по-своему как можно красноречивее. Остановился я в новеньком доме, который лучше всех казался мне на вид, да и внутри было в нем хорошо: комнаты были чистенькие и теплые, на стенах кругом висели в рамках сносной гравировки портреты императорской фамилии и картины, представляющие

разные битвы минувшей войны. В ризах иконы, стенные часы, мебель, самовары и прочая домашняя приличная обстановка заставили меня заключить, что хозяин должен быть человек порядочный. Я рад был теплым и чистым комнатам, и словоохотливая хозяйка, пожилая женщина, по заказу моему занялась самоваром. Маленький резвый мальчишка, босой, в ситцевой рубашке, бегал по избе и шалил. В продолжение питья чая я, от нечего делать, разговорился с хозяйкой и узнал, что она вдова-мещанка. После мужа осталось у нее три сына и три дочери. Из сыновей один взят в рекруты и служит уже унтер-офицером, другой в отделе, а третий живет с нею, но теперь отлучился в соседи на вечеринку, собранную на приезд волостного головы с женою. Из дочерей одна выдана за односельского крестьянина, другая выдана была за солдата, но он ныне служит уже офицером в армии, дослужившись до чинов своею расторопностью; резвый мальчишка был сын этого офицера, оставленный у бабушки погостить. Зная, что отец его офицер, мальчик кричал: «И я барин! И я барин!» Меньшая дочь у старушки была девушка и ушла на вечеринку, где пирует волостной голова с своею женою. Видя, что старуха любит поговорить, я коснулся между прочим и общественной их жизни.

— Скажи-ка, бабушка, нет ли у вас чего нового?

Старуха: — Коли нет, есть, батюшка, — отвечала она мне.

— А что такое у вас новое?

Старуха: — Вот у нас записывают писаря молодых людей в некруты, и многие переполошились: говорят, что с 1000 душ будет 20 человек.

— Какая собака на хвост навязала вам о рекрутстве?

Старуха: — Вестимо, начальство, головы и писаря волостные.

— Врут они, бабушка. Ныне набора не будет. Я сам служу у высшего начальства и знаю верно, что набора нет. Ныне, по милости божией, все смирно.

Старуха: — Неужели, родимый, и впрямь набора не будет?

— Правда, сушая правда, бабушка; спроси хоть кого хочешь.

Старуха: — Нет, батюшка, здесь больно застращали голо-

вы и писаря мужиков-ту и сколько собрали денег-ту, кажись, больше тысячи.

— Да какие же ваши мужики дураки, не справясь хорошенько, вдаются в обман?

Старуха: — Ходили другие и в город к окружному, но ничего верного не узнали. Видно, и там им так толкуют.

— Дураки ваши мужики. Они бы спрашивали людей честных, а не мошенников. Я знаю, что в нынешний год (1859) набора не будет, а что будет впереди — еще неизвестно.

Старуха: — Так, вестимо, так, батюшка. А наш волостной сильно погуливает, и жена его так ширится-топырится: видно, есть из чего.

— Да ты, бабушка, отчего боишься волостного головы, ведь ты ему не подначальная, когда городская мешанка?

Старуха: — Так-ту, так, родимый, да есть у меня зять в крестьянах. Он стоит на очереди.

— Так что, если будет набор, то без жеребьевки не отдадут; надобно прежде вынуть жребий. Не всем же откупаться, надобно кому-нибудь и служить царю и отечеству.

Старуха: — Осенью, когда записывали в некруты, голова сдернул и с него порядком, кажется, целковеньких полста, таковской. Не вдавайся в обман: на то шука в море, чтобы карась не дремал.

— У вас, верно, много таких обманов?

Старуха: — Есть-таки, батюшка. Вот и лесной много держит гончих (борзых) собак да травит наших овец вместо зайцев.

— Это нехорошо. Надобно жаловаться начальству.

Старуха: — Толку-то, батюшка, мало. Если жалобиться на него, то не даст дров ни прута.

— А теперь дает?

Старуха: — Нам-ту не дает, а крестьянам дает, потому они лесному возят и деньгами, и овсом.

— У вас здесь народ барский или вольный?

Старуха: — Нету, все вольные, да все орда, чуваш.

— Разве чувашаи народ не бойкий?

Старуха: — Вот ты нашел еще бойких. Их недаром зовут трусами: чуваш — юваш. С кого же брать деньги, как не с них. В нынешнее лето писаря на порядках посбирали с них калым.

— За что?

Старуха: — По умышленному-то набору. Застрашали их, бедных, как овец: с кого 10, с кого 20, а с кого 30, с кого 50, а с иного сорвали и по 100 целковеньких. Недаром говорят, что наш голова отправил несколько тысяч в ломбард.

— А кто у вас голова, ведь такой же чувашин?

Старуха: — Нет, родимый, не такой чувашин, а из городских мещан; был прежде писарем, да записался в крестьяне, в чувашскую деревню, да и сделался головой, да и стал пуще прежнего всех надувать. Прежде были головы из чуваш, не умели так плутовать. Где чувашину так обманывать!

— Есть ли у вас еще такие головы?

Старуха: — Коли нет. Таких плутов ведь любят. Ныне в чувашах все такие головы поделаны, чтобы с живого шкуру драть. Нет житья от них бедным чувашам. Они хитры на злые выдумки. Вот хоть наш голова Федор Иванович: побудет годов с пяток да и выйдет в купцы, торговать леском.

— Разве у вас хорошо торговать лесом?

Старуха: — Коли нехорошо. Купцы сильно громят казенные леса: дана им воля от лесных.

Хотел было я еще поговорить с старухой, но захотел спать, а поутру рано уехал по Волге, размышляя о головах, о писарях и лесничих.

Злополучный сын

Сколько пропадает таких жертв, которые остаются безгласными, и сколько скрывается в общественной жизни таких язв, которые не преследуются. Вывожу теперь наружу одно замечательное обстоятельство, достойное благодетельной гласности.

В одном из замечательных городов Ярославской губернии был один почтенный мещанин. Ему с молодости назначила судьба влачить жизнь в дальних губерниях и служить у добрых хозяев. Продолжая службу добросовестно, он состояния не имел, а где честные бывают богаты? По пословице — «Не пустишь душу в ад, не будешь богат». Но детей он имел довольно: было у него два сына и четыре дочери. Когда дети стали у него подрастать, то он сыновей определил на службу, а двух старших дочерей выдал замуж в том краю, где он

служил. Меньшего сына, Васю, 16-летнего мальчика, по назначению хозяйской конторы проводил в дальнюю Сибирь, в Иркутскую губернию. Конечно, молодой Вася расстался не без горести со своими родными и отправился в дальний путь-дороженьку с одним приказчиком, старше его летами, посланным в Иркутск тоже на службу.

По прибытии на место Вася служил хорошо и ни в чем дурном не был замечен; писал он родным письма о своем житье-бытье и радовал их своим благополучием. Но увы! Благополучие это недолго с ним продолжалось: заменилось оно тяжким злополучием.

Приказчик, с которым он прибыл в Иркутскую губернию, будучи мужчина уже совершенных лет, познакомился там с одною ловкою сибирячкою и содержал ее у себя в экономках. Она знала и ведала, что у любезного своего дружка довольно суммы хозяйской, и долго вострила на них зубы, но не могла избрать такого удобного случая, чтобы и волки были сыты и овцы целы. Наконец, случай этот явился. В один вечерок любезный ее подкутил; на беду случилось быть у него и молодому Васе, так же, как он и всегда к нему хаживал. Ловкая сибирячка, когда друг ее в бахусе заснул, подобрала у него денежки и скрыла их очень хорошо. Вася наш, ничего не замечавший за собеседницу, спокойно уходит к себе на квартиру, оставшись доволен угощением доброй экономки, которую он признавал за добрую по своей детской простоте.

Когда утром приказчик проснулся и стал собираться к должности, хватился денег, но не тут-то было. Озадаченный таким неожиданным случаем, он обращается к своей любезной с вопросами; но она заартачилась и знать ничего не знает, объявляет ему и приводит свои уловки, что когда он спал, она несколько раз выходила на двор, а в комнате оставался молодой Вася один: он-де и должен быть вор. Приводит знакомых своих ворожеев, которые гадают и объявляют, что-де деньги украл точно молодой белокуренький мальчик, бывший у него вечером. Приказчик с яростию бросается на Васю, требуя у него деньги, обыскивает его с ног до головы, но ничего не находит. Вася клянется всем, что он знать ничего не знает, но приказчик не внемлет клятвам.

Между тем лукавая его экономка, зная свою вину, как кошка, чье мясо съела, изобретает хитрости непременно

подозревать молодого Васю. Приказчик ей верит и готов отдать ей не токмо деньги, но и самую душу, потому что дело сие для него было весьма щекотливое: он предвидит, что ему доведется заслуживать пропавшие деньги несколько лет; но сибирячка успокаивает его, делается в этом случае адвокатом.

И наконец начинается суд и дело, по которому невинного и беззащитного мальчика Васю заключают в острог как вора, хотя и не было на это никаких законных причин, но известно, что деньги и камень долбят.

Несчастный Вася томится в тюрьме ровно два года без пути и без дела, в продолжение чего паспорт у него просрочивается, а нового выправить в тюрьме невозможно. Приказчик с хитрою своею сибирячкою затмевают пропажу денег своими происками и остаются людьми чистыми, невинными, а мальчика Васю, как негодяя, недостойного служить с людьми честными, высылают из Иркутска в жительство в город Р... Ярославской губернии, но не просто высылают, а по этапам, посредством внутренней стражи, якобы за неимением письменного вида, тогда как в тюрьме не мог он и помыслить о выправке нового паспорта. Судить же его строго и подвергать взысканию не было никакой причины: Вася был чист, как голубь, в возведенной на него краже.

Таким образом, Вася наш отправился по этапам в оковах, но идти из Иркутска до Ярославской губернии — не легкое дело и не ближнее место: говорят, 6000 верст с прибавкой. Шел он чуть не два года, натерпелся всего того, чего изобразить трудно. На дневках и ночлегах частенько спал рядом с важными преступниками, разбойниками и убийцами со знаками на щеках и на лбах. Но на других этапах сострадательные этапные начальники в летнее время выпускали его на волю подышать вольным воздухом, и от нечего делать Вася наш копал гряды в этапных огородах, поливал овощи, за каковые труды получал он иногда новое белье и хороший кусок хлеба, который вкушал, обливая потоком слез. Добрые семейства этапных офицеров видели в нем расторопность по воспитанию и невинность, изображенную на его молодом лице. Часто случалось Васе со слезами рассказывать им свое злополучие и находить себе отраду в их сострадании, ибо при несчастьи каждый ласковый привет дорог, а в летах мо-

лодого Васи и в том положении, в каком он теперь находился, еще, может быть, ласка чувствительнее. Проходя с арестантами через города, попадались ему также добрые граждане с семействами, в которых он иногда как бы видел своего отца, мать и сестер. Оборотившись в сторону, он нередко обливался горькими слезами. Молодое сердце кипело безотрадно, и он, бросая взоры на великолепные храмы, видел кресты, и на них душа его останавливалась, успокаивалась. Он понимал теперь всю цену креста, когда сам нес крест по юдоли плачевной...

Между тем отец его, не ведавший о злополучии сына своего, посылает к нему в Иркутск письма, но увы! Ответы не приходят. И наконец этот добрый и честный гражданин умирает, не дождавшись своего злополучного и не получивши об нем никаких сведений.

Старший сын его в это время служил в другой дальней губернии и имел уже свое немалое семейство. Он, зная, что со временем спросят с семейства их рекрута, приискал там охотника и хотел сдать его до наступления очереди, вперед, но, получив письмо от матери, что отец его скончался, приезжает к матери, оставшейся в городе Я... Вятской губернии с двумя дочерьми. Здесь он поступил на должность и стал поддерживать многочисленное семейство, оставшееся на его попечении. В продолжение службы он сестер своих выдал за мужей, а охотника-рекрута передал другому очередному семейству, по случаю смерти отца будучи уверен, что с двух братьев рекрута не спросят, потому что чрезвычайных наборов тогда не было и жеребьевой системы в городах еще не существовало; притом жизнь меньшего брата находилась под сомнением, о котором родные собирались уже служить панихиды, не получавши об нем известий около четырех лет.

Но вдруг приходит к ним неожиданная весточка, что молодой Вася шествует по этапам в нищете и уже приближается до родного города Р... Ярославской губернии. Наконец, является несчастный юноша в общество, никогда им не виданное и, следовательно, ему не знакомое, по случаю служения отца его с молодых лет в дальних губерниях и рождения его с прочими детьми на чужбине. Бородачи смотрят на Васю как на негодяя и, вместо принятия в нем теплого участия, очередные семейства предлагают ему наняться в рекруты,

представляя ему, что он уже потерянный человек и что в противном случае поневоле пойдет он в рекруты за общество впредь будущих наборов. Вася, хотя был и молод, но, происходит от честных родителей, не поддался угрозам; постыдное предложение отверг, как честный гражданин, объявив бородачам, что он со временем сам будет не хуже их и что служить царю он пойдет лучше за свое семейство, по очереди, чем по найму. Бородачи сколько ни ухаживали за ним, напоследок должны были отступить от него и выдать ему паспорт, по неимению на то никаких препятствий.

Вася наш, отыскавши на родине некоторых своих родственников по отцу и матери, узнает от них, что родитель его уже скончался и что старший брат его с семейством служит в городе Я... Вятской губернии. Окопировавшись от родных, он отправляется к брату и матери по Волге на легком пробеге. Теперь он на свободе вкушает невыразимую радость после претерпленных страданий и поет всевышнему хвалебные гимны, которые заставило его изучить двухлетнее тюремное заключение в дальней Сибири.

Наконец, пропадавший юноша является к родным в городе Я... Вятской губернии уже 20-летним молодцом, бросается на шею матери и плачет долго-долго, до тех пор, пока не затмились в растроганном его сердце все злострадания. Когда остановились волнения души, он рассказывает по порядку свое несчастное приключение. Рассказав, просит брата не мстить врагам и не воздавать злом на зло. Так и поступил добрый брат его, хотя и имел возможность на это по слушанию в главной конторе, от которой зависела служба и помянутого приказчика, врага молодого Васи.

Вскоре после того хозяйские дела переменялись, и это доброе семейство, по распоряжению комиссионера, переехало в Пензу, где стал служить и Вася с братом своим и служил очень хорошо.

Между тем, по случаю прошлой войны, стали производиться чрезвычайные наборы, и эти два брата потребованы были в свое общество в город Р... Ярославской губернии, к отправлению в рекруты за свое семейство. Старший брат, наградив его, проводил служить царю и отечеству благополучно.

Но года через два после того старшего брата вновь требуют в общество, якобы для отправления рекрутской очереди по жеребьевой системе. Он является узнать, что в Москве за присяга. Бородачи объявляют ему, что меньший брат его Василий пошел в рекруты не за семейство свое, а за общество, и что за семейство должен идти он сам, поелику-де в обществе дома, приносящего дохода 50 руб. серебром, не имеет, а таких-де одиночек велено призывать к жеребью. Иван Петрович становится в тупик, говорит: как брат пошел за общество, почему и на каком основании? Миряне толкуют, что по нахождению без письменного вида в бегах и т. п. Иван Петрович в свою очередь прибавляет, что брат его перед поступлением в рекруты служит с письменным видом, вот он: глядите! В Сибири не мог выправить другого паспорта, содержащийся невинно в тюрьме; в тюрьме паспортов не пишут и так далее. Но возражения его напрасны. Он только и слышит от представителей общества, что-де ты безоседлый человек, живешь в стороне, получаешь хорошее жалованье и в общественных выборах не служишь, должен-де призываться к жребию всенепременно. Наш Иван Петрович представляет им, что не дом воспитывает семейство его, а он сам, имеет престарелую мать, жену и семь человек малолетних детей; в семействе он единственный работник и кормилец и что подобных людей жеребьевое положение избавляет от призыва в рекруты, а если-де он не служит по выборам общества, то несет повинность за три души бедных, накладных, наложенных обществом, платит за них подать и все повинности, которых пересылает в думу от 30 до 40 руб. серебром в год, почти не меньше гильдейской повинности; вот в деньгах и расписка почтовых контор! Да и покойный отец его постоянно платил подати за чужие накладные души. Но куда столько идет денег, не знает и от думы отчета не требует, пусть она берет, если не жалеет несчастных. Но сколько он ни говорил правдиво, все было напрасно. Бесчеловечная толпа распорядилась отдать его в распоряжение рекрутного старосты, угрожая отдать непременно в рекруты. Наш Иван Петрович видит, дело плохо: дулся, дулся, наконец, должен был дать 200 руб. серебром да еще вексель в 40 руб. серебром одному чиновнику, принявшему якобы за него какое-то ходатайство. Само

собою разумеется, что Иван Петрович был человек с простою душою, таких правил, каких был и покойный отец его. Крюкотворства не знал, затевать кляуз не хотел, дабы не обесславить себя кляузником в обществе, посягнувшем стереть его с лица земли, притом дорожил должностью и не хотел лишиться оной, вдаввшись в долговременную, а иногда и бесполезную претензию, видя, что по рекрутской части правды нет, а торжествует одно зло...

Удовлетворивши бесчеловечных общественников последним своим достоянием, нажитым кровавым потом, он поспешил явиться к оплакиваемому семейству, которое поражено было как громовым ударом, когда получило весть о настойчивости общества отдать его в рекруты по жеребьевому положению. Малютки его плакали и взывали, что они сироты, беззащитны. Но бог возвратил отца, и они, окружив отца, лобзали у него руки, простирая взоры к небесам.

После таких испытаний это несчастное семейство переезжало из Пензы в Тамбов, по обстоятельствам службы Ивана Петровича, и целый год терпело самую крайнюю нищету. Наконец, провидение послало ему отраду: Иван Петрович, как гражданин, зарекомендовавший себя честными правилами, ныне имеет хорошее доверие и занимает выгодную должность в Воронежской губернии. А брат его Вася, злополучный Вася, недолго служил царю: он помер в молодых летах. Вероятно, господь бог призвал его получить венец правды в царствии небесном, за тот крест, который он терпеливо перенес на юных раменах.

Пишущий строки сии знал самого покойного отца этого семейства: происходил он из купеческого звания и был близок к знаменитым Мясниковым. Действительно, муж сей был человек честных правил: детей воспитывал в страхе божием как русский славянин, любил трудолюбие, кроме занятий по должности, в часы досуга занимался токарным и столярным мастерством и однажды сделал деревянные стенные часы. Любил он читать анекдоты Петра Великого, сочинения Штелина, и самого его звали Петром. Дочери его умели читать и писать и знали хорошо женское рукоделие. Но мир праху твоему, добрый и честный гражданин.



ИВАН ЯКОВЛЕВ

(1848—1930)

Иван Яковлевич Яковлев родился 13 (25) апреля 1848 года в д. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Тетюшского района Республики Татарстан) в семье чувашской крестьянки-вдовы. В раннем детстве остался сиротой, воспитывался в семье односельчанина Андрея Пахомова.

Учился в школе грамоты уездного ведомства, в землемерной школе в Симбирске. Работал помощником землемера в Симбирской и Самарской губерниях. В 1867 году поступил в V класс Симбирской гимназии, в 1870 году окончил его с золотой медалью.

В 1868 году на личные средства и частные пожертвования организовал обучение детей чуваш. С этой небольшой группы учащихся берет свое начало Симбирская чувашская учительская школа, ставшая впоследствии центром чувашской культуры.

В 1870—1875 годах И.Я. Яковлев учился в Казанском университете. По окончании университета работал инспектором чувашских школ Казанского учебного округа (до 1903 г.), руководил Чувашской учительской школой (до октября 1889 г.). Яковлев способствовал открытию чувашских и других национальных школ в Поволжье. Для чувашских школ им была разработана методика обучения детей.

В начале 70-х годов XIX века Иван Яковлевич на основе русской графики составил новый чувашский алфавит, подготовил рукопись чувашского букваря и других учебников. Литературная

деятельность И.Я. Яковлева связана с созданием чувашского букваря и книг для чтения: нравоучительные новеллы, басни, анекдотические смешные рассказы были не просто его любимыми жанрами, а включались в школьные учебники для чувашских детей. И.Я. Яковлев творчески переводил небольшие рассказы, песни и стихотворения А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, И.А. Крылова, Л.Н. Толстого и других русских авторов на чувашский язык.

Общественно-педагогическая и литературная деятельность Ивана Яковлевича Яковлева в значительной степени способствовала зарождению оригинальной художественной литературы на чувашском языке. Он собирал материалы народного творчества, создавал оригинальные художественные произведения для детей на чувашском языке.

Просветитель чувашского народа в своих произведениях стремился наставить на путь нравственного очищения и духовного обогащения не только школьников, но и всех своих сородичей.

И.Я. Яковлев умер 23 октября 1930 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище в г. Москве.

Духовное завещание чувашскому народу

Во имя Отца и Сына и Святого духа!

Обращаюсь к вам первым, друзья и родичи мои чуваша. О вас болел я душой, к вам в этот час обращается мысль моя, и вам первым хочу сказать мои последние пожелания.

Крепче всего берегите величайшую святыню — веру в Бога. Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует внутренний мир, утешает и одобряет душу в часы несчастья и горя, очищает и просветляет ее в счастье и удаче. С верой в Бога не страшны жизненные испытания; без веры в него холодно и мрачно на земле. Веруйте, что есть мздовоздатель за добро и за зло, что есть Высшая правда, есть Божий суд, грозный и праведный.

Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и воли. Народ этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не унизил вас. Ведомый Провидением к великим, нам незримым целям, народ этот да будет руководителем и вашего развития: идите за ним и верьте в него. Трудна была жизнь этого народа, много горестей и несчастий встретил он на своем долгом и скорбном пути, но он не угасил в себе

светочей духа и не утратил понимания своего высокого призвания. Да будут его радости вашими радостями, его горести вашими горестями, и вы приобщитесь к его светлому и грядущему величию. Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас и в будущем. Любите его и сближайтесь с ним. На всяком поле есть плевелы, но мой долгий опыт да будет порукой тому, что среди русского народа вы всегда встретите добрых и умных людей, которые помогут вашему правому делу. Русский народ выстрадал свою правду, и, нет сомнения, правдой этой он поделится с вами. Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью. Залогом и путеводной звездой да послужит бессмертное имя моего учителя Николая Ивановича Ильминского, олицетворяющего для меня все величие и всю красоту русского народного характера.

Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить образование. Помните, что вы сами должны помогать своим бедным и обездоленным сородичам, не надеясь на то, что помощь к ним придет откуда-нибудь со стороны. Помните, что долг работать над просвещением чувашей лежит прежде всего на вас, на людях, которые вышли из их среды. Возвращайтесь же к своим соплеменникам с сокровищами научного знания, насаждайте среди них понятия гражданственности, учите их закону и праву: заботу об этом должны взять на себя вы, выходцы из народа. Не гнушайтесь бедности, слабости и невежества своих сородичей: из них вы вышли и для них вы должны поработать, чтобы заплатить ваш долг за полученное за счет народа образование. Любовь народная вознаградит вас за то, что вы не забудете вашего долга перед своими младшими братьями. Помните, что владеть сердцем народным вы сможете, только если не будете чуждаться языка народного. В обращении к родному языку нет измены русскому делу: служить великому русскому отечеству можно, не забывая родного языка, воспринятого от матерей ваших. Доделайте то, что, может быть, не удастся закончить мне: дайте чувашскому народу Священное писание, полностью завершив перевод Ветхого Завета. Послужите делу христианского просвещения, распространяя свет Евангелия среди многочисленных народностей, населяющих русский Восток: по языку и духу вы ближе к этим народностям, чем сами русские. Работой на этой обширной ниве вы заплатите

русскому народу часть того великого долга, которым вы обязаны ему, получив из его рук свет веры Христовой.

Берегите семью: в семье опора народа и государства. Семейные заветы всегда были крепки среди чувашей. Охраняйте же это сокровище. В семейном счастье — защита от жизненных испытаний. Крепкой и дружной семье не страшны внешние житейские невзгоды. Берегите целомудрие, бойтесь вина и соблазнов: если обережете семью, обережете детей и создадите крепкую опору для мирного и спокойного труда.

Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов и распрей, помните о великом завете Спасителя: любите и ненавидящих вас, и твердо надейтесь на жизненную силу уступчивости и снисхождения.

Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое маленькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите на размеры жизненной задачи. Самое малое дело можно осветить и осмыслить любовным к нему отношением и самое большое можно уронить и обесславить отношением небрежным и нерадивым. Счастье и успех придут ко всякому мирно и с любовью совершаемому делу. Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, достигаемые нечистыми средствами, — успехи непрочные и временные.

Вот все, что я хочу сказать вам, готовясь предстать перед Высшим Судией. Если в ком есть память о вольной или невольной обиде, мною причиненной, прошу простить меня и помолиться обо мне. Сердечно благодарю за тепло и ласку, которыми не по заслугам моим дарили меня вы, мои соплеменники, и многие, многие русские люди, приходившие с открытым сердцем на помощь моему делу. Горячую благодарность приношу всем товарищам и сотрудникам моим по работе: без их бескорыстного усердия был бы невозможен и мой труд. Шлю привет непосредственным ученикам моим. Учебные часы, среди них проведенные, были отрадными часами моей жизни. Да сохранит и да обережет вас Бог в жизненных путях ваших.

г. Симбирск, 4 августа 1921 г.

Нужда*

Весной, как только стает снег, у нас скотину выгоняют в лес или в поле и, под присмотром ребяташек, пасут там до найма пастуха и выгона общественного стада.

Когда мне было лет шесть-семь, на такую попаску ходил мой старший брат. Вот как-то вечером пригнал он скотину домой и молча улегся на лавку, невеселый. Отец с матерью встревожились:

— Что случилось?

А брат и говорит:

— Сегодня из сил выбился, насмотрелся на нужду.

Я первый раз слышал это слово: «нужда». Мне казалось: нужда — это такая веселая птица или зверек, и спрашиваю брата:

— А какого она цвета — нужда? Красивая? Похожая на зайца? Вот бы мне ее повидать!

А отец и говорит:

— Не болтай попусту, коль не едал лепешек с уголька: накличешь на свою шею — не отвяжешься! — Потом говорит брату:

— Растолкуй, что случилось?

А брат говорит:

— Корова дяди Макара провалилась в вымоину. Мы старались ее вытащить, но никак не смогли. Так корова там и осталась.

Отец и мать всплеснули руками:

— Пропал Макар! Полвека копил на корову, хушпу заложил. Видно, на роду ему написано не подсаживаться к корове с подойником!

Мне очень хотелось идти на пастбу. Многие мои сверстники уже ходили туда. Бывало, с длинными бичами в руках, краюхой хлеба в холщовых сумках, с гомоном и криком, с шелканьем и свистом отправляются они, погоняя скот за деревню. Мычат коровы, блеют овцы и ягнята — куда как весело!

Каждый вечер упрашивал я брата, чтобы он послал на попаску меня вместо себя, и так надоел ему, что в одно утро он мне разрешил отправиться со скотиной.

* Перевод М. Сироткина.

Я был счастлив. Взял краюшку хлеба в сумку, вооружился бичом брата. Жаль, он его отобрал, но я разыскал старенький. Выгнал скотину со двора, погнал вдоль улицы, шелкнул бичом, бегаю. Пока вышел за околицу, от бича остались одни обрывки.

Добрались мы с ребятами до леса, распустили скот, разожгли костер, занялись играми, а про коров и овец совсем забыли. Вечером, как возвращались домой, я свою корову мельком видел, а овец что-то и не приметил. Когда вошли в деревню, ребята молодецки шелкали бичами, а у меня одни обрывки.

Вошел я во двор, смотрю: корова дома, а из шести овец не видно ни одной.

— Где овцы, Игнат? — спрашивают домашние, а мне и ответить нечего. Тут стали меня бранить:

— Тебя, что, играть, что ли, посылали? Где овцы, найди овец! Где, в каких местах пасли?

А я и этого не знаю, молчу.

— Дармоед ты этакий!

Утром домашние порасспросили ребят, где пасли накануне, отправились на поиски. Вот пошли мы с отцом в одну сторону, а братья — в другую. Иду я за отцом, а он ворчит:

— Понадеешься на вас, так поневоле повидаетесь с нуждой!

Как услышал я про нужду — спрашиваю:

— А где она, нужда, находится?

А отец повернулся ко мне и хлысть меня прутом по спине, да так больно.

— Вот она, гляди, какая! Давно ты ее хотел повидать, так полюбуйся!

От прутика на спине свербит, я хнычу, а отец добавляет:

— Мало тебе еще я вложил. Не то будет, если овцы не отыщутся!

Ходили мы с отцом, ходили, овец так и не нашли. К вечеру возвратились домой, а овцы во дворе. Их отыскали братья. Вот я обрадовался!

За ужином отец рассказал, что произошло со мною в лесу. А домашние помирают со смеху:

— Вот все хотел посмотреть на нужду! Ну что, насмотрелся?

Как мужик искал пропавшую лошадь*

Один мужик, сидя верхом на своей пегой лошади, три дня разыскивал свою пегую лошадь. Вот приезжает он в одну деревню, спрашивает:

— Не видели ли, братцы, мою пропавшую лошадь?

— Нет, — отвечают сельчане, — не видели.

Приезжает в другую деревню, спрашивает:

— Не видели ли, братцы, мою пропавшую лошадь?

— Нет, — отвечают сельчане, — не видели.

Разъезжает по дорогам, по полям, по деревням, из сил выбился, а лошади нет как нет.

Вот трусит он по дороге, а навстречу рассудительный старик.

— Не видел ли, дед, лошадь? Третий день разыскиваю.

— А какой она масти?

— Пегой, дед, пегой!

— А не та, что под тобой?

Мужика будто осенило. Соскочил с коня, на котором ехал, да как закричит:

— Эта! Эта! Эта самая!

Потом проворно взобрался на нее и, радостный, вихрем помчался домой.

* Перевод М. Сироткина.



МИХАИЛ ФЕДОРОВ

(1848—1904)

Михаил Федорович Федоров родился 17 (29) ноября 1848 года в д. Итяково Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района Чувашской Республики).

С 1864 по 1867 годы учился в Бичуринской начальной школе. Далее продолжил образование во вновь открывшемся двухклассном училище в том же селе. После окончания училища в 1869 году поступил в Самарскую учительскую семинарию, где он проучился четыре года.

После окончания семинарии работал учителем Бичуринского двухклассного училища, Чебоксарского городского училища, учителем-заведующим двухклассным городским училищем в Царевококшайске (ныне Йошкар-Ола).

Начало литературной деятельности относится к 1876 году, когда он написал литературно-публицистическую статью «Предания чуваш Бичуринского прихода Чебоксарского уезда и способы лечения у них болезней». Весной и летом 1879 года М.Ф. Федоров пишет балладу «Леший», которой суждено было войти в золотой фонд чувашской литературы. Она была опубликована лишь через 29 лет (1908) в созданном И.Я. Яковлевым сборнике «Сказки и предания чуваш» (Чăваш халапĕсем). В той же книге впервые увидела свет поэма «Нарспи» К. Иванова.

Умер М.Ф. Федоров 21 апреля (4 мая) 1904 года. Похоронен на кладбище в г. Царевококшайске.

Леший*

Коль собрался сидень в путь,
Жди пургу иль непогоду.

Чувашская поговорка

Солнце село. Дядя Хведер
Заложил коня под вечер
Да собрался в путь большой,
В путь нелегкий — в лес густой.
«Посбираю дров сухих,
До ночи — куда еще!..»
Скучновато без своих —
Пригласил товарищей.
Но Мигул ответил так:
— Целый год жена в постели,
Сам сегодня до Ишак
Собрался вот еле-еле.
Киреметь сердит на нас.
Помолюсь — авось поможет.
Жеребенка в жертву, может,
Принести ему сейчас?..
Кириле — другой сосед —
И не показался.
Знать, его и дома нет:
Хведер недозвался.
Да и дядюшка Лаврась
Снова выехал в извоз:
Говорят, что он вчерась
В волость рекрутов повез.
А восток горит, горит
Кумачом — пожарищем.
Непогоду, знать, сулит
Горизонт пылающий.
Тучи черные невесть
Где взялись, спешат куда —
Небосвод закрыли весь
Их зловещие стада.

* Перевод Н. Евстафьева.

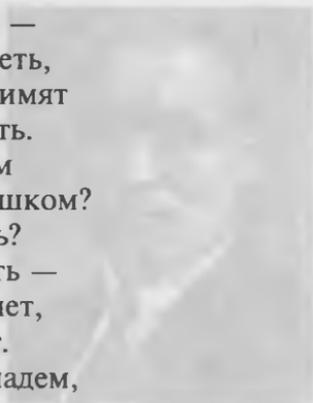
Лес волнуется, шумит...
— Н-но! Не трись, мой карий!
Иль не видишь: вяз стоит
У дороги старый...
Ну, а карий чуть бредет
И храпит устало —
Достается в каждый год
Бедному немало.
Да уж что и говорить:
Коль скотинушку корить,
Не соломою ржаною
Надо бедную кормить.
Только где он — корм иной?
...А дорога по весне —
То навоз сплошной, то снег,
Слева — речка, справа — ров:
Чуть свернешь и — будь здоров —
Не захочешь больше дров.
Конь встает, иди хоть пеший.
Впереди... веха иль леший?
Иль какой разбойник-тать
Вышел ночью промышлять?
Впереди маячит что-то...
Что-то треснуло в кустах...
По спине холодным потом
Заструился жуткий страх.
Тур сирлах¹, неужто звери?
Сердце трепетно стучит.
Не захочешь, да поверишь,
Как в лесу злой дух кричит
И смеется, и хохочет,
Сказки-байки все бормочет,
Посвистом своим он хочет
Всех с дороги верной сбить,
Как козел он криворогий,
Как старик он белобородый,
Мертвым ветром в лица дует —
Зашекочет, заколдует.

¹ Тур сирлах — соответствует русскому «господи!»

Огрызается собакой.
Кто его ни встретит — всякий
Смертью страшную помрет:
Леший насмерть загрызет,
А потом на лошадь сядет,
Обратится ямщиком,
Так помчит, кричать заладит —
Задрожит земля кругом...
Никому в лесу, в пути
Смерть не хочется принять.
В дом родимый бы прийти,
Милых детушек обнять,
До седых волос дожить,
А когда придет конец,
На своей постели мне
Тихой смертью бы почить.
Славу добрый человек
Оставляет, кончив век.
Богатей умрет — добра
Оставляет горы.
Я ж умру — лишь детвора
Будет без призора,
Да жена останется
Горе мыкать и страдать.
Чем остаться сиротою,
Лучше быть сухой травой.
Ветром яростным осенним
Унесенным лучше быть,
До пруда ручьем весенним
Легким мусором доплыть
И осесть, как ил, на дно,
Чтоб догнать там заодно...
Вплоть до мельницы до самой
Леший следом брел за нами.
Беглецом, удравшим с боя,
Он прикинулся в яру
И покойницей-каргою
Стал в Виснеровском бору.
Продолжая так идти,
Стал овцой на полпути.

Приотстал затем слегка,
Обратился вдруг в шенка
И под мельницу — в берлогу —
Завернул... И слава богу! —
Не храпи, мой карий друг!
Что нам страх теперь? Гляди:
Идельмеса позади,
Чиберуй лежит вокруг.
И его минуем скоро,
Недалек уже наш лес.
Он всегда с ветрами спорит,
Тянет ветви до небес.
Да, хорош, красив наш бор!
Глянешь — сердце радует;
Ели там, как на подбор,
Срубись — звонко падают.
А березки! Каждый ствол
На оглоблю бы пошел.
У рябин не счесть развилин —
Вот уж, право, вышли б вилы!
Бурей дуб там привалило
И черемушник прибило.
Но откуда взялся леший,
Что людей пугает здешних?
«От Эндри, от мужика», —
Скажут все наверняка.
Вспомнят деды и Ягура —
Богача и самодура.
На башкирском иноходце,
Запряженном в тарантас,
Выезжал он, как ведется,
На прогулку как-то раз.
Обогнув ржаное поле,
В лес заехал мимоходом.
А в лесу — ведь вот недоля! —
Нищий плелся тихим ходом.
И случилась тут беда:
На дороге, как всегда,
Захотел курить старик,
К трубке старец и приник.

Глуховат, подслеповат —
Не успел он рассмотреть,
Как лошадкой был примят
И лихую принял смерть.
И чего б Эндри леском
Шляться, старому, пешком?
Да. Но где коня добыть?
Нам бы благо не ходить —
Бедность по миру гоняет,
Побираться заставляет.
Мы хушпу в заклад кладем,
Озимь с корня продаем,
Лишь бы подати внести.
Рад бы нищим не идти,
Да нужда опять в дому —
Вновь берешься за суму...





ФЕДОР ПАВЛОВ (1892—1931)

Федор Павлович Павлов родился 25 сентября 1892 года в с. Богатырево Ядринского уезда (ныне Цивильского района Чувашской Республики).

Окончил Икковское двухклассное училище, осенью 1907 года поступил в Чувашскую учительскую школу в г. Симбирск.

В годы Первой мировой войны работал в учительской школе, сельской школе учителем. В мае 1917 года Федор Павлов был избран волостным мировым судьей Чебоксарского уезда.

В начале февраля 1918 года уехал в Казань для работы в чувашской печати, в мае 1919 года был переведен в отдел народного образования Чебоксарского уезда, осенью того же года назначен инспектором чувашских школ отдела народного образования Казанского губисполкома.

В 1920 году переехал в Чебоксары. Здесь Ф. Павлов работал заведующим музыкальной секцией подотдела искусств отдела народного образования облизполкома, одновременно состоял членом гражданского отдела областного суда и исполнял обязанности юристконсульта в облизполкоме и облземуправлении, руководил хором педагогических курсов, вел большую подготовительную работу по организации чувашского национального хора. В октябре 1928 года становится дирижером Чувашской государственной капеллы, в ноябре 1929-го назначается преподавателем хорошего пения музыкального техникума. Осенью 1930 года поступил учиться в Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, которую из-за болезни закончить не успел.

Писатель, педагог, музыкант, композитор, дирижер и фольклорист литературную деятельность начал со стихов. Популярность и признание Ф. Павлов завоевал пьесами «На суде» и «В деревне».

Умер 15 июня 1931 года в г. Сочи.

В деревне*

Драма в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Прчкан.	Старик.
Елюк, ее падчерица.	Сват.
Ванюк, парень.	Посаженый отец.
Степан, женатый человек.	Старший дружка.
Ескар, старуха.	Первый дружка.
Мусся, ее муж.	Второй дружка.
Палля, солдат.	Первая сваха.
Староста.	Вторая сваха.
Молодой парень.	

Девушки, дети, парни, подружки невесты, поезжане, дружки жениха, свахи и другие.

Действие происходит во время германской войны.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В доме Прчкан.

Явление 1

Елюк. Прчкан отдыхает лежа.

Елюк (*входит*). Овец я загнала.

Прчкан. Капусту полила?

Елюк. Полила.

Прчкан. Коровам что дала?

Елюк. Травы в огороде накосила.

Прчкан. А лошадям?

Елюк. Лошадей тоже напоила, корму дала.

Прчкан. Чего дала?

Елюк. Овса.

Прчкан. Ну, ладно. Иди теперь, спи.

Елюк. Мама, мне спать совсем не хочется.

Прчкан. Чего еще?

Елюк. Я на улицу пойду...

Прчкан (*садится*). Что? Не бегать у меня.

Елюк. Мама, девушки все на улице, песни поют, каково мне-то одной спать идти?

* Перевод Н. Павлова.

Прчкан. Не болтай, бегляна! Найдешь еще ты себе на память.

Елюк. Мама, зачем ты так говоришь?

Прчкан. Постарше я тебя или нет? (*Упрекая.*) Слушай-ка. Почему ты мне перечишь? Хоть я тебе и не родная мать, а сердце у меня за тебя болит.

Елюк. Мама, ты всегда так говоришь.

Прчкан. Эх, Елюк. Умру вот только, не увижу. Не раз еще вспомнишь: «Мама, бывало, вот как говорила».

Елюк. Мама, о чем это ты говоришь, не пойму?

Прчкан. Вот это правда. Ты и на самом деле ничего не знаешь. Обута, одета, сыта, чего еще надо?

Елюк. Мне ничего не надо.

Прчкан. Дура! Для кого это отец с матерью старались? Ведь богатство нам не с неба, как снег, свалилось. С давних пор его наживали, землю-то снимая. Ты такой маеты и во сне не видывала. Когда отец умер, все на мои плечи легло, спина-то славно попотела.

Елюк. Зачем ты сердишься, мама? Ведь я из твоей воли вот настолько не выхожу. Я только с девушками пойду поиграю.

Прчкан. Эх, дочка, ведь я тебя любя говорю. По-моему, тебе с этой голью ходить совсем не пристало. Помни: ты богатого человека дочь, об этом не забывай.

Елюк. Мама, мы только поиграем. Пойду, мама?

Прчкан. Ладно уж, иди. Удерживать не буду. (*Когда Елюк собирается уходить.*) Елюк! Смотри: Ванюка сторонись.

Елюк. Зачем, мама? Ведь Ванюк очень хороший парень.

Прчкан. Не люблю я твоего Ванюка.

Явление 2

Те же. Входит Ескар.

Ескар. Вот и я, сестрица Прчкан.

Прчкан. Ах, заходи, Ескар агай. Проходи.

Ескар (*кланяется*). Пройдем, коли пришли. Здоровы ли живете?

Прчкан. Ходим потихоньку. Сама-то как? (*Пожимают руки.*)

Ескар (*обращаясь к Елюк*). Как бегаешь, дочка?

Елюк. Хорошо пока, кинемей. (*Пожимают руки.*) Мама, я пойду.

Прчкан. Иди, да скорей возвращайся.

Елюк. Скоро приду.

Ескар. Гуляй, дочка, гуляй. Не вам — кому еще гулять. Вот мы, старые хрычовки, — что гнилые грибы: как сядем, так и с места не сдвинемся. Гуляй, дочка, вам гулять надо. (*Елюк уходит.*)

Явление 3

Прчкан. Ескар.

Ескар. Гулять, говорю, нужно детям-то, сестрица Прчкан. И сами немало погуляли, когда молодые были. (*Нюхает табак.*)

Прчкан. Молодые ведь были.

Ескар. Да, сестрица Прчкан, неплохо мы провели прежде-то годы. Уж и чего только всласть не поели, сколько пива, вина попили. На пирушках, на свадьбах... Нет, нынче не могут так. К слову молвить, и сама я теперь на обезьяну похожа.

Прчкан. Ну, что ты, агай! Посиди-ка, я пойду пива нацежу.

Ескар. Ах, не хлопочи, сестрица Прчкан. Я ведь только повидаться зашла.

Прчкан. И-и, Ескар агай, я мигом нацежу. Давно тебя угостить хотела. (*Взяв ведерко, выходит.*)

Явление 4

Ескар одна.

Ескар. Э, сова лесная. Еще не раз, а двадцать раз попотчешь. Знаю я твои думушки, насквозь вижу. Дочь-то хочешь поскорее с рук сбыть да сама хозяйкой остаться. А потом — мужа взять. Смотри-ка, стара-стара, а хочет с мужем позабавиться. Так вот оно: с жиру-то что бывает. Делай, что тебе угодно. Мне-то что? Мне бы только поесть да попить, да впридачу денежек получить. То-то в горле у меня нынче щекотно. Уж и попою. (*С улицы доносится песня парней.*)

Явление 5

Ескар. Входит Прчкан.

Прчкан. Вот я и управилась.

Ескар. Напрасно хлопочешь. Пить мне совсем не хочется.

Прчкан. Ай, что ты говоришь, Ескар агай. Как это я тебя из своего дома без угощения отпущу? *(Наливает пиво. Сначала пьет сама, затем подносит Ескар.)*

Ескар. И-и, сестрица Прчкан, попили-то нынче... Рот уж весь пропах, наверно. Пьем, пьем — куда девается, как только живот терпит. *(Пьет.)*

Прчкан. Пиво не холодное?

Ескар. Мой живот этого не разбирает. Нутро-то у меня разве не раздалось? *(Пьет.)* А пиво... Очень сладкое... Как мед. Будь здорова, сестрица Прчкан!

Прчкан. Кушай-ка, ведь нынче, поди, и не виделись еще. Тебя я как следует угостить хотела.

Ескар. Чую. Что нужно — сделаю.

Прчкан. Ескар агай, ты меня ровно насквозь видишь.

Ескар. От меня ничего не скроешь.

Прчкан. Жена у Степана как?

Ескар. Кожа да кости остались. Много не протянет. Вот-вот умрет.

Прчкан. А чем она хворает?

Ескар. Да ведь женское-то счастье таково оно. Не сможет детей рожать, как положено... *(Пьет.)* Совсем не нужен тогда человек.

Прчкан. Сам Степан как?

Ескар. Степан-то?

Прчкан. Ага...

Ескар. Степан другую хочет взять.

Прчкан. Неужто?

Ескар. Не обманываю.

Прчкан. Пей-ка... Я с тобой давно слово перемолвить хотела.

Ескар. Говори уж, если только слово. Я никому не скажу.

Прчкан. А что... Не поладит ли Степан со мной?

Ескар. Вон оно что! Или дума запала?

Прчкан. Не знаю. Дума запала, пожалуй.

Ескар. Мм... так. Только...

Прчкан. Что еще?

Ескар. Карта не выходит.

Прчкан. Я тебе это так не оставлю, Ескар агай.

Ескар. Не сердись, хоть маслом меня заливай — и то не выйдет. Сама подумай: лет через пяток ты старухой будешь. Степан еще не скоро состарится. Тебе я другого найду. Кто нравится?

Прчкан. Если не Степан, то мне любой другой подойдет. Богатства, если уж говорить, у меня и у самой хватит.

Ескар. Знаю. Ах, прими-ка, выпила уж я довольно. (*С улицы доносятся песни.*)

Прчкан. И-и, пей-ка, пей! Наша Елюк, видно, со своими таскается. Ванюк привязался, никак не отстанет. Куда Елюк, туда и он. Замуж, что ль, ее хочет взять с дурной-то головы?

Ескар. И-и, Ванюку и во сне не видать Елюк. А все-таки ты за ними посматривай. Парень да девка — кошка да сливки, говорят. Испортит товар — никто не возьмет.

Прчкан. Вот и я так думаю: девушку ославить ничего не стоит. И, верно, пойти поглядеть, пожалуй. Ты, агай, на меня не смотри, сама наливай да пей.

Ескар. Прими-ка. Хватит уж мне. Лечь бы да отдохнуть теперь немного. Кости-то не молодые. Как почуют сырость, так и ноют.

Прчкан. Отдохни, отдохни. Я пойду, Елюк поищу. (*Выходит.*)

Явление 6

Ескар одна.

Ескар. Иди, иди. Отдохнуть мы и без тебя сумеем. (*Наливает пива и пьет. Допивает и смотрит на дно ведерка.*) Гладко! (*На улице слышатся песни.*) Пойте, пойте. Я тоже спою. (*Тихонько поет. Затем, покачиваясь, прохаживается раз-другой по горнице, ложится на лавку и засыпает. Во сне раза два пробует запеть.*)

Явление 7

Входит Елюк. Ескар лежит.

Елюк (*осматривается вокруг*). Что это нет никого? (*Бежит обратно к двери.*) Ванюк, Ванюк! Не уходи, не уходи! Заходи в избу, в избе никого нет.

Явление 8

Входит Ванюк.

Ванюк. Верно никого нет?

Елюк. Никого.

Ванюк. Милая! *(Обнимает Елюк.)*

Елюк. Ай, стыдно...

Ванюк. Я люблю тебя.

Елюк. Ванюк, ты меня не забудешь?

Ванюк. Как забыть? Ведь ты мое светлое солнышко.

Елюк. Правда?

Ванюк. Вот тебе солнце и месяц. Елюк!

Ескар, проснувшись, приподнимает голову.

Елюк. М?

Ванюк. Поцелую?

Елюк. Ай! *(Застыдившись, прячет голову на груди Ванюка.)*

Ванюк. Елюк... Елюк...

Елюк, тихонько приподняв голову, смотрит в глаза Ванюку. Ванюк замирает в поцелуе.

Ескар. А... Что это, думаю? А это бык теленка лижет.

Ванюк. Кто тут? Мне какой-то голос послышался.

Елюк. Показалось тебе. В избе никого нет. Сядем?

Ванюк. Сядем. Красивая ты девушка, Елюк.

Елюк. А ты мою красоту только сейчас разглядел?

Ванюк. Не только сейчас. Я тебя еще маленькой любил.

Ты для меня — красавица.

Елюк. И ты для меня очень красивый.

Ванюк. Отец раньше говорил: «Человека узнавай по глазам: если его глаза не прячутся от тебя, как мыши, то это твой человек».

Елюк. Ха-ха-ха! Как смешно ты говоришь, Ванюк. А мои глаза каковы?

Ванюк. Твои глаза, как ясные звездочки. Так бы я и глядел в них день и ночь: они глубокие, как колодец. *(Замирает в поцелуе.)*

Елюк. Ванюк, Ванюк, что с тобой? Ты сердиться?

Ванюк *(молчит)*.

Елюк *(смотря Ванюку в глаза)*. Ванюк, ты как пьяный?

Ванюк. Губы твои нежные меня опьянили. Эх, Елюк! Рассердиться на тебя у меня сил не хватит. Поднял бы я тебя

вот так на руки, показал бы всему свету да крикнул: «Это мое!» Ах, милая Елюк, как я тебя люблю!

Елюк. Ты когда меня замуж возьмешь?

Ванюк. Когда?.. Сегодня же ночью! Знаешь?

Елюк. Сегодня ночью — это очень скоро. Я не приготовилась.

Ванюк. А чего готовиться? Все равно твоя мать замуж за меня со свадьбой не выдаст. Украдкой придется выходить.

Елюк. И верно, меня мама замуж за тебя не отдаст. Ладно. Устроим побег. Только когда же выходить? Сегодня ночью — не слишком ли скоро?

Ванюк. Сегодня же, милая, сегодня.

Елюк (*обнимает Ванюка*). Ладно, если так.

Явление 9

Ескар, Елюк и Ванюк. Прчкан, за ней входят Степан и Мусся.

Елюк с Ванюк отскакивают друг от друга. Елюк закрывает лицо фартуком. Ванюк, подняв голову, ожидает, что будет. Степан входит в дверь и встает там же. Ескар садится, нюхает табак. Мусся, оборачиваясь туда и сюда, подходит ближе к столу, начинает ласково поглядывать на ведерко. Прчкан принимается бить Елюк.

Прчкан. Так ты с парнем? Ты с парнем? Ах, ты... Вот тебе, вот тебе!

Елюк. Ой, мама, не бей!

Ескар. Ап-чхи! Ап-чхи!

Мусся. Ай-уй! И моя табачная тавлинка здесь?

Ескар. А ты чего ищешь, тавлинкина крышка?

Ванюк. Прчкан агай, ты не трогай Елюк.

Прчкан. Тебе еще что нужно? Разве ты муж ее?

Елюк. Мама, Ванюка ты не ругай...

Прчкан. Еще тебе добавить? Ах, ты! Как они друг за друга заступаются.

Ванюк. Прчкан агай, не трогай Елюк. Я беру ее замуж. (*Вырывает у Прчкан прут и бросает прочь.*)

Прчкан. А, ты за нее заступаешься? Постой, отдам я ее за тебя замуж. (*Вытащив сковородник, хочет ткнуть Ванюка в губы.*) Уходи из моего дома, уходи! Уходи!

Ескар. Сестрица Прчкан, смотри!

Мусся. Сестрица Прчкан, брось-ка сковородник-то! (*Мусся и Ескар вырывают у Прчкан сковородник.*)

Прчкан. Ах, господи, все они против меня! Ах, господи! Братец Степан, братец Степан! Караул! Караул! *(Плачет с завываниями.)*

Степан *(тяжелой, как у силача, поступью выходит на середину избы)*. Ванюк! Уходи.

Ванюк. Потише.

Степан. Уходи! А то я тебя сейчас, как мялкой коноплю, отделаю.

Мусся. Ванюк, уходи, сынок, уходи, драка будет, уходи.

Ванюк *(грозя Степану пальцем)*. Эй, ты, кровосос мирской, комар! Смотри! В этом доме я об тебя руки марать не стану, а встретишься на воле — схватиться с тобой готов. Попадет тебе вот этим кулаком по голове — или голова разлетится, или угоришь навеки.

Степан. Ну!.. *(Поднимает руку для удара.)*

Ванюк. Попробуй с места тронуться!

Прчкан. Уходи из моего дома, уходи! *(Обращаясь к Елюк.)* И ты убирайся!

Ванюк. Уйдем, если нужно. Только один я отсюда не пойду. Пойдем, Елюк, вместе. Давай и в самом деле уйдем из этого дома.

Елюк. Куда пойдем, Ванюк? *(Встает рядом с Ванюком.)*

Ванюк. Ко мне, все равно уж нам вместе жить.

Прчкан. А-ах, дьяволы! Убили! *(Негромко плачет.)*

Ескар. Не так, братишка Ванюк! Так вся деревня смеяться будет. Мы вот как сделаем: ты, дочка, до венчанья у меня поживи, а потом мы тебя к Ванюку в дом со свадьбой проводим.

Мусся. Вот на, и я буду дочь выдавать. Ай-люн, май-люн, мне подруженька — березка!

Ескар. Пошли, ребята. Вещи и после возьмем.

Прчкан. Убирайтесь, разбойники! Мне ваши вещи не нужны. Нате, сейчас же волоките! *(Бросает одежду и подушки Елюк.)*

Ванюк. Пойдем, Елюк!

Елюк. Прощай, родимый дом!

Прчкан. Уходите, сгиньте, сквозь землю провалитесь!

Ванюк и Елюк, за ними Ескар и Мусся уходят. Мусся, обернувшись, идет от двери обратно.

Явление 10

Прчкан, Степан, Мусся.

Прчкан. Ах, что натворили со мной эти разбойники!

Мусся. У меня здесь шапка осталась, кажись. *(Когда ищет шапку, ласково поглядывает на ведро.)*

Прчкан. Эх, брюхо твое, Мусся!

Мусся. А, брюхо-то оно мое, как и было. Не прогневайся, сестрица Прчкан, помешали.

Степан. Мусся! Только слово еще молви — сейчас же вытолкну.

Мусся. Э, я и сам уйду, братишка Степан, сам уйду.

Степан *(когда Мусся выходит, хлопает правой ладонью по подошве левой ноги)*. Ш-шть! *(Мусся уходит.)*

Явление 11

Прчкан. Степан быстро ходит по избе.

Степан. Хотелось мне всех повыволкать, да немного, думаю, обожду: не в своем дому.

Прчкан. Ах, почему ты их не вытолкал? Надо было вытолкнуть.

Степан. Не тужи, нужно будет — я их и после могу отколотить.

Прчкан. А, братец Степан, задай ты им, пожалуйста. Ванюку бы покрепче голову намылить. Ескар — пинков по заду надавать. Муссю — и потрясти — так хватит. *(Приблизившись.)* Я тебе за это полштоф целый поднесу.

Степан. Полштоф мы и сами найдем, а у тебя... *(приблизжаясь)* для меня... нет ли чего послаще, а?

Прчкан *(притворяясь непонимающей)*. А чего это послаще-то?

Степан. Вот что. *(Схватывает Прчкан.)*

Прчкан *(вырывается)*. Ай... *(грозит Степану)* нельзя.

Степан. Почему? Ты мне очень нравишься, можно ведь немножко позабавиться?..

Прчкан. Позабавиться? Я для тебя не котенок забавляться-то. Куда стыд девать? Я ведь не девушка, состарилась.

Степан. Э, стыд не дым, глаза не ест. Молодое и старое я не очень разбираю. Молодые девушки — что незрелые ягоды. Ты пышная, мягкая, тебя и целовать, наверно, слаще.

Прчкан. Целоваться у тебя жена есть.

Степан. Эх, жена!.. Как увижу ее, так тошнит.

Прчкан. Ха-ха-ха. Не смейся. Три года прошло, как у меня муж умер. За те три года я не только забавляться с кем — в мыслях этого не держала. *(В сторону.)* Ах, сердце выпрыгнет, что делать?

Степан. Если не держала, то это и сейчас не поздно... Это даже лучше, что не держала...

Прчкан *(шепотом)*. А если люди узнают?.. А?.. Стыд...

Степан. Здесь никого нет, на улице темно.

Прчкан. И верно, здесь никого нет... темно... Ах, что ты за человек?..

Степан. Молчи... *(Схватывает Прчкан.)*

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Изда Ванюка.

Явление 1

Елюк качает зыбку.

Елюк *(поет)*.

Милому малышке —
Резвые ножонки...
Чтобы ими топ-топ,
Чтобы ими скок-скок.

(Продолжает петь на тот же мотив.)

Матери — головушку,
А малышке — ножки —
Люли-люли покачаться,
Гули-гули полетать.

Явление 2

Елюк. Входит В а н ю к.

Ванюк. На дворе все как есть убрал. Теперь и позавтракать можно. Елюк, приготовь завтрак. Ребенка пока сам покачаю.

Елюк. Ладно. Ванюк, посмотри-ка: он и не спит вовсе, глазки открыл и лежит смотрит.

Ванюк. Где же он там? (*Ванюк и Елюк, наклонившись, смотрят в зыбку.*) Смотри, и верно: как он глаза тарашит. А ты, Елюк, собирай завтракать, собирай.

Елюк. Сейчас. И есть-то нечего совсем, чего бы приготовить?

Ванюк. А квас разве кончился?

Елюк. Есть немного.

Ванюк. В квас луку накроши. А для этого пузыря козу подои. Вот нам и хватит.

Елюк. Ладно, так и сделаем. (*Выходит доить козу.*)

Явление 3

Ванюк один.

Ванюк (*ребенку*). Что это ты там делаешь, барин? Ишь ты, руки еще протягивает. Молодец, молодец. Спи, сынок, спи.

Явление 4

Ванюк. Входит Прчкан.

Прчкан. Я пришла, не прогневайтесь. Как живете?

Ванюк. Умирать пока не собираемся. Сама как живешь?

Прчкан. Жить уж надо волей-неволей, что подделаешь.

Ванюк (*поднимает голову*). Как это волей-неволей? Голову зачем завязала?

Прчкан. Ах, не говори, Ванюк. Степан пробил.

Ванюк. Эге. Умеет, видно, черт этакий, держать, коль в руки ему попадешь. Помнишь, как один раз он меня у тебя в дому избить хотел? Только ноги, видно, задрожали — не связался. А все-таки, я думаю, что силенка у него есть.

Прчкан. Что было, за то прости, Ванюк. Меня, дуру, он обманул, негодный. Все мое богатство к своим рукам прибрал.

Ванюк. Ничего, богатство ему не помешает. Жена работать не может, работницу надо держать.

Прчкан. И-и, а жену-то совсем забил. Только начнет та немножко ходить — бить начинает.

Ванюк. Вот медвежья порода.

Прчкан. Пойти, видно.

Ванюк. Что не посидишь?

Прчкан. Степана ищу, да... Не у вас ли, думаю, сидит. Дай, думаю, зайду посмотрю.

Ванюк. Нет, Степан к нам не приходил. Зачем это ему сюда приходиться?

Прчкан. Хвалится, что голову Елюк вскружит.

Ванюк. Ха-ха-ха! Я ему вскружу, да как следует, пусть только попадетя.

Прчкан. Самому-то тебе, может быть, в солдаты придется идти, он тогда еще нахальнее станет, никто с ним и не совладеет. *(В это время входит Елюк.)*

Явление 5

Ванюк. Прчкан. Елюк.

Елюк. Ребенок спит?

Ванюк. Спит.

Елюк. Мама, что это ты говорила, кому в солдаты идти?

Прчкан. Сегодня конторские приехали. Говорят, одногодков Ванюка призывают.

Ванюк. Не призвали еще пока, до этого давайте позавтракаем.

Прчкан. Пойду-ка, будьте здоровы.

Елюк. Мама, останься позавтракать.

Ванюк. Садись завтракать. Хватит уж, давайте дальше не будем друг на друга сердиться.

Прчкан. Поесть, что ли, уж?

Ванюк и Елюк. Садись, садись, кушай.

Елюк. Как не покушать... *(Садятся завтракать. Елюк не ест, смотрит на Ванюка.)*

Ванюк. А ты что не ешь?

Елюк. Боюсь, в солдаты тебя возьмут.

Ванюк. Не бойся, мы пойдем — так и война кончится.

Прчкан. Пусть бы она кончилась, эта война. Тогда и пойдешь — головы не сложишь. *(Стучат.)*

Голос. Дома?

Ванюк *(встав, смотрит в окно)*. Дома. Кто это? Дядя Сидор, не ты ли?

Голос. Я.

Ванюк. В избу заходи.

Голос. Зайти, пожалуй.

Елюк. Зачем это он пришел, Ванюк?

Ванюк (*задумавшись*). Не знаю...

Елюк. Ах, господи, староста!.. (*Все выходят из-за стола.*

Прчкан начинает убирать со стола.)

Явление 6

Елюк. Ванюк. Прчкан. Входит староста.

Староста. Здравствуйте.

Ванюк. Милости просим, проходи.

Староста (*пожимает руки*). Как живете?

Ванюк. Спасибо! Живем потихоньку. Сам-то как?

Староста. Ходим. Дела-то ведь у нас такие...

Елюк. Что еще?

Староста. Да вот что. Сегодня в контору надо явиться, завтра на прием...

Елюк (*плачет*). Ах...

Ванюк. Елюк, не плачь, пожалуйста... (*Показывая на зыбку.*) Вон твой... лежит. Ты за ним смотри... А мы уж пошли... (*Закрывает лицо рукой. На улице слышится солдатская песня. Поющие приближаются к дому Ванюка.*)

Староста. Тут уж, браток, слезами горю не поможешь. Дело такое... Ну, пойду-ка я... Мне еще в два-три места надо поспеть. Будьте здоровы. (*Уходит.*)

Ванюк. Будь здоров, мучей! (*На улице слышно: «Тпру!»*)

Явление 7

Ванюк. Елюк. Прчкан. Входят рекруты.

Рекруты. Здорово ли живете?

Ванюк. Здравствуйте, друзья! Елюк, наливай пиво.

Палля. С пивом долго задержимся, Ванюк. Мы ехать собрались. Тебя хотели захватить.

Ванюк. Как это мы выйдем из моего дома, не выпив трех ковшей пива? (*Елюк наливает Ванюку пиво. Ванюк пьет и, налив еще, угощает рекрутов.*)

Рекруты (*поют*):

В свете звезд видна дорога,

В свете звезд видна дорога.

Той дорогой мы уйдем,

Той дорогой мы уйдем.

В лунном свете путь-дорога,
В лунном свете путь-дорога.
Той дорогой нам идти,
Той дорогой нам идти.

Ванюк. Не плачь, пожалуйста, моя милая Елюк. Контора не так далеко, до вечера вернемся.

Палля. Спасибо добрым хозяевам. Выпили, угостились, теперь ехать нужно.

Ванюк. Поедем. Елюк, дай одеться...

Елюк (*подает фуражку и кафтан*). Ванюк... скорее возвращайся...

Ванюк. Эх, пошли! (*Ванюк, обнявшись с рекрутами, уходит с песней.*)

Мы дорогу перешли,
Мы дорогу перешли —
Березка сломалась,
Листочки осыпались.

Мы с родными распростились,
Мы с родными распростились —
Весь поник я и согнулся,
Не стерпел — заплакал.

Уходят. Елюк провожает. Прчкан остается у зыбки.

Явление 8

Прчкан.

На улице голос Палли: «Эй, передний!» Звук колокольчика затихает.

Входит плачущая Елюк.

Елюк. Уехали!..

Прчкан. Слезами горю не поможешь.

Елюк. Тебе-то это легко говорить. Мне какво терпеть?

Прчкан. Пойду-ка я. Будь здорова. Не плачь. Слезами горю не поможешь. (*Уходит.*)

Елюк. Будь здорова.

Явление 9

Елюк одна.

Елюк. Сердце с давешних пор чуяло. Вернуться бы Бог помог. Кабы одна была, еще ладно. (*Взглянув на зыбку.*) За этого боюсь. (*Тихонько напевает колыбельную песню.*)

Милому малышке —
Резвые ножонки.

Погадаю-ка, что выйдет? (*Считает, перебирая руками по рукояти сковородника.*) Раз... два... три... четыре... пять... шесть... семь... Ах, добра не жди! (*В дверь стучат.*) Кто это?

Явление 10

Елюк. Входит Степан.

Степан (*в дверях*). Можно войти? (*Входит.*)

Елюк. Ванюк уехал...

Степан. Не гони уж, пожалуйста, если пришел. Видел, как уехали. Тебя стало жалко, поэтому и зашел.

Елюк. Меня и без тебя есть кому жалеть.

Степан. Хорошо сказано. Это я люблю.

Елюк. Что тебе нужно?

Степан. Не брани, Елюк. Ничего мне не нужно. Зашел только тебя повидать.

Елюк. Ты пьян!

Степан. Может быть, может быть. Не осудишь ты меня за это?

Елюк. Разговаривать с тобой я не расположена. Говори, что нужно?

Степан. Успокойся, успокойся, Елюк. Мне ничего лишнего не нужно. (*Ласковым голосом.*) Эх, Елюк! Нигде я не нахожу покоя. Когда ты была девушкой, у меня сердце радовалось на тебя глядя. А теперь вижу тебя женой другого — и сердце у меня разрывается.

Елюк. Эх, обманщик беспутный! Жену законную до недуга довел, к матери моей привязался, осрамил ее. Хватит с тебя, меня не трогай. Оставь свои пьяные мысли.

Степан. Я не пьяный, Елюк. Пил, а не пьяный. Голова у меня трезвее трезвой. Если бы я мог вот так открыть свою грудь, ты бы меня хоть немножко пожалела. Ты говоришь: «жену», «матери моей». Моя-то жена навеки мои молодые годы засушила. Как стала хворать, так характер у нее испортился. Ругаться начала, как пилой пилить. Разве я виноват, что она хворает? А раз в жизни не повезло, то я к своему дому охладел. И к матери твоей из-за этого привязался. Но эта оказалась хуже жены. Старая — и начала ревновать,

глянуть в сторону не давала из-за своей ревности. «Ты, — говорит, — что глаза-то пялишь, девок, что ль, потолще вы-сматриваешь?» Чуть ли не ко всему белому свету стала ревновать. «Что это ты, — говорит, — все на улицу смотришь?» Когда уж душе стало невмоготу, не вытерпел — сбежал от твоей матери. Сердце у меня тут еще пуше заболело. Как раз в это время увидел я однажды, как ты молилась Богу в церкви. Представилось мне тогда, что ты — безгрешный ангел божий. С тех пор и пала ты мне на сердце, будто орел когти вонзил. *(Делает соответствующий жест.)* Любишь ли ты меня?

Елюк. Ты страшный человек. От твоих слов без холода застынешь. А мы и в этой избенке счастливо живем. Муж меня любит, в колыбели у меня дитя — жизнь ни в чем не отстает. А если ты до сих пор не нашел своего счастья — здесь его не ищи. Иди-ка своей дорогой — найдешь где-нибудь свою долю.

Степан *(подбегает)*. А-а, если не любишь — я тебя силой возьму.

Елюк. Ах! *(Убегает за зыбку.)* Если хочешь меня взять, изломай зыбку, переступи через моего ребенка!

Степан *(остановившись и сжав обеими руками голову)*. Что я наделал? Прости меня, пожалуйста, Елюк!

Елюк *(показав на дверь)*. Уходи, грешная душа!

Степан. Прости, Елюк, прости. *(Встает на колени.)*

С улицы доносится рекрутская песня.

Елюк. Уходи скорее! Сейчас же уходи, а то вернется Ванюк — уьет тебя, как собаку.

Степан. Пусть убивает! Пока не простишь, я с места не двинусь!

На улице звук колокольчика и голос Палли: «Тпру!»

Елюк *(потеряв голову, подбегает к Степану со сжатыми кулаками)*. Уходи скорее, шайтан! Ты меня погубить хочешь?

Из страха, что войдет Ванюк, запирает на крючок дверь. Степан, намереваясь скрыться, подбегает к двери. Снаружи стучат. Голос Ванюка: «Елюк, отпри, мы вернулись!» Степан в страхе отступает назад. Елюк, подбежав к окну, открывает его, дает Степану знак бежать. Степан прыгает в окно. Снаружи настойчиво стучится Ванюк: «Елюк, открой! Не слышишь разве? Открой!» Елюк открывает.

Явление 11

Елюк. Входят Ванюк и рекруты.

Ванюк. Почему долго не отпирала?

Елюк (*в страхе*). Ванюк!..

Ванюк (*взволнованно*). Елюк, что с тобой? Ты дрожишь? Глаза у тебя испуганные? Сама ты побелела вся.

Елюк. Ах, Ванюк...

Ванюк. Что случилось, говори скорее! Ты меня бесишь! (*Увидев открытое окно.*) Почему открыто это окно? (*Догадавшись.*) А-а, к тебе кто-то приходил, видно? Говори прямо, а то все равно душу выну!

Елюк (*став на колени*). Ванюк, любимый, милый, прости меня, я не виновата.

Ванюк. Что еще, говори скорее!

Елюк. Как только вы уехали, я начала ребенка укладывать...

Ванюк. Ну?

Елюк. В это время зашел Степан и начал меня насиловать.

Ванюк (*хватается руками за голову, втянув воздух, смеется, как сумасшедший, затем ревет, как лев*). Где он сейчас? Дайте мне его сюда! Где он, где-е?

Елюк. Я боялась, что ты убьешь его, и выпустила в окно. Поэтому, пока он не выпрыгнул, я дверь не отпирала.

Ванюк (*заносит руку, чтобы ударить Елюк*). И ты меня обмануть хочешь...

Ванюка держат за руки. Он, обессилев, падает на лавку. Елюк, подбежав, падает на него.

Елюк. Я не виновата, Ванюк, прости меня!

Ванюк (*тихо, слабым голосом*). Найдите мне Степана, пожалуйста, найдите, мне его видеть хочется.

Палля. Пойдемте, поймем его и приведем.

Рекруты. Пойдемте, пойдемте! (*Выходят.*)

Явление 12

Елюк. Ванюк.

Ванюк (*садится*). Елюк! Посмотри мне в глаза. Правду говоришь или обманываешь?

Елюк. Правду говорю, Ванюк. Он пришел, чтобы меня из-

насиловать. Сидел и болтал всякую ерунду с пьяной головы. Посидел, посидел и начал ко мне приставать. Как только он шагнул в мою сторону, я зыбкой загородилась. Говорю ему: «Ты сначала моего ребенка убей да через колыбель переступи, а потом уж меня бери».

Ванюк. Пусть будет благословен твой род, Елюк. Ты правду мне сказала, я это по твоим глазам, как в зеркале, вижу.

Елюк. Верно так, Ванюк. Теперь ты на меня не сердись-ся, Ванюк?

Ванюк. Как мне на тебя сердиться? Ты правду сказала. Что-то нутро у меня горит, дай скорее воды, хоть немного во рту смочить.

Елюк (*подает пива*). Давнишнее пиво есть, вот, пей.

Ванюк (*пьет*). Еще дай.

Елюк. Все выпей.

Ванюк (*пьет еще*). Теперь отошло. Ну, уж, дьявол, приготовил я тебе на молитву.

Снаружи доносятся голоса: «Не отставай! Айда!» Рекруты вводят Степана, держа за обе руки.

Явление 13

Елюк, Ванюк. Рекруты со Степаном.

Палля. Вот, изловили того медведя.

Ванюк (*иронически*). Иди, иди, Степан. Что это ты к нам не заходишь? Или знаться с нами не гнушаешься? Что, только чужих жен целовать хорошо, а?

Степан. Ванюк, добрая душа, прости меня! (*Становится на колени.*)

Ванюк (*кричит громовым голосом*). А-а, теперь «прости»? Прощенья просишь? (*Подскочив к Степану, заносит ногу, чтобы пнуть в лицо. Степан вскакивает на ноги. Ванюк ударяет Степана, его удерживают товарищи. Елюк держит ребенка.*)

Степан. Прости, Ванюк! Я пьяный был.

Ванюк. Пьяный!.. Тебе своей жены не хватает, разжирел! С вдовами беспутничаешь, а теперь и мой дом испаскудить хотел? Вот тебе! Вот тебе!..

Палля. Хватит уж, Ванюк, перестань.

Явление 14

Те же. Вбегает Ескар.

Ескар. Степан здесь? (*Увидев Степана.*) Степан, пойдём скорее домой, жена у тебя умерла.

Ванюк. Вот тебе еще за жену.

Степан. Не тронь, Ванюк, не наноси тяжелой раны.

Ванюк. А-а, тяжелой раны? Душу я из тебя выну! Тьфу! Самец чертов, еще сказать... Уходи, бессовестный, с глаз долой, сгинь! (*Степан уходит.*)

Рекруты. Ха-ха-ха! Нашел он для себя.

Явление 15

Елюк. Ванюк. Рекруты.

Ванюк. Эх, видно, жизнь прожить — не поле перейти... (*Плачет.*)

Елюк. Не плачь, Ванюк.

Ванюк. Нет, я не плачу. Эх, Митрий, играй! (*Митрий начинает играть.*) Пляшите! (*Двое выходят и пляшут. Елюк кладет ребенка в зыбку и угощает рекрутов пивом. В это время пляска прекращается.*)

Палля. Хватит, друзья, пора и по домам.

Товарищ Палли. Поздно уж, пойдёмте.

Ванюк. Сидите...

Палля. Благодарствуем! И вам отдохнуть надо, и самим нам спать пора, да и завтра рано выезжать придется. Будь здоров, Ванюк!

Рекруты. Будьте здоровы!

Ванюк и Елюк. Будьте здоровы! Не обессудьте!

Явление 16

Ванюк и Елюк.

Ванюк (*немного погодя*). Устал. Силы вовсе нет.

Елюк. У меня сердце хочет выпрыгнуть. Не к добру, видно.

Ванюк. Ничего. Ты испугалась. Сердце у тебя, наверно, ноет. Ах, устал. В сон вдруг клонить начало. Спать надо.

Елюк. Ложись, ложись, я тоже лягу. (*Ванюк ложится спать. Елюк укачивает ребенка, гасит свет. Снаружи начинает светить месяц.*) Сердце что-то так и бьется. Чует оно, видно, недоброе.

Ванюк (*сонным голосом*). Спи, Елюк. Думать да гадать завтра будем.

Елюк. Ладно. Ребенка вот уложу. (*Тихо, без слов напевает колыбельную.*) Уснул. (*Садится около Ванюка. Трижды крестит его. Затем, взяв ребенка, ложится спать впереди, перед печкой.*)

Лунный свет становится ярче. Немного спустя в окне показывается тень Степана. Он тихонько, крадучись, проникает в избу через окно. В руках сноп соломы.

Явление 17

Ванюк. Елюк. Степан.

Входит Степан, пройдя через сцену, выходит в дверь. Дверь оставляет приоткрытой. Поджигает за дверью сноп. Вспыхивает пламя, изба озаряется красным светом. Степан, войдя обратно, выпрыгивает в окно. Раздается набат. Ванюк и Елюк вскакивают.

Явление 18

Ванюк и Елюк.

Ванюк и Елюк. Ах, ах! Пропали! Ах, пропали! Ах, пропали! (*Ванюк выбегает в сени, но, столкнувшись с пламенем, бежит обратно.*)

Елюк. Ванюк, ребенка оставили! Ребенка! Ребенка!

Ванюк и Елюк схватив зыбку, выпрыгивают в окно.

На улице начинается шуметь народ.

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

На улице, у дома Ескар.

Явление 1

Е л ю к одна, прядет.

Елюк (*поет*):

Полным-полно орехов блюдо,
Полным-полно оно стоит —
Никто не придет угоститься,
Эх, с кем же я буду их грызть?

(*Продолжает петь на тот же мотив.*)

Душа болит, а сердце ноет,
Душа болит, тоска берет —
Никто не придет на беседу,
Никто не придет посидеть.

(Бросает прясть.) Эх, бедная жизнь... Прясть совсем не хочется. У людей батрачить стала, чтобы только прокормиться. Ванюк, Ванюк! Не видишь ты моей жизни, не знаешь... Жив ли ты, или уж убили, и писем от тебя нет. И ты, наверно, горе мыкаешь, и дома жить не сладко. Вот уж и есть нечего стало, на людей работаю, чтобы не голодать. Я иногда даже про тебя забываю из-за горя да заботы. Как жить, как жить...

Явление 2

Елюк. Входит Ескар.

Ескар. Что не прядешь? Или думаешь, что мы богачи большие — даром тебя кормить?

Елюк. Да за пряжей в голову разные мысли пришли, задумалась.

Ескар. В руках держать тебя некому, кабы было кому — не стала бы задумываться.

Елюк. Ах, есть кому, Ескар агай, есть...

Ескар *(с насмешкой)*. Есть... По-моему, тебе его и забыть уж пора.

Елюк. Ескар агай, что ты говоришь? Как это я могу Ванюка забыть? Он у меня из головы не идет.

Ескар. Мне таких разговоров и слушать не хочется. На войне всяко бывает. Либо вернется с нее, либо нет.

Елюк. Не убьют — так когда-нибудь придет.

Ескар. Дура! *(Притворяясь, будто жалеет.)* Елюк! Я тебе добра желаю. Говоришь, коли не убьют, то придет. Да и придет — делу не очень помешает. Ты молодая, красивая — зачем же себя-то засушить хочешь?

Елюк. Ах, господи, чудно ты говоришь, Ескар агай. У меня таких мыслей и в голове нет.

Ескар. Я это не к чему-либо, а для тебя же говорю. Воля твоя, что хочешь, то и делай. Ты еще черного и белого не разбираешь, если так.

Елюк. Видела я, Ескар агай, и то и другое видела. Думают о жизни мне голову сверлят. Я это и без тебя хорошо знаю.

Ескар. Да, да. Вот зима придет, а есть что будешь? Одеваться во что будешь? По миру, что ль, хочешь идти? Пойми.

Елюк. То, что я живу да тебе надоедаю, мне очень хорошо видно. Только я, чем попрошайкой стать, на фабрику или на завод пойду, прокормлю как-нибудь себя одну. Если бы ребенок был жив, мне бы, конечно, труднее было.

Ескар. А что там делать недотроге на заводе? Сама знаешь, что у женщины одна цена: уступила — хороша, не уступила — хоть в петлю лезь.

Елюк. Твои слова мне сердце пронзают.

Ескар. Пусть пронзают, пусть. Думать не умеешь. С твоей наружностью я бы только масло кушала. Вон Степан сколько раз нынче приходил? Что рыло-то воротишь, еще сказать?

Елюк. Вернется Ванюк — душу из меня вынет.

Ескар. А если убили?

Елюк (*испуганно*). Ах! Если убили? И не заговаривай об этом. Ескар агай, у меня волосы дыбом поднимаются.

Ескар. Если и вправду убили? Что? Скажи-ка?

Елюк. Если убили, и я умру.

Ескар. Тьфу!

Явление 3

Елюк. Ескар. Вбегают дети, играя в лошадки.

Дети. Тпру! Тпру!

Ескар. Вам еще что нужно, пострелы?

Дети. Дядя Палля с войны вернулся. Пиво пить зовет.

Елюк. Где он, где?

Дети. Да дома. Говорит, с дядей Ванюком вместе были.

Елюк. А дядя Ванюк здоров? Что он о нем говорит?

Дети. Про это не говорил. Скорее приходите пиво пить.

Ескар. Бегите, скажите, что придут.

Дети. Ладно. Эй, передний! (*Стремительно выбегают.*)

Явление 4

Елюк. Ескар.

Елюк. Пойти узнать скорее. (*Уходит.*)

Ескар. Постой, увидим еще...

Явление 5

Ескар. С другой стороны входит Степан.

Степан. Живешь?

Ескар. Живу.

Степан. Что же ты не умрешь?

Ескар. Свет опустеет, думаю.

Степан. По-моему, на свете ты только для смрада и живешь.

Ескар. Сам уж смерди. Живот-то у тебя не тоненький.

Степан. У меня и карман не тонкий.

Ескар. Врешь.

Степан. Зачем врать? Ведь за вранье денег ты не дашь.

Ескар. Уйди! Больше тебе никогда не поверю.

Степан. Почему, Ескар агай?

Ескар. Э-э, как Елюк нужна, так «Ескар агай»? Сколько раз обманывал? Тухью, говорит, подарю, обманщик. Не Елюк тебе — даже сорокалетнюю искать не буду.

Степан. Ескар агай, зачем сердишься?

Ескар. Уходи, откуда пришел.

Степан. Ескар агай!

Ескар. Иди, иди! Иди!

Степан сунув руку в карман и поглядывая на Ескар, звенит монетами. Ескар, обернувшись, смотрит на него. Степан продолжает звенеть.

Ескар (*протянув руку*). Дай уж, чего задоришь?

Степан (*достает деньги*). Когда Елюк будет моей?

Ескар. Ы-ы... (*Подойдя к нему*.) Слушай, потерпеть нужно немножко.

Степан. Больше терпенья не хватает.

Ескар. Ха-ха... Если терпенья не хватает, то денежки не жалея, скорее будет.

Степан дает деньги.

Ескар. Ах, господи!.. (*Смотрит на деньги расширенными глазами, потом сует за пазуху*.)

Явление 6

Ескар, Степан. Входит Палля.

Палля. Здравствуйте, дорогие земляки!

Степан. Да ведь это Палля? Здорово! Когда прибыл? (*Пожимают руки*.)

Палля. Только сейчас. Дома-то всего одно ведро пива успели выпить. Я к Елюк пришел. Сказали, что она здесь живет. О Ванюке ей хотел рассказать. Поэтому и торопился очень.

Ескар. Елюк только сейчас, как услышала, что ты вернулся, к тебе побежала. Как это вы не встретились?

Палля. Я огородом вышел, а потом через овраг перебрался. Елюк у вас давно живет?

Ескар. Давненько уж. Работает на людей — этим и живет.

Палля. Вон как.

Степан. Да, так. А Ванюк как?

Палля. Этого сказать не могу. Воевать вместе начали. До того, как меня шрапнелью ранило, мы с ним все время вместе были. Смело воевал. Кровь-то у него, видно, горячая была... Дальше я и сам ничего не помню — без памяти был. В лазарете я три дня Ванюка ждал. Лежу да жду: «Ах, придет этот Ванюк или не придет?» Три дня ждал — на глаза не показался. Потом подумал, что убили его или в плен взяли, потому что от нашей дивизии всего двадцать солдат спаслось. А там нас в московский лазарет перевели. В Москве я три недели пролежал. Сейчас домой отпустили на поправку.

Степан. Так о Ванюке ты ничего не знаешь?

Палля. Нет, ничего не знаю.

Степан. По-твоему, как? Убили его или в плен попал?

Палля. Не знаю.

Ескар. Война-то скоро кончится? Говорят, будто наши должны победить.

Палля. Кто говорит?

Степан. В газетах пишут.

Палля. В газетах врут. Мы никогда не верим газетам.

Степан. Царь будто так сказал: «Гору сделаю из человеческих трупов, а не сдамся».

Палля. Ему это говорить легко: кровь-то он не свою проливает.

Явление 7

Те же. С другой стороны вбегают дети.

Дети. Тпру! Тпру! Дядя Палля, мы всех позвали.

Палля. Ну, молодцы, если так. (Степану и Ескар.) Пойдемте теперь к нам.

Степан. Благодарю.

Ескар. Сам заходи посидеть.

Палля. Придем. Будьте здоровы. (*Уходит.*)

Дети. Эй, передний! (*Выбегают вслед за Паллей.*)

Явление 8

Степан. Ескар.

Степан (*обрадованно*). Что на это скажешь?

Ескар. А ты обрадовался, что человек погиб?

Степан. Мне-то что? Или обо мне стали тужить, если бы я погиб?

Ескар. Денег еще дай — ведь дело человека плакать заставит.

Степан. Не говори зря — кому это плакать? По-моему, Елюк только радоваться должна, на мое богатство глядя.

Ескар. Дай, говорят, тебе. Чего деньги жалеешь — лежат да гниют.

Степан. Дать-то дам, да только не на слезы, а на радость.

Ескар. Собака! Для тебя Елюк и портить жаль.

Степан. Как это портить? Ведь Елюк не девушка?

Ескар. С девкой и пошалить не грех. Елюк — мужнина жена.

Степан. По-моему, с женщиной побаловаться совсем не грех. Все равно не заметно.

Ескар. Как побалуешься? И во сне-то Ванюка ждет.

Степан. Мы устроим, чтобы его не ждали. Слышала, что Палля рассказал? После этого только письмецо потребуется...

Ескар. Какое письмо, собака?

Степан. Что Ванюка убили...

Ескар. Тьфу! Ты шайтан...

Степан. А ты дура. Денег боишься.

Ескар. Скажи, как сделать. Взялась — так не отступлю.

Степан (*вынув из кармана бумагу, пишет небольшое письмо*). Вот на... Когда придет Елюк, передай. (*Смотрит в сторону.*) Вон идет. (*Выходит и прячется.*)

Явление 9

Ескар. Входит Елюк.

Ескар. Что голову повесила?

Елюк (*плачет*). Ванюка... убили... наверно... Пропала теперь моя головушка.

Ескар. Ну, сразу да в слезы. Может и жив еще? Письмо есть. Прочти-ка.

Елюк. Где письмо, где?

Ескар (*достав из-за пазухи, отдает письмо*). Вот, Ванюк, наверно, пишет?

Елюк. Ах, сердце выпрыгнет... (*Смотрит удивленно.*) Написано, видно, не его рукой... Убили, наверно, Ванюка. Кого бы прочитать попросить? Схожу-ка еще раз к Палле. (*Собирается уходить.*)

Явление 10

Елюк. Ескар. Торопливо входит Степан.

Степан. Что прочитать? Дай я тебе прочитаю...

Елюк. Ничего. К Палле собралась идти...

Степан. Да ты к нему, кажется, уж сходила?

Ескар. А что стряется, если письмо прочтут? Здесь и узнаешь, чего туда идти?

Елюк. На, прочитай.

Степан. Охотно, с радостью.

Елюк. Ах, Степан, читай скорее.

Степан (*читает, взглядывая на Елюк*). «Деревня Хыркасы. Елене Кудряшовой. Здоровы ли живете, Иван Кудряшов приказал вам долго жить».

Елюк бледнеет.

Степан (*читает*). «Когда ему разбило шрапнелью грудь, он не прожил и трех часов».

Елюк. А-а-а! Погубили! Погубили, дьяволы! Ах, погубили, Ванюк, Ванюк!.. Ах, погубили! А-а-ах, ха-ха-ха-ха! А-а-а-а!.. (*Падает и стонет.*)

Ескар (*Степану*). Шайтан! Ты натворил, в преисподнюю бы тебе провалиться!

Степан (*закрывает Ескар рукою рот, обозленно*). Не кричи, жабий рот!

Ескар. Кричать буду!

Степан. Уходи отсюда, я сам ее в порядок приведу.

Ескар. Не уйду.

Степан. Если так, держи еще, жадюга! (*Дает деньги.*)

Ескар. Не нужны твои деньги!

Степан (*добавляет*). На еще!

Ескар. В глаза наплюю!

Степан (*добавляет еще*). Держи, подамбарная!

Ескар. Народ скричу.

Степан. На все, ненасытное брюхо!

Ескар (*берет*). Грех пусть на тебе будет! (*Уходит.*)

Степан. Тьфу! Чертова баба!

Явление 11

Елюк. Степан стоит, глядя на Елюк. Солнце заходит.

Елюк. А-а-а... Погубили! Ванюк, ах, Ванюк, где ты? Ах, где ты, где-е?

Степан (*наклонившись к Елюк*). Елюк!

Елюк. Кто ты?

Степан (*в сторону*). С ума сошла.

Елюк. Кто ты?

Степан. Я...

Елюк. Кто?

Степан. Любящий тебя от всей души человек.

Елюк. Разве ты Ванюк? (*Садится.*)

Степан. Я тебя люблю больше, чем всю вселенную...

Елюк (*вытянув шею, смотрит пристально*). Ты меня любишь? Ты враг, ха-ха-ха...

Степан. Что же делать, зарезал бы я сам себя! Елюк! Ванюка убили...

Елюк. Ванюка убили?..

Степан. Убили Ванюка... Я тебя люблю больше, чем Ванюк.

Елюк (*посмотрев пронзительно*). Нет... Ты не Ванюк.

Степан. Я очень богат. У меня много всякого добра.

Елюк. Ты меня богатством соблазнить хочешь?

Степан. Слушай, Елюк. Я не Ванюк... Но разве мое сердце не способно заискриться огнем, как кремень? Меня вся деревня боится. Я тебя не черным хлебом буду кормить, а твоему тонкому стану не дам огрубеть на черной работе...

Елюк. Отойди от меня! Оставь меня! Не тревожь моего сердца. Я никогда не буду твоей женой. Ты бьешь.

Степан. Тебя? Как я буду тебя бить? Жену, может быть, и бил, когда выходил из терпенья. Если бы любил, я, быть

может, и взглядом не обидел ее. Эх, что тут говорить о прошлом! Я буду лелеять да беречь тебя, как золото...

Елюк. Не упрашивай. Связав себя с тобой, я все равно не найду утешения.

Степан. Эх, Елюк! *(Положив руки на колени Елюк, становится около нее на колени.)* Пожалей меня... Никто меня до сих пор не любил. Неужели пламени в моем сердце суждено угаснуть напрасно? Полюбил тебя — и хожу, как помешанный. Куда бы ни пошел, везде у меня в глазах — ты, смотришь на меня, пронзая сердце. Я плачу как маленький ребенок, протягивая к тебе руки. Елюк, Елюк, полюби меня!

Елюк. Эх, несчастная душа. Жалко мне тебя. Тяжело, видно, и тебе. Может быть, и из тебя получился бы добрый человек. Все же ты меня оставь. Я тоже человек с разбитым сердцем. Не видать тебе со мной счастья.

Степан. Милая Елюк! Даже светлое солнце в вышине не обрадовало бы мою душу так, как ты. Если ты не дашь мне слова любви, то я сегодня же превращу в пепел все свое богатство и развею его по ветру. А потом всажу в свою грудь нож и паду мертвый у твоих ног.

Елюк. Ах, как страшно! Неужели ты снова хочешь разбедить мою душу, которая и без того убита горем? Что бы ни было, уходи, дай мне все одной обдумать.

Степан. Елюк!

Елюк. Уходи скорее! Вон уже смеркается, молодежь на улицу вышла. Сейчас сюда придут... *(Вдали слышится песня.)*

Степан. Будь здорова, милая Елюк! *(Уходит.)*

Явление 12

Елюк одна.

Елюк. Ах, что за человек он, Степан... Жалко мне его... Говорит: «Елюк, Елюк!..» Прилетел он ко мне как большая птица. Его слова проникли в меня крадучись, словно воры. *(Вспомнив.)* Ванюк! Ванюк! Где ты? Слышишь ли ты свою любимую подругу? Нет, ты не слышишь... Душа у меня болит, сердце разрывается... А ты лежишь неподвижно на далекой границе... Кровь идет... Зубы оскалены... *(В испуге кричит, как сумасшедшая.)* Ах-ха-ха-ха-ха!.. *(Убегает.)*

Явление 13

Входит молодежь с песнями. В кругу Ванюк и Анюк.

Молодежь (*поет*):

Крошка перепелка
Любит жить в пшенице,
Любит, любит, любит,
В самом деле любит.

Ай да Ваня-паренек,
Он Анюту любит,
Любит, любит, любит,
В самом деле любит.

Ванюк, выйдя на середину круга, целует Анюк. Потом они выбирают из круга парня и девушку. Выбранные выходят на середину круга. Выбравшие становятся на их место. Затем песня повторяется. В момент, когда песня заканчивается, вбегают отставшие и сообщают о том, что Елюк бросилась в воду.

Отставшие. Ай-яй! Тетя Елюк в воду бросилась!

Играющие. Кто? Кто? Тетя Елюк? Где? В воду бросилась? Пойдемте скорее! (*Выбегают.*)

Явление 14

Ескар бежит к выходу через сцену.

Ескар. Ах, шайтан! Голову с меня снять хотела! Ах, шайтан! В воду еще бросается! (*Уходит.*)

Явление 15

Степан вносит Елюк. За ним входят Ескар, Прчкан, Мусся, за ними — игравшие в хороводе и другие люди.

Степан. Елюк, Елюк...

Люди. Откачать ее! Положить на полог и откачать...

Степан. Не дам! Елюк воды не наглоталась. Я не дал ей ко дну пойти. Вон, видите, она уж может на ноги стать. (*Ставит Елюк на ноги.*)

Елюк. Люди добрые, простите меня! (*В изнеможении падает на руки Степана.*)

Прчкан и Мусся. Ах, Елюк! Чуть не погибла, дочка!

Старик. А, Елюк, когда только ты это задумала?

Елюк. Письмо пришло, что Ванюка убили. Тут свет померк у меня в глазах, я не вытерпела...

Старик. Ай-ай-ай! На войне много народу погибло, только ведь и в живых люди остаются. Я вот о себе скажу: мне бы уж давным-давно умереть надо. А умирать что-то не хочется! Свет-то милым да дорогим кажется. Ах! Состарились уж...

Степан (*тихо*). Елюк, я тебя от всего сердца спрашиваю: пожалеешь ли ты меня?

Елюк (*посмотрев на Степана*). За то, что ты спас мою жизнь, — я твоя...

Степан. Елюк, моя любимая! (*Берет Елюк за руки.*) Люди добрые! Старики, молодежь! Я беру Елюк замуж, приглашаю вас на днях ко мне на свадьбу!..

Люди. А, ладно, ладно! Придем! Придем!

Играющие (*быстро развернувшись, запевают*):

Ай да дядя наш Степан
Тетю Елюк любит.
Любит, любит, любит,
В самом деле любит.

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Дом Ескар. Идет свадьба Степана и Елюк.

В правой стороне сцены стол для горных. Вокруг все украшено липовыми ветвями. Полна изба гостей. Идет положенное угощение. Слева два бочонка: один на лавке, другой на полу.

В избе пляшут, поют горные. Тут же свахи, дружки жениха, поезжане. Елюк и Степан стоят за столом в переднем углу.

Явление 6

Те же. Вбегает Прчкан.

Прчкан (*Муссе*). Мусся! Мусся!

Мусся. Что?

Прчкан. Ванюк с войны вернулся...

Мусся. Врешь...

Прчкан. Не вру. Вон по улице идет с револьвером.

Мусся (*отрезвев*). Э-тэ-тэ-тэ...

Явление 8

Те же. Входит Ванюк.

Все. Ах!..

Все застывают в изумлении. Елюк, шагнув в сторону Ванюка, начинает падать без чувств. Степан поднимает ее и сажает на стул.

Ванюк (*постояв*). Хорошо ли свадьбу справляете?

Мусся. Ванюк, братишка! Ах, братишка Ванюк! Они меня чуть-чуть не связали!

Ванюк. Кто? (*Показывая на Степана и Елюк.*) Эти, что ли? Знаю, знаю... Оба мне знакомы... (*Обращаясь к Ескар.*) И ты замуж выдаешь, крыса?

Ескар. Надо мной не издевайся. Жену знай.

Ванюк. Знаем. (*Смотрит на Елюк, негромко смеется.*) Ха-ха-ха... Хороша, хороша молодушка! Да и молодой-то, видно, не из бедных. Жену одел по-русски... Сколько заплатил за эту жену? Калыма дал ведь, наверно, хоть немного?

Степан. Не твои деньги...

Ванюк (*стиснув зубы*). Не твои деньги? А жена чья? Мы на войне кровь проливаем, а ты здесь женщин насилуешь?

Степан. Я твоей жены не покупал. Она сама за меня с радостью идет.

Ванюк. А!.. Где я? Кто вы? Три месяца я был в Австрии, в плену, но не думал, что так случится. Ах, я и из плена бежал, думая, что дома ждет меня любимая подруга. Когда я увидел свою деревню, я от радости не вытерпел — заплакал. А пришел в деревню — свадьбу играют. Чья же эта свадьба, спрашиваю... Ни слова в ответ, бегут от меня, как от собаки... Эх!.. Пусть пролитая мною кровь падет на твою голову!

Степан. Ты врешь! Ты в плену не был! Ты — беглый! Я сейчас же заставлю схватить тебя! Держите его! Держите!

Люди намереваются схватить Ванюка.

Ванюк (*по-львиному вскинув голову*). Прочь от меня, гниды! (*От Ванюка отбегают.*) Я вот у этой еще кое-что спрошу. (*Обращаясь к Елюк.*) Милая подруга! Узнаешь ли ты меня?

Елюк молчит.

Или ты не хочешь признавать человека в этой изодранной серой шинели?

Елюк молчит.

Что молчишь? И когда я гнил в окопах, и когда голодал в плену, я думал только о тебе. Мне хотелось отрастить большие крылья, чтобы прилететь к тебе. Я из плена бежал ради тебя. Жил в дремучих австрийских лесах вместе с дикими зверями. Обманув часовых, я переплыл широкий Дунай. Я надеялся, что буду достоин услышать от тебя хоть три слова.

Елюк. Эх, Ванюк, несчастный... Я тебя тоже долго ждала. Однако у Бога записано по-другому. Если я к тебе сейчас и вернусь, то все равно счастья мне не найти. Опоздал. По правде говоря, я тебя жалею. Если хочешь меня судить, то суди — твоя воля.

Ванюк. Ты так говоришь... А сейчас ты любя выходишь?

Елюк. Любя...

Ванюк (*схватившись за грудь*). А!..

Степан. Держите этого беглого!

Люди намереваются схватить Ванюка.

Ванюк (*выхватив револьвер*). Ни с места! (*Медленно подняв руку, начинает целиться в Степана*.) Я тебя женить хочу, Степан...

Степан. М-м! (*Подняв локоть, смотрит на Ванюка, как волк, потом дико смеется*.)

Мусся. Ванюк, братишка, не стреляй, пожалуйста!

Старший дружка. Не проливай крови, Ванюк...

Ванюк (*опустив руку*). А, Ванюк!.. У Ванюка сердце не угасло! (*Обращаясь к Елюк*.) Ну?! Сбросишь ли ты этот позорный наряд?

Елюк молчит.

Елюк?! (*Делает шаг в сторону Елюк*.)

Елюк молчит.

Я, Ванюк, твой муж, стоявший с тобой под венцом, говорю тебе: сбрось сейчас же эту мерзость. Или ты ждешь, чтобы я ее сам разорвал и бросил?

Елюк. Перестань, Ванюк! Теперь уж я не твоя жена. Делай, что угодно...

Ванюк. Говорю тебе последний раз... Ответь, моей измученной душе ответь: вернешься ли ты ко мне?

Елюк (*громко*). Не вернусь! Вот... на!.. Это цепь, которая связывала меня с тобой! Мне она больше не нужна! (*Снимает кольцо и бросает.*)

Ванюк. Тогда умри!.. (*Стреляет.*)

Елюк, всплеснув руками, падает.

(*Бросает револьвер. Затем, помешавшись, втягивает в себя, дрожа, воздух*). Кровь! Кровь! Опять кровь!.. Ах-ха-ха-ха-ха! (*Выбегает.*)

Степан. Елюк!.. (*Падает на труп Елюк.*)

Народ застывает в ужасе.

ЗАНАВЕС

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (первая половина)



МИХАИЛ АКИМОВ (1884—1914)

Михаил Федорович Акимов родился в 1884 году в д. Чувашская Таяба ныне Буинского района Республики Татарстан.

В 1899 году, после окончания начальной школы, М.Ф. Акимов поступил учиться в Кошки-Новотимбаевскую двухклассную школу и блестяще окончил ее. В 1901 году поступил в Симбирскую чувашскую школу. В конце 1905 года он в числе других революционно настроенных учащихся был отчислен из школы как «политически неблагонадежный».

Жажда активной общественной деятельности привела Акимова в редакцию первой чувашской газеты «Хыпар». На ее страницах развернулась литературно-публицистическая и писательская деятельность молодого литератора. В своих статьях, очерках, фельетонах, памфлетах он гневно обрушивается на власть имущих и их произвол над защитниками интересов трудящихся. М. Акимов обличает факты открытого обмана и насилия помещиков над крестьянами.

Все творчество М.Ф. Акимова пронизано едкой сатирой на современные ему общественные порядки. Он был зачинателем политического памфлета в чувашской литературе.

С закрытием газеты «Хыпар» М.Ф. Акимов вынужден был поменять журналистский труд на работу в частной адвокатуре. Он переехал из Казани в Симбирск и работал в различных нотариально-судебных учреждениях.

Полуголодная жизнь, которую пришлось испытать с детства, материальная необеспеченность развивают у Акимова болезнь легких — туберкулез. Он умер в 1914 году, едва достигнув 30 лет.

Шутка*

...У крестьянина во время весеннего сева пала лошадь. Денег у него на покупку новой нет. Опечаленный мужик мечется в поисках средств. Но, увы, ни лошади, ни денег. Сев в разгаре. Соседи сеют, а у него поле не вспахано... И надумал крестьянин сходить к соседнему помещику попросить у него займы денег:

— Барин, у меня беда. Пала лошадь. Дай мне, пожалуйста, заем 50 рублей, — просит крестьянин.

Помещик был богат, но скуп. Он отвечает крестьянину:

— Какие деньги? Где я их возьму? Нет у меня для тебя денег.

— Как так нет? Ты же барин, получаешь сотни в месяц.

— Мне их дают за работу.

— За какую же такую работу?..

Помещик, расвирепевший от такой дерзости, обрушился на крестьянина с криком:

— Что за вопрос? Кто ты такой? Я работаю по девять часов ежедневно! А получаю всего-навсего триста рублей в месяц! А ты что делаешь? Всю зиму лежишь на печи!

— Не шуми, барин. Скажу я тебе словечко. Ты себя считаешь барином. Кто же тебя сделал им? Бог?

— Я не говорю, Бог. Я стал барином благодаря своему труду.

— Коли так, то, видно, и землю заработал ты своим трудом? У тебя вон восемьсот десятин. Что ты скажешь мне на это?

— А ты думаешь, я ее у тебя взял? А заработали мы ее действительно своим трудом. Нам ее дали цари за подвиги на войнах.

— Какие же подвиги вы совершили? Ходили с ружьем? Иль против врага шли с мечом в руках? Нет. Никаких подвигов на войнах вы не совершали. Да и сейчас такие бары, как

* Перевод *М. Сироткина*.

вы, ничего не делают на войнах, а почести действительно достаются им. Ваши подвиги — в уменьи воровать. Третесь вы с давних пор около царей да обманом и насилием и землю у крестьян всю себе забрали. Когда же это вы воевали? Чья кровь льется на войнах? Это наша кровь течет!..

— Не кричи! Вон отсюда! Ты, червь земной, невежда, смеешь еще со мной разговаривать?..

— Вот ты меня обзываешь невеждой. Кто же в этом виновен? Вы виноваты. Вы для своих детей открыли разные гимназии и училища... А нам и начальные школы открывать запрещаете. Не ставьте нам в вину, что мы неучи. В этом виновны вы. Отбираете народные деньги да нас же и упрекаете. Да и какое кому пойдет учение на ум, если мы голодны?

— Кто ж заставляет тебя быть голодным? Трудись. Не пьянствуй!

— И не совестно вам рассуждать так?.. Это вы лодыри на весь мир. Да и пьете вы больше нас. Если бы на свои средства... А то ведь за дармовые деньги, на то, что добыто нашим кровавым потом!

Крестьянин был готов рассуждать и далее, но рассерженный барин вытолкал его вшаеи. Да и крестьянин ушел не без обиды. Если он раньше молчал да раздумывал обо всем этом про себя, то теперь стал о том рассказывать народу. И народ слушал его со вниманием. Считался и раньше этот крестьянин умным человеком, а теперь все соседи, завидя его, стали говорить: «Вот идет умный Семен».

С той поры прошло порядком времени... Но... но, спустя недели три после разговора с барином, ночью к дому Семена внезапно подкатила тройка. С повозки сошли трое в мундирах со светлыми пуговицами и вошли к нему в дом.

Пробыли там очень недолго. Вскоре вышли. Сели в повозку и быстро укатили к городу.

С тех пор не стало видно Семена. Дома остались жена и двое детей. Не знают и дети, куда увезли их отца.

Это и вправду сказка. Кто говорит, что это правда, тот определенно врет.

Удивительно!*

Не добывай я камни с гор да не работай мой топор, да не пили моя пила, не ройся в глине, как кошей, не обжигай я кирпичей, так не было бы ни церквей и ни чертогов для царей, и даже тюрем для людей. Посмотришь вокруг — стоят, как столп, дома господ, попов, купцов. Одна лишь хижина моя мала, убога и бедна.

Удивительно!

И лен, и посконь сею сам, мочу, толку и молочу, сам мну, пряду да сам и тку. С овец я шерсть снимаю сам, сам и пряду, и сукна тку. Посмотришь около себя — костюмы бар глаза рябят: попы в добротных рясах бродят, купцы в богатых сукнах ходят. Лишь только я разут, раздет. В изодранной сукман¹ одет, на рукавах локтей уж нет.

Удивительно!

А не вспаши я, не посея, что б делал праздный табор сей? Лежали б, zenки потупив и с голодухи жир спустив. Посмотришь — около тебя сидят и, нехотя жуя, скучают баре да попы, да толстопузые купцы. Один лишь я — больной, страдаю и с голодухи помираю.

Удивительно!

* Перевод М. Сироткина.

¹ Сукман — кафтан.



КОНСТАНТИН ИВАНОВ

(1890—1915)

Великий сын чувашского народа Константин Васильевич Иванов родился 27 мая 1890 года в д. Слакбаш Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Белебеевского района Республики Башкортостан).

Дед поэта в свое время был самым грамотным человеком в деревне. Был грамотен и отец поэта. В семье Ивановых старались дать образование всем детям.

В 1898 году К. Иванов был отдан учиться в сельскую начальную школу. Закончив ее, в 1903 году К. Иванов поступил в Симбирскую чувашскую учительскую школу.

Здесь началось его увлечение литературой и живописью. Знакомство с произведениями классиков русской литературы, интерес к устно-поэтическому творчеству родного народа пробудили в Иванове стремление к самостоятельному творчеству.

Бурные события 1905—1907 годов всколыхнули застойную жизнь Симбирской чувашской учительской школы.

В начале 1907 года, в связи с открытием II Государственной думы, учащиеся проводили политические митинги, выносили протест против шовинистически настроенных преподавателей и объявляли отдельным из них бойкот. Вместе со всем классом К. Иванов был исключен из школы.

В это тяжелое для К. Иванова время активное участие в его судьбе принял инспектор учительской школы, чувашский просветитель И.Я. Яковлев. После того, как улегся шум, поднятый вокруг учащихся-бунтовщиков, осенью 1907 года К. Иванов был приглашен в Симбирск для работы в комиссии по переводу и изданию книг на чувашский язык.

1907—1908 годы были временем наиболее плодотворной творческой работы К. Иванова. Он создал стихотворную сказку «Две

дочери», баллады «Железная мялка» и «Вдова», завершил поэму «Нарспи». Большую помощь и творческую поддержку оказывал ему И.Я. Яковлев, который помогал поэту издать стихотворения.

Литературную деятельность К. Иванов совмещал с усиленной работой по самообразованию. Он настойчиво учился живописи и лепке, готовил себя к сдаче экзамена экстерном на звание народного учителя. Весной 1909 года сдал экзамен при Симбирской первой мужской гимназии.

Но мечты поэта и художника о серьезной творческой работе не сбылись. Он заболел туберкулезом легких. Болезнь усугублялась тяжелыми душевными переживаниями, связанными с начавшейся в 1914 году разрушительной империалистической войной.

Осенью 1914 года К. Иванов вынужден был оставить работу и уехать из Симбирска на родину.

Классик чувашской литературы умер 13 марта 1915 года.

Поэма «Нарспи», рассказывающая о трагической любви парня-бедняка Сетнера и девушки Нарспи из богатой семьи, — наиболее совершенное из всех поэтических творений К. Иванова. В ней с большой реалистической силой и художественным проникновением показана картина жизни старой чувашской деревни, ее быт, традиции и обычаи.

Нарспи*

Поэма

В Сильби

Месяц март уж на исходе,
Греет солнышко. Тепло...
Окружило половодье
Все чувашское село.

Почернели прежде взгорья,
После снег с полей сошел;
В зеленеющем уборе
Заиграл под солнцем дол.

А по снежному покрову,
Что хранит лесная тьма,

* Перевод Б. Иркина.

Вея холодом, сурово
Вдаль идет-бредет зима.

По ложбинам, по овражкам
Слышен шум бегущих вод —
То зима, вздыхая тяжко,
Тая сердцем, слезы льет.

И ручьями слезы эти
В реки бурные текут...
А в селе резвятся дети
На припеке там и тут.

* * *

Лаской землю отогрела
Снова милая весна,
Снова свет смеется белый,
Пробуждаясь ото сна.

Ожил лес, стоит на воле
В пышной зелени ветвей.
Зацветает новью поле,
Красотой гордясь своей.

Многоцветные просторы
Вешним запахом пьянят,
И повсюду птичьи хоры
Песней вольною звенят.

В небе полная веселья
Льется жаворонка трель,
И пастушеской свирелью
Голубой поет апрель.

Марь полуденного часа
Стадо к лесу привела,
И обеда ждет подпасок,
Глядя в сторону села.

* * *

Чуть Сильби окинешь взором:
Двор к двору — и крыш не счесть,

Высотой под стать конторам
В Турикасе¹ избы есть.

Вниз плетни ползут задами,
И до самой до весны
Прошлогодними скирдами
Гумна там окружены.

Избы звонким тесом крыты,
Ровно пригнанным в ряды,
А вдоль улицы — гляди ты —
Густолистые сады.

Высоки, крепки заборы —
Не один стоять им год!
Желтым выкрашены створы
Разузоренных ворот.

Можно городом, пожалуй,
Счесть Сильби со стороны,
И домов-то в нем немало,
Что добром полным-полны.

* * *

За селом журчит, не молкнет
Мелководная река,
Солнце в ней дробит осколки
Сквозь листочки лозняка.

Высь колебля голубую,
Вдаль течет она, светла,
И, сама собой любуясь,
В воду смотрится ветла.

Под кустом, у сини зыбкой,
Примостился дед тишком,
Обмануть стараясь рыбку
Аппетитным червяком.

Только вот досада — дети
Рядом плещутся в воде,

¹ Ту р и к а с — верхняя улица или возвышенная часть села.

Впрямь от них на этом свете
Не укроешься нигде...

Там вон кто-то недалечко
На мосту стоит, потом
Перебрался через речку
И пропал в лесу густом.

* * *

Жизнь в Сильби идет простая,
Но весной привольно в нем:
Неприметно, легкой стаей,
Пролетает день за днем;

Смех и говор, птичий гомон
Вперебой звенят вокруг;
Песня вешняя знакомо
Льется вширь, лаская слух.

Вдоль по улице селяне
Ходят чинно взад-вперед,
И резвится на поляне
Шумный детский хоровод.

Раскрасавицы форсисто,
Словно лебеди, плывут,
Их звенящие мониста
И сияют, и зовут.

К небу пыль взметая тучей,
Пляшут парни у ворот.
«Эх, и жизнь — не надо лучше!» —
Говорит в Сильби народ.

* * *

Нет сильнее человека
В целом мире никого:
Он хозяин здесь от века,
Суша, воды — все его.

Но поди ж ты, как иного
Подсекает жизнь сама!

Вволю денег да хмельного,
Глядь — и выжил из ума.

Да кому ж и не пристало
Погулять в большой калым¹?
В погребах мы разве мало
Пива к празднику храним?

Все, понятно, пили, ели,
Песни пели... Гром да пляс...
Что ж, на праздничной неделе
Для потехи самый час.

И когда приходит вечер,
Пьяных тут — хоть пруд пруди.
Но, однако, пир не вечен,
День угарный позади.

* * *

Пить да пить — и бык устанет.
Пьян чуваш. Домой бы, друг!
Но, как пух, разлечься манит
Грязь весенняя вокруг.

И лежит чуваш, как барин,
Где он, что он — дела нет,
И поет, хмелен, распарен,
Он на целый белый свет:

«Коль работать — так до поту,
До отвала — есть и пить.
Кто же, любящий работу,
Может водки не любить?»

Час придет — работать будем,
Станем пить, коль час велит.
Нет вина — заглянем к людям, —
Дружба душу веселит.

¹ Большой калым — весенний праздник.

Нет и там вина? Ну что же,
И уйран¹ тогда неплох.
Если ж нет уйрана тоже —
Будем ждать: поможет бог!»

* * *

Вот калым к концу подходит,
Но работа на уме ль,
Если синь-туманом бродит
В голове тяжелый хмель?

Встань-ка на ноги, чувашин,
Начинается страда!
Зеленеют горки, с пашен
Сходит полая вода.

Поднимайтесь живо, братцы,
Нам гулять не целый век:
За починку время браться
Сох и борон, и телег!

Да студеною водою
Смойте праздничную лень,
Да здоровою едою
Встретьте сева трудный день.

Пашня ждет: порой погожей
Запрягай да выезжай!..
И здоровья дай вам боже,
И богатый урожай!

Красная девица

То не в поле красным летом
Цветик аленький растет,
То в Сильби весенним цветом
Юность девичья цветет.

Кто Нарспи не подивится?
Угодит на всякий вкус:

¹ Уйран — напиток из кислого молока.

Блещут очи сквозь ресницы,
Словно зерна черных бус.

Надо лбом высоким, чистым
Шелк кудрей, к звену звено,
И звенят на ней монисты
С легким шагом заодно.

Чуть Нарспи на парня взглянет —
Сразу сердцем тает он,
От ее улыбки станет
Сам не свой, как бы хмелен.

Кто душой не умилитя
Над цветком родной глуши?
Кто красавицу девицу
Не полюбит от души?

* * *

Солнце за гору скатилось,
Дремлют ветлы в полутьме,
А Нарспи уже умылась,
Надевает шэлгеме¹.

Назади платочек вяжет
Шелка алого и вот
Плавной поступью лебяжьей
С песней входит в хоровод.

Как у пташки, чисто льется
Серебристый голосок,
Будто утром у колодца
Льется струйка на песок.

Смех Нарспи — для хоровода
Радость общая всегда,
И улыбкой с небосвода
Отвечает ей звезда.

Дома спать она ложится.
Светит месяц со двора.

¹ Шэлгеме — женское нагрудное украшение из серебряных монет.

Сладко спится ей, и снится
Сон хороший до утра.

* * *

Утром встанет тихомолком,
Бьет к ней солнышко в окно,
А она цветистым шелком
Расшивает полотно.

Точно бисер, по обновке
Шов ложится. Над холстом
Быстро скачет в пальцах ловких
Пес стальной с льняным хвостом¹.

Сядет ткань — челнок играет!
Все ей в доме по плечу.
Не заметишь, как вдевает
Сразу нитку в хулдырчу².

Если ж кот гостей пророчит,
Принимаясь рыльце мыть,
Глядь — Нарспи уже хлопочет,
Чтоб сытней их угостить.

Жизнь Нарспи легко и ясно
Шла обычным чередом,
Да нагнало день ненастный:
Вдруг сваты явились в дом.

* * *

Кто богаче Михедера?
Первый он во всем селе.
Тут любому слову вера,
Будь он хоть навеселе:

«Дочка мне дана на счастье.
У кого удел таков?
Мало ей колец, запястье?
Иль она без башмаков?

¹ Характерный в чувашской поэзии образ иголки с ниткой.

² Хулдырча — станок для наматывания ниток на цевки для челнока при тканье холста.

На сто верст такой пригожей
Девки нет. Иной — не прочь,
Да не всяк чувашин сможет
Вырастить такую дочь.

Коли нрав мой кто заденет —
Все я выложу спроста:
В сундуке ль не хватает денег
И беленого холста?

Иль не доверху набиты
Закрома мои зерном?
Иль в доме моем не сыты
Мясом, маслом и вином?»

* * *

Похвальба, а все ж и дело!
Как перечить богачу?
Ну, кому в деревне целой
С ним тягаться по плечу?

Дом просторней всех и выше;
Больше изб соседских клеть.
Двор — что город, и на крыши
Тут уж курам не взлететь.

В кладовых и так, под небом,
Сплошь добро — хоть подбирай,
И стоят амбары с хлебом,
Сыпля зерна через край.

Кони тут как аргамаки,
Статны все, как на подбор,
Кур, гусей, скотины всякой,
Гладкой, сытой, полон двор.

Дом стоит на лучшем месте,
Надо всем селом царя.
Нет, старик, сказать по чести,
Похваляется не зря.

* * *

Поглядишь — и в самом деле
Всем соседям он пример:
После масленой недели
Дочь просватал Михедер.

Вот так славное известье!
Говорит недаром мир:
Коли зять не хуже тестя —
Значит, будет славный пир.

Скоро ль срок настанет свадьбы?
Далеко ль еще симек¹?
Право, лучше и не ждать бы, —
Каждый день тут — будто век.

А в просторном доме тестя
Шьют приданое Нарспи.
Чтобы свадьбе быть честь честью —
Лезь из кожи, а не спи!

Лишь грустит невеста что-то,
Словно ждет она грозу...
Все вздыхает за работой
И — нет-нет — смахнет слезу.

* * *

На краю села лачужка.
В ней уже который год
Вместе с матерью-старушкой
Молодой Сетнер живет.

Что судьба дала Сетнеру? —
Быстроногого коня,
Сердце, полное не в меру
Благородного огня.

Две руки дала могучих,
Чтоб работать за троих,
Напоила злостью жгучей,
Чтоб сгубил врагов своих.

¹ Симек — весенний праздник.

Вот и все... Да разве с этим
Счастье сыщешь на веку?
И какой богач на свете
Дочь бы отдал бедняку?

А Нарспи как раз его-то
Полюбила... в первый раз...
Оттого и за работой
Слезы катятся из глаз.

* * *

У высокого колодца
Дремлет старая ветла.
К ней Сетнер — чуть день займется —
Приезжает из села.

И коня поит, и робко
Смолит парень молодой:
Мол, Нарспи заветной тропкой
Не сойдет ли за водой?

Вон она! Скользит под горку,
А сама-то краше дня!
И ведро об ведро
Бьется, весело звеня.

Чуть завидит — улыбнется,
А Сетнер тому и рад,
И сияет у колодца
Ей навстречу жаркий взгляд.

Все глядит — не наглядится
В очи девицы-красы,
С губ слова слетают птицей
Сквозь пшеничные усы.

Вечер перед симеком

У высокого колодца,
Пробегаю без следа,
Серебром звенящим льется
Родниковая вода.

Девушка берет здесь воду,
Стан свой гибкий наклоня,
Русый парень подле брода
В роднике поит коня.

Средь ветвей ветлы высокой
Пташка песнь свою поет,
Парень в горести глубокой
Речь печальную ведет:

«Что ж, Нарспи, не жить мне с милой,
Хоть люби, хоть не люби?
Увезет тебя постылый
Из родимого Сильби?»

Знать, в нужде моей проклятой
Будет жизнь всегда горька...
Эх, всегда, всегда богатый
Презирает бедняка!»

* * *

«Не ропщи, Сетнер! Как птица,
Сердце бьется от тоски.
Не уйти мне, не укрыться
У отца из-под руки.

Сам ведь он мне выбрал мужа,
Где ж его мне убедить,
Что, мол, ты других не хуже,
Хоть и беден. Как нам быть?»

Кто с родителями сладит?
Кто помочь нам смог бы тут?
Нынче — только солнце сядет —
Свадьбу праздновать начнут.

Ой, Сетнер, от лютой доли
Ты меня убереги!
Ой, не дай мне жить в неволе
С богачом из Хужалги!

Я тебя, Сетнер, любила,
Я одним тобой жила...
Ой, боюсь, чтоб до могилы
Та любовь не довела!»

* * *

«Голова ты удаляя,
Сердца яростный огонь,
Мать-старушка дорогая,
Аргамак, мой добрый конь!

Только ты, моя зазноба,
Пуше всех мне дорога.
Душу мне сжигает злоба
На похитчика-врага.

Силу сжить его со света
Мне б любовь моя дала.
Да кому поможет это? —
Слишком много в мире зла!

Не бежать ли нам, касатка?
Только слово молви мне —
И на край земли украдкой
Мы ускачем на коне».

«Погоди! Ступай, мой милый!
Кто-то вон идет сюда...
И решиться нету силы,
И расстаться навсегда...»

* * *

«Что ж, прощай, Нарспи, задаром,
Видно, гибнуть, плачь не плачь!»
Конь рванулся под ударом
И помчался к дому вскачь.

Подневольная невеста
Долго смотрит другу вслед,

Все стоит, не сходит с места,
Хоть его давно уж нет.

Ты прощай, чужой отныне!
Только как забыть тебя!
Как мне, бедной, на чужбине
Жить с немилым, не любя?..

«Что ж ты, девушка, грустна-то? —
Голос рядом вкрадчив, тих. —
Иль приданым не богата?
Иль не по сердцу жених?»

Как унять ей бабьи речи? —
Ветер сдержишь ли в степи?..
И домой, судьбе навстречу,
Промолчав, пошла Нарспи.

* * *

В доме мать печет оладьи,
Как всегда, на брань щедра.
Михедер кибитку ладит
К свадьбе с самого утра.

Стариковская работа —
Долго тюкает топор,
Уж ручьи седьмого пота
Рукавом старик обтер:

«Поглядишь — и сам не веришь:
Трудно дочь растить-беречь.
Ну а вырастил — теперь уж
Замуж — и обуза с плеч.

Срок пришел, и, значит, нужен
Муж, чтоб не был нас бедней,
А нашли — так дочке с мужем
Дай кибитку повидней.

Вот и праздник, слава богу!
Свадьбу справить в самый раз.

Только ночь сойдет с порогу —
И за свадьбу, в добрый час!»

* * *

Хмель не зря щекочет глотки
Уж давно у всей родни:
Бочки пива, ведра водки
Тесть поставит в эти дни.

Жарят, парят, месят тесто,
Дом — вверх дном от суеты,
Жирный чад родным невесты
Будто маслом мажет рты.

Пузырист пузырь¹ для свадьбы
Чинит, сидя у дверей,
Парни рвутся: эх, сплясать бы,
Эх, начать бы поскорей!

Справят свадебку с размахом!
И кому на ум придет,
Что одна душа со страхом
Свадьбы той, как казни, ждет.

И стоит Нарспи уныло,
Как чужая, у печи,
Все на свете ей немило.
Рвется сердце — хоть кричи.

* * *

«Как не клясть мне злую долю,
Как мне слез не лить о том,
Что купить меня в неволю
Сват пришел в родимый дом?»

Ох, отец, побойся Бога,
Пожалей ты кровь свою!
Мать! Позволь еще немного
Мне пожить в родном краю!»

¹ П у з ы р ь — народный музыкальный инструмент. Обычно на нем играют на свадьбах.

— Только — нет. Отвадить свата
Не хотят отец и мать:
За богатством жениха-то
Горя дочки не видать.

Словно сбитый войлок, жестко
Злое сердце старика,
У Нарспи душа из воска —
И бессильна, и мягка.

Ей свободной пташкой стать бы,
Чтоб смеяться, плакать, петь,
Чтоб от страшной этой свадьбы
Вдаль на крыльях улететь...

* * *

Вот уже за лес дремучий
Солнце красное зашло.
Стадо сходит с горки, тучей
Надвигаясь на село.

Девушки коров встречают,
Загоняют их во двор,
Хваты-парни не зевают —
Затевают разговор.

Вон за пестрою коровой
В поле гонится пастух;
Поросячий визг бедовый
За версту терзает слух.

Вслед за стадом пыль густая
Над дорогой поплыла,
Сонный пес, от скуки лая,
Вылез вдруг из-за угла.

Чуть бредет в пыли старуха
С пивом через все село.
Пить легко, копь в горле сухо,
Да нести-то тяжело.

* * *

Михедер нетерпеливо
Ждет гостей — давно пора!
А жена разносит пиво
От двора и до двора.

Пиво пенится и бродит,
Кружит голову... Добро!
Всю родню она обходит,
Открывает всем ведро:

«Будьте милостивы к нам уж.
Мы о чести просим вас, —
Выдаем мы дочку замуж,
Не придете ль в Турикас?»

«Не почтить вас? Как же? Что вы?
Оскорбить такой-то дом!..
Будем мы, даст Бог, здоровы —
Обязательно придем!»

Завершен обход подворный.
Над селом спустилась ночь.
В доме старая проворно
Обряжает к свадьбе дочь.

* * *

«Что ж, пойдем всем славным родом
К Михедеру в Турикас!
Яства там и пиво с медом
Не дождутся, верно, нас.

Коль свояк просватал дочку
И на свадьбу нас зовет —
Дело будет! Эту ночьку
Не забудешь целый год!

Прежде мертвых предков купно
И отдельно помянув,
Хлеб посыплем солью крупной,
Как водилось в старину:

Не пуста была б могила,
Хлеб да соль стояли б там,
Чтоб посмертно, предки, было
И на небе сытно вам.

Ну а вы невесте нашей
Посулите долгих дней,
Да чтоб дом был полной чашей,
Да чтоб радость зналась с ней».

* * *

Помянули предков честью,
По заветам старины,
И отправились к невесте,
Для начала — чуть хмельны.

Полный ковш, кипящий пивом,
Принесли отец и мать
И в тщеславии счастливым
Стали дочь благословлять:

«Пусть господь тебе поможет
Мужу честной быть женой,
Пусть весь век твой будет прожит
С ним под кровлею одной.

Будь ты с ним кротка, покорна,
Дом блюда, детей носи.
Знай работай, от зазорной
Лени — Бог нас упаси!..»

А Нарспи тихонько плачет...
Ох, бежать бы!.. Но куда?
Да и поздно: пир уж начат,
Прочно в дом вошла беда...

* * *

Все село в ночи безгласной
Сном мертвецким мирно спит.
Месяц радуется ясный:
Кто, мол, спит, тот не грешит.

Молодежь уснула сладко,
Целый мир во власти сна...
Спят хозяева с устатка,
Крепко гости спят спьяна.

Ночь становится свежее.
Нарушая тишину,
Только пес, натужив шею,
Вдруг залает на луну.

Спит спокойно под навесом,
Возвестив рассвет, петух.
Месяц медленно над лесом
Прокатился и потух.

Спят селяне, отдыхая, —
Вся ведь свадьба впереди...
У Нарспи лишь ночь глухая
Распалила боль в груди.

Свадьба

Рассвело — и над деревней
Синий дым с утра плывет:
Как велит обычай древний,
В бане парится народ.

Будь с хмельною головою,
А уж так пошло в симек,
Чтобы грязь симек-травую
Всю отпарил человек.

Если, веря людям старым,
Тело моешь не спеша,
Благодатным банным жаром
Очищается душа.

И помытые селяне
В новом платье шли туда,
Где сегодня с самой рани
Пиво льется, как вода.

Пейте! Ешьте! Где тут мера?
Развеселые дела!
Свадьба в доме Михедера —
Перепьется полсела.

* * *

Дом высокий, пятистенный
Виден издали. Народ
То проходит в дверь степенно,
То толпится у ворот.

Тут и гости — кто богаче,
И зеваки-бедняки,
Тут ребята шумно скачут,
Ковыляют старики.

Тут веселье свадьбой правит.
Эй, раздайтесь, люди, вширь, —
Хоть кого плясать заставит
Разухабистый пузырь!

Потны радостные лица,
Смех да шутки там и тут.
Пузырист угомонится —
Сразу песню заведут:

«Что ж примолкли? Аль мы с вами,
Желторотые птенцы?
Грянем песню соловьями,
Чтоб неслась во все концы!»

* * *

Но окончен роздых краткий,
Вновь пузырь сзывает в круг,
Пол трясется от присядки,
Оглушают треск и стук.

За столом, в углу почетном,
Гости важные сидят,
Пива, водки пьют бессчетно
И с достоинством едят.

«Пожелаем мы невесте
С женихом счастливых дней,
Барышей, семейной чести
И здоровья, и детей...

Вы же, гости, не чинитесь —
Все мы здесь среди родных, —
Ешьте, пейте, веселитесь
За здоровье молодых!»

Тут хозяин на придачу
Стал приплясывать слегка, —
Видно, с дочкиной удачи
Дух выиграл у старика.

* * *

С плясунами нету сладу, —
Так ногами об пол бьют.
Пляшут парни до упаду,
Звонко девушки поют.

* * *

А за красной занавеской
Под веселый тот мотив
Пригорюнилась невеста,
Покрывало опустил.

Плачет, бедная, в сторонке, —
Ой, молчи — отец горяч!
Да подружки пеньем звонким
Заглушают тихий плач.

Ей звучит иная песня,
Вздых — не вздох и стон — не стон...
То не свадьбы добрый вестник,
То предвестник похорон:

«Не весенней речки воды
Размывают крутояр, —
Тохтаман седобородый
Гасит сердца юный жар.

* * *

С ним уйдешь, а без тебя-то
Как Сетнеру тут страдать!
Старый муж, хоть и богатый,
Разве может счастье дать?»

Вверх пошло веселье круто —
Шум да топот, стекло дрожь...
Надо ехать, ведь родню-то
Всю пешком не обойдешь.

Тут кибитка нам послужит,
Едет в ней Нарспи к родне.
Песня девушек-подружек
Таает где-то в ясном дне...

День уж меркнет светозарный,
Гаснет поздняя заря,
Пир же пиром: пляшут парни,
Льются звуки пузыря.

Свадьба ездит, вслед за свадьбой
Ребятишек слышен крик.
Спит на травке за усадьбой
Хмелем сваленный старик.

Он прошелся б в хороводе,
Кабы сбросить двадцать лет:
И во сне вон ноги ходят,
Да подняться мочи нет.

У знахаря

Точно впрямь на курьих ножках
Та избушка. Смотрит дед:
Сквозь оконце хоть немножко
Проглянул бы ясный свет!

Весь в морщинах, с темным ликом,
Медленно, как неживой,
Лапти дед латает лыком,
Чуть качая головой.

В приотворенную дверку
Юркий луч шмыгнул к столу,
Облизал сухую корку,
Лег дорожкой на полу.

От такого озорного
Не укроешься нигде:
Чуть погас — и тут же снова
Вспыхнул в белой бороде.

Долетает сквозь оконце
Свадьбы шум издалека,
Пляшет, путается солнце
В волосах у старика.

* * *

Бормоча и хмурясь строго,
Старый знахарь не слышал,
Что за дверью, у порога,
Кто-то, чуть дыша, стоял.

Не впервой сюда старуха
На своем пришла веку, —
Видно, горе да проруха
Приводили к старику.

Про свою заботу вдовью
Нелегко поведать вслух,
Коль родной сыновней кровью
Завладел нечистый дух.

Он грызет Сетнера, мучит...
И в надежде мать пришла:
Без огласки дед научит,
Как избавиться от зла.

И сидит она у деда,
Сердце ноет у нее,
И идет у них беседа
Про ее житье-бытье.

* * *

За рубаху и за пару
Шерстяных чулок с трудом
Согласился вызнать старый
Все о парне молодом.

Укорив старуху словом:
«Труд в убыток, верь — не верь»,
Кочергою, как засовом,
Заложил со вздохом дверь;

В шубу теплую одетый,
Шапку он под мышку взял,
Положил на стол монету,
На чесалку молча встал;

Бородой, как шерсть, косматой
Тяжело склоняясь к земле,
Поглядел подслеповато
На монету на столе

И, уставясь на старуху,
Распрямившись кое-как,
С расстановкой, тихо, глухо
Начал он примерно так:

* * *

«Не срстется лоб дырявый,
Рану в сердце не закрыть.
Что судил ты, Боже правый,
Значит, так тому и быть.

Горячей кровью, сердцем кротким
Бог Сетнера наделил.
День тяжелый, век короткий
Он ему определил.

Дни студеные настанут —
Кровь застынет у него.
Ну а в сердце люди глянут —
Сердце кроткое черство.

Дни горячие вернутся —
Кровь забродит, что вино,
Чувства в сердце встрепенутся,
И в огне сгорит оно».

Смолк старик. Потом пригладил
Хмурую бороду свою
И с раздумьем в мутном взгляде
Скинул шубу на скамью.

* * *

Помолчал и начал снова,
А старуха — дум полна,
И, качаясь как с хмельного,
Плача, слушает она:

«Кто ж повинен в том, старуха?
То не Йерех¹ сеет мор,
То не козни злого духа,
То не сглаз, не наговор.

Перст господень предназначил
Сгинуть парню ни за грош.
Плачь не плачь, нельзя иначе:
Против Бога не пойдешь!»

* * *

Кончил дед и сам смутился:
Вдруг — как правду предсказал?
Закряхтел, засуетился,
Сел и снова лапоть взял.

Мать пошла в тоске великой,
Горе в сердце унося,
А старик, расправив лыко,
За работу принялся.

Он кряхтит, сопит, бормочет,
Головой склоняясь на грудь,

¹ Йерех — злой дух.

Он дознаться правды хочет:
«Что за притча? В чем тут суть?»

Было как? Платили люди —
Ну, я им и ворожил.
Ох, язык немало в блюде
Киреметю послужил!..

А сегодня дивно что-то!
Век такого не видал:
И соврать была охота,
А, пожалуй, угадал!»

Побег

Солнце низкое садится,
Млеет сонное село.
По домам уж расходиться,
Видно, время подошло.

Бледный месяц стороною
Тихо по небу плывет.
Парни, девушки толпою
С песней вышли в хоровод.

И Нарспи пришла туда же,
Грусть-тоска ее грызет:
Завтра муж ей руки свяжет,
От Сетнера увезет.

А сегодня... Славный парень,
Вон стоит он и грустит,
Он за взгляд ей благодарен,
Что слезинками блестит.

Пошептавшись под ветлою,
Прочь пошли они вдвоем,
И замыл следы их мглою
Ночи черный водоем.

* * *

Россыпь звезд укрыли тучи,
Надвигаясь с высоты

На поля, на лес дремучий,
На застывшие кусты.

Хлынул ливень; лес огромный
Содрогнулся, как живой;
Сквозь листву, в раскатах грома,
Рвется ветра волчий вой.

Молний блеск все чаще, чаще,
Небо рушится в огне.
По лесной гудящей чаше
Кто-то скачет на коне.

Уж храпя несется лошадь,
В мыле мокрая спина, —
Нелегка двойная ноша
Для лихого скакуна.

Но и там, где кроны — к кронам,
Где б хоть пешему пройти, —
Пропускал их дуб с поклоном:
Мол, счастливого пути!

* * *

На востоке просветлело,
Солнце выглянет вот-вот.
И на свадьбу, как на дело,
Снова сходится народ.

Уж за стол садиться скоро,
Где ж Нарспи, отец и мать?
Молодым сейчас бы в пору
И попеть, и поплясать.

Но молчит пузырь покуда!
И с молчаньем заодно —
На столе пустые блюда,
И в ковшах сухое дно.

В доме полная разруха,
А в сенях и плач, и крик,
То бранится со старухой
Обезумевший старик:

— Вот учи детей примером —
И такой позор терпи! —
Убежала в ночь с Сетнером
Непокорная Нарспи...

* * *

Тут и там стучат копыта
В чаще леса с трех концов,
Три усталых следопыта
Рыщут, ищут беглецов.

Стал один, и наземь слез он,
Смотрит, лазит — нет как нет!
Может, солнце, встав над лесом,
Наведет на верный след?

Шорох ловят, смотрят в оба:
«Где ж их сыщешь за листвою?»
И берет такая злоба, —
Хоть об камень головой!

Глухомань-то здесь! Ей-богу,
Пробирает сердце жуть.
Где б тут выйти на дорогу?
Вправо ль, влево ль повернуть?

И опять стучат копыта
Тут и там, со всех концов,
Три усталых следопыта
Рыщут, ищут беглецов.

* * *

Крепко спит Сетнер у дуба,
Чуть шумит ветвями дуб,
И тепло Нарспи, и любо
Рядом с тем, кто сердцу люб.

Спит она... Но что ж ей снится?
Ох, не в руку ль этот сон? —
Вон отец сквозь чащу мчится,
Обернувшись черным псом.

«Где сбежавшая со свадьбы? —
Рвет ей сердце хриплый вой. —
Только мне ее поймать бы,
А уж ей не быть живой!»

Вот к Нарспи он подбегает...
Та проснулась, смотрит: к ней
Скачут всадники, стегая
Плетью взмыленных коней.

«Ой, Сетнер, Сетнер! Поймали!
Встань! Проснись! Бежим! Беда!
Ой, пропали мы, пропали,
Все проспали навсегда!»

* * *

Нынче ловлей, не игрою
Добыл славу пузырярист:
Вот Сетнера держат трое,
Вот Нарспи дрожит, как лист.

Чуть привел он их — старуха
Дочку за косы. Отец —
Кулаком Сетнера в ухо,
Благо, связан молодец.

«Мать, сдержи-ка лучше руки,
Не тревожь огня в груди,
От меня с такой науки
Ты хорошего не жди!»

«Эх, хозяин, Бог с тобою —
Не позорь свой славный кров!
Сколько б не было побоев —
Из золы не будет дров!»

Михедер рванулся к клетки —
Пес цепной, ни дать ни взять, —
Плеть схватил и толстой плетью
Стал Сетнера избивать.

Снова полон двор народом.
Шепот, толки на селе...
Кто лежит за огородом
Распростертый на земле?

Чья там мать стоит, рыдая,
И кому проклятья шлет?..
Твой Сетнер, твой сын, седая,
Весь избитый, чуть живет.

А Нарспи в сенях умыли:
Не иди ж к гостям в пыли?
Покрывалом вновь накрыли
И за занавес свели...

Пейте, ешьте с жару, с пылу!
Здесь гостям всегда почет.
Только, чур, о том, что было,
Зятю новому молчок!

Честь и место сытым, пьяным!
Кто голодный? Трезвый кто?
Свадьба, может, и с изьяном,
Да богатая зато!

Две свадьбы

Солнце рдеет на заходе.
Жар не так уже томит,
И, как будто к непогоде,
За деревней лес шумит.

У околицы ребята
Жениховский поезд ждут.
Чуть успели кликнуть свата, —
Глядь — жених уж тут как тут.

Там, где легкою завесой
Пыль нависла, как туман,
Лихо выскакал из леса
Зять — богатый Тохтаман.

Вот уж он подъехал ближе:
Хоть не молод, да здоров,
Бородатый, пухлый, рыжий,
Нос приплюснут, взгляд суров.

Шапка желтая с монетой!
А онучи! А кафтан!
Впрямь по-барски разодетый
Едет к тестю Тохтаман.

* * *

Вдоль села мужская свадьба¹
Шумно, с песнями идет.
Вон и сватова усадьба.
Сват выходит из ворот.

В свой черед от Турикаса
Свадьба девичья² гудит,
И Нарспи — нет горше часа —
Вся в слезах вперед глядит.

Боль огнем палит ей сердце, —
Как бы не было греха!
Хуже пытки, горше смерти
Видеть старость жениха!

«Ой, зачем на стыд, на муки
Дочь свою, отец и мать,
Старику чужому в руки
Вы надумали отдать?»

Ой, тебе, жених постылый,
Не придусь я ко двору,
Мне — что замуж, что в могилу...
Взял меня ты не к добру!»

* * *

«Что ж пивка? Гниет ведро!» —
Хитрый сват гостей корит,

¹ Свадебная церемония, которую выполняет жениховская сторона.

² Свадебная церемония, совершаемая родственниками невесты.

А в ответ скороговорку
Посажёный говорит.

Мысли кружит поезжанам
Крепким хмелем дух пивной.
Не с того ль под Тохтаманом
Конь играет вороной?

Всемером гарцуют лихо
Дружки возле жениха,
Гомон, шум, неразбериха,
Груди дышат, как меха...

День погас, а все не тише,
К свату все валит народ,
Плети конных бьют по крыше
Новых крашенных ворот.

Сват — хозяин тороватый:
Кушай — пей! Пляши — играй!
Нагулялись так у свата,
Что уж точно — через край!

* * *

День и два, как в пекле, жили
Хужалгинские сваты,
Но назавтра порешили
Дома быть до темноты.

Говорят: довольно, баста!
Надо, дескать, знать и честь.
Говорят: друзья, у нас-то
Тоже в бочках пиво есть!

«Нет, побудьте в Турикасе,
Об одном не спорьте дне!
Чем тащиться восвояси,
Не зайти ли здесь к родне?»

«А и впрямь домой успеем,
Не один в окошке свет!»

Так их здесь «святым елеем»
Умастили — мочи нет!

Зять уже не вяжет лыка —
Время, время уезжать!
Все, от мала до велика,
Вышли свадьбу провожать.

* * *

На дороге у погоста
Поезд тесть остановил,
Человек, наверно, со сто
Сбилось в кучу средь могил.

По старинному обряду
Помянули мертвых тут,
И выходят за ограду,
И отъезда свадьбы ждут.

Вон Сетнер, худой и бледный,
Мать-старушка рядом с ним...
Милой взгляд он ищет, бедный,
Взглядом горьким и больным.

Дочь свою благословили
Мать с отцом, всплакнув с тоски,
И за ними рты скривили,
Прослезившись, старики.

Чтобы сплетням о бесчестье
Торжества не омрачать,
Было велено невесте
Строго-настрога молчать.

* * *

Ты не рвись, душа живая, —
Кони трогаются в путь...
Как, от сердца отрывая
Все, что мило, не вздохнуть?

И когда, свернув с дороги,
Поезд свадебный исчез,

Долго-долго, как в тревоге,
Громыхал дремучий лес.

Все домой пошли, а сзади
И Сетнер к себе побрел,
Затаив печаль во взгляде,
Словно раненый орел.

«Эх, судьба, колдунья злая!
Смерть не в тягость — жизнь тяжка...
На кого, моя родная,
Ты покинула дружка?»

Проживу ли я без милой
С бесталанной головой?
Побратаюсь ли с могилой,
Жизнь развеяв трын-травой?»

* * *

Беглецов и ночь не скрыла,
Выдал темный лес врагу,
И забрал Нарспи немилый
От Сетнера в Хужалгу.

Вот и врозь родные души,
Разминулись их пути.
Сердце девичье иссушит
Та разлука взаперти.

Жить и парню незавидно:
Горе горькое одно...
Времена такие, видно,
Так уж Богом суждено!..

О судьбе их толковало
Все село и вкривь и вкось,
Но дознаться — в чем начало?
Где конец? — не довелось.

Пусть тут глаза нет дурного,
Так иль сяк — один конец.
Загубил родной родного,
Дочкин век заел отец.

В Хужалге

Торжества такого сроду
Не запомнят в том краю:
Тохтаман седобородый
Свадьбу празднует свою.

В Хужалгу жених почтенный
Из Сильби невесту ждет,
Жир шипит, рекою пенной
Пиво льется, льется мед.

Свадьбу пышную играя,
Пляшут парни; закипев,
Бьет ключом, звенит без края
Буйный свадебный напев.

Нагулялся у невесты
С хужалгинскими жених,
А сегодня — честь и место
Свадьбе девичьей у них.

Как приедут, на ночь нужно
Молодых в амбар свести,
Чтобы там женою мужней
Стать невесте взаперти.

* * *

Меж зелеными холмами
Хужалга внизу лежит.
Меж веселыми гостями
За столом жених сидит...

Гнется стол под снедью всякой,
Гости — будто под хмельком,
В головах у них, однако,
Все кружится кувырком.

Солнышко, поднявшись рано,
Всходит кверху; даль ясна...
Голова ж у Тохтамана
Книзу клонится спяна.

Перепелки голос слышен
За околицей в степи;
На крыльцо, шатаясь, вышел
Тохтаман встречать Нарспи.

Врозь одежды белой полы
Разлетаются на нем,
Ожиданья жар тяжелый
Разливается огнем.

* * *

Скачут кони, рассыпая
Звон веселый на бегу,
Свадьба девичья большая
С шумом едет в Хужалгу.

В тарантасе на рессорах
Едут женщины в хушпу¹,
Вслед — телег примерно сорок
По краям теснят толпу.

Гости, впрочем, неспесивы:
Поезд стал в семи местах,
И везде выносят пиво
Им с улыбкой на устах.

Зять встречает на пороге.
Гости входят не спеша
И едят, и пьют с дороги,
Сколько требует душа.

«До заката время наше,
Воздадим же зятю честь —
Мы и выпьем, и попляшем,
И закусим, благо есть!»

* * *

Пляшут гости, бродит пьяный,
Шумный свадебный угар...

¹ Хушпу — старинный парадный головной убор у замужних женщин, украшенный серебряными монетами.

Но уж время Тохтамана
И Нарспи вести в амбар.

Молодых вдвоем замкнули
И, оставив под замком,
Чуть друг дружке подмигнули,
И назад вернулись в дом.

У амбара ж ходит кто-то,
Темный, мрачный... Знать, беда
Иль душевная забота
Привела его сюда...

Тут и дети всей оравой
Словно что-то стерегут.
Вот бессовестные, право!
Что им только нужно тут?

* * *

Тихо все... Но ловит ухо
Что-то вдруг в тиши ночной:
Разговор какой-то глухо
Раздается за стеной.

Вот невесты голос слышен,
В нем и слез и гнева дрожь.
Говорит невеста! Тише! —
Только — что — не разберешь.

«Мне тебя скрутить нетрудно! —
Тохтаманов слышен крик. —
Так не будь же безрассудной! —
Муж беснуется старик. —

Пусть твоя уедет свадьба —
Отплачу тебе стократ.
Твой удел тебе узнать бы, —
На другой запела б лад!»

И затихло все: ни слова...
Те, что слушают в ночи,
Отойдут, подходят снова, —
Ничего, амбар молчит.

Может, спят? И что есть мочи
Припустилась детвора
Раззвонить о первой ночи
От двора и до двора.

Ну а тот, кто все подслушал,
Кто дышал едва-едва,
Глубоко запрятал в душу
Беспощадные слова.

В гневе он, таясь во мраке,
Зашагал в дремучий лес
И на верном аргамаке
Незамеченным исчез.

Только дуб прервал беседу —
Чуть копыт раздался стук —
И, вздохнув, шепнул соседу:
«Вон Сетнер, наш бедный друг!..»

* * *

Над столом от жирной каши
Пар клубится, как туман,
То гостей прощальной чашей
Угощает Тохтаман.

Шум и гам. Гремит посуда,
Снова пир — ни дать ни взять!
Поклонясь честному люду,
Михедеров молвит зять:

«Ну, сваты, уж не взыщите, —
Больше нечем угостить.
Все, что нравится, берите,
Вечно будем вместе жить...»

У сватов в глазах мелькают
Лица, миски, солнца свет...
Но пьяны сваты, а знают,
Что сказать ему в ответ:

«Наш поклон за честь — за место!
Что нам взыскивать с тебя?
Зять! Люби жену и пестуй,
Да гляди за ней, любя!»

* * *

Застоявшись, в ярой злости
Пляшут кони — мол, пора!
Выезжают с песней гости
С Тохтаманова двора:

«Полный ковш медовки выпив,
Собрались и, с Богом, в путь!..»
Звуки песни тонут в скрипе,
Пыль стоит — не продохнуть.

Свадьба кончена, — не вечно
Длиться радости такой.
Старичок какой-то встречный
Машет едущим рукой.

Конь, кнутом огретый, скачет,
Мчится вскачь за ним другой.
То ль смеется, то ли плачет
Колокольчик под дугой.

А Нарспи стоит в тревоге:
Смолк за лесом свадьбы гром,
Только где-то на дороге
Пыль взмывается столбом.

После симека

Миновал симек; похмелье
Душу жжет сухим огнем.
Время скучной канителью
Потянулось день за днем.

Уж соха в широком поле
Землю режет на куски.

У Нарспи же в злой неволе
Сердце рвется от тоски.

Под косой, на ранней зорьке,
Наземь валится трава.
У Нарспи с кручины горькой
Опустилась голова.

Что ни день, то все щедрее
Солнце жар на землю льет.
Что ни день, то сердце злее
У Нарспи тоска грызет.

Что ни день, с гвоздя нагайку
Муж снимает, пьян — не пьян,
Знать, в руках свою хозяйку
Крепко держит Тохтаман.

* * *

Мальчуган, Сентти, красивый,
Как никто во всей родне.
Коромысло — конь ретивый,
Сам он — всадник на коне.

Скачет он, как прутик, тонок,
Пыль взметая за собой,
Черный весь, как цыганенок,
Возвращается домой.

Он верхом на коромысле
Прибежит к Нарспи своей,
Все ребяческие мысли
Поверяя только ей.

А Нарспи под чуждым кровом
Все грустит, как перст, одна,
Лишь сынка снохи суровой
Любит, бедная, она.

С кем ей здесь размыкать горе,
Как не с ласковым Сентти?

В задушевном разговоре
С кем ей душу отвести?

* * *

Доброту души такую
Мальчугану дал же Бог!
Словно голубь заворкует, —
Чуть он ступит на порог...

Если глазки даже плачут,
На губах — улыбки свет:
Чуваша в нем сердце, значит,
Жарко бьется с малых лет.

До конца любимой тетке
Сердце отдал он свое,
Часто-часто, тихий, кроткий,
Утешает он ее.

«Тетя, — шепчет, полон ласки, —
Что же плачешь ты все дни?
На, утри платочком глазки,
Злое горе прогони!»

* * *

А терпеть уж нету мочи.
Ах, когда ж конец придет?
Тохтаман с той первой ночи
Всякий день бедняжку бьет.

Та молчит, сжимая зубы,
Как набравши в рот воды, —
Пусть, мол, дольше дурень грубый
Не предчувствует беды!..

Вот приходит гость однажды.
Муж велит жене: «Пойди
Да пивка скорей от жажды
Нам ведерко нацеди».

Принесла хозяйка пиво,
Ну, чуть вышел гость за дверь,
С губ согнав привет учтивый,
Муж к ней кинулся, как зверь:

«Девка!.. Лучше мне не знать бы,
Что в тебя вселился бес,
Что с Сетнером ты со свадьбы
Убежала ночью в лес!»

* * *

Муж по дому ходит тучей,
Он жену тиранит, бьет.
«Муж Нарспи до смерти учит...» —
По деревне слух идет.

Так вот в жизни и бывает:
Всюду боль и маета.
Много злого укрывают
Тишина да темнота.

Поглядишь — взгрустнешь и вчуже:
Дочь растят отец и мать.
Чтоб дитя родное мужу
На глумление отдать.

Взяли зятя, с этим зятем
Всласть, казалось бы, живи!
Счастья ж дочке негде взять им —
Что за счастье без любви?

Если ж ты на свете сыщешь
У супругов мир да лад, —
Богача любого нищий
Там счастливей во сто крат...

* * *

Тохтаман! Злословят люди!
Мучь жену! Терзай до слез!
Пусть она не лучше будет
Для тебя, чем битый пес.

Чтоб над мужем не смеялась,
Ты Нарспи нещадно бей!
Мучь ее, забыв про жалость,
Чтоб состарилась скорей!

Пусть пропасть от женской мести
Обречен уж ты судьбой, —
Бей злодейку за бесчестье,
За насмешку над тобой!

Три недели жизни с мужем
Протекли. Тот срок не мал,
Если что ни день, то хуже
Муж над нею лютовал.

Но однажды как-то, к ночи,
Начал он ее корить,
А она... об этом, впрочем,
Здесь не время говорить.

Преступление Нарспи

Над высокими холмами
Встало солнышко давно,
Греет теплыми лучами
Земли дальние оно.

Снова жизнь навстречу лету
Повернулась в блеске дня,
И идет она по свету,
Улыбаясь и звеня.

Пташки песней молодою
Будят леса сонный мрак.
Как лебедки, за водою
Сходят девушки в овраг.

Только в доме Тохтамана
Гробовая тишина.
Там Нарспи, поднявшись рано,
Горе мыкает одна.

На заре поел хозяин,
В поле дальнее спеша,
А жена... Дохнуть нельзя ей, —
Так изныла вся душа:

* * *

«Вышла замуж поневоле...
Знайте ж вы, отец и мать, —
Ничего тут, кроме боли,
Вашей дочке не видать!

Не жалели вы, чужому
Отдавая дочь свою,
А она все рвется к дому
День и ночь в чужом краю.

От тоски, от лютой муки
Вянет девичья краса...
Тяжелы у мужа руки,
Для него я хуже пса.

Был один дружок милый,
Но его прогнали вы...
Ах, зачем я не сгубила
Прежде бедной головы?

Ах, зачем, томясь в разлуке,
Мне с врагом постылым жить?
Чем терпеть, — не лучше ль руки
На себя мне наложить?

* * *

Мне — что с мужем, что в могиле.
Сердце ноет не к добру.
Ой, зачем вы дочь сгубили?
На чужбине я умру...

Мне — что с мужем, что в могиле.
Опостылел белый свет.
Ой, зачем вы дочь сгубили? —
Милый сердцу был — и нет.

Мне — что с мужем, что в могиле...
Душу мне язвит молва.
Ой, зачем вы дочь сгубили?
Жизнь моя — полынь-трава.

Мне — что с мужем, что в могиле...
Горя плачем не избыть.
Ой, зачем вы дочь сгубили?
Что за польза в муках жить?

Мне — что с мужем, что в могиле...
Сердце ноет не к добру.
Ой, зачем вы дочь сгубили?
На чужбине я умру...

* * *

Друг! Сними мне с сердца камень,
Коль тебе я дорога,
И могучими руками
Задуши, зарежь врага!

Нет! Уж лучше мне в могилу,
Чем тебе попасть в беду.
Я сама, Сетнер мой милый,
Злого мужа изведу.

Только как же уничтожить
Мне следы?.. Бежать в ночи?..
Помоги, — всесильный Боже,
Что мне делать — научи!

Пропадать — так сразу! Право:
По своей хотя б вине!
Ну-ка, верная отрава,
Послужи сегодня мне!...»

И пока Нарспи тужила, —
Словно жар палящим днем,
Страшный замысел по жилам
Разгорался злым огнем.

Солнце ввысь плывет, играя,
Полуденный близок час.
Свет расплавленный без края
Разливается, лучась.

Вся земля в цвету и блеске,
День сверкающий горяч...
А в избе, за занавеской,
Безутешный слышен плач.

Вдруг Сентти вбежал вприпрыжку,
Коромысло оседлав,
Будто ждет в избе мальчишку
Уйма шуток и забав.

По бокам прутом стегает
Он лихого скакуна,
Тетку сам ногой лягает,
Но в ответ молчит она.

Все сидит, в окно куда-то
Устремив недобрый взор, —
И тишком, как виноватый,
Выезжает он на двор.

Кто, на свет взглянуть не смея,
Дуя, плюя, суп варит?
Расползаясь, точно змеи,
Под котлом огонь горит.

«Из-за моря-океана
Едет бабка Шабдан¹
Суп сварить для Тохтамана,
Чтобы сгинул Тохтаман.

За горами, за морями
Стоя скачет медный стул.
Стул, скачи, чтоб в черной яме
Тохтаман навек уснул.

¹ Шабдан — сказочный образ, вроде Бабы Яги.

На укрытой черным чадом
Тридцати одной горе,
Суп, кипи змеиным ядом,
Чтобы муж в аду горел!»

То Нарспи в котле мешает,
Дует, плюет, страх тая;
Зелье смертное вскипает,
Будто в нем шипит змея.

* * *

Воротившись к ночи с поля,
Хмуρο муж в избу вошел.
Ставь, хозяйка, с хлебом, с солью,
Суп дымящийся на стол.

Только муж взялся за ложку,
Как Нарспи забила дрожь...
Зачерпнул, хлебнул немножко
И промолвил: «Суп хорош!»

Раз хорош, — чего ж тут мешкать? —
Миску съел полным-полну.
«Что ты в рот мне смотришь? Ешь-ка!» —
Он прикрикнул на жену.

«Я потом поем, сыта я...
Неохота мне теперь...»
Страшной пыткой пытая,
Гонит страх ее за дверь.

На дворе сидит и слезы
Льет, покорная судьбе...
Муж, не чувствуя угрозы,
Насыщается в избе.

* * *

Тохтаман, доешь свой ужин, —
Гуще суп на самом дне!
Скоро ты не будешь мужем
Молодой своей жене.

Собирайся в путь великий,
Белый свет уже не твой!
«Эй, Нарспи, постель стели-ка,
Что-то клонит на покой!

Ох, устал! Да что же это? —
Вся душа горит огнем.
И вода у нас в ведре-то
Жжет, как будто водка в нем».

Сел он на пол: нету мочи,
Щеки бледны, мутен взгляд,
Все нутро как будто в клочья
Разрывает жгучий яд.

Уложила еле-еле...
Вдруг затих он, не дыша.
Обернулась — на постели
Стынет тело... А душа...

* * *

А душа, видать, пропала
За недобрые дела.
Сердце биться перестало,
Злоба в сердце умерла.

Все в избе осиротело —
Стол, скамьи... В ночной тени
Смотрят жалобно на тело
Бездыханное они.

Смутный мрак Нарспи пугает.
Мертвый страшен ей покой,
Не ее ли то стегает
Муж простертою рукой?

Нет, погиб чуваш. Отныне
Никогда ему не встать —
В поле ехать иль скотине
Корма свежего задать.

Кто коней поить погонит?
Даст овса в обычный час?
Вы напрасно ржете, кони,
Ваш хозяин бросил вас!..

* * *

За деревней лес дремучий
В темноте шумит листвою.
Зыбкий свет звезды блескучей
В синеве дрожит густой.

Хужалгинские селяне
Спят спокойно крепким сном.
Лишь сова в ночном тумане
Кычет где-то за гумном.

Глянул месяц тонкорогий
Сквозь окошко, тих и строг,
И Нарспи уж на пороге
Под собой не чует ног.

Еле вырвалась на волю
Из избы, как смерть бледна,
И задами, через поле,
К лесу кинулась она.

Долго месяц, как дозорный,
Вслед за нею плыл и плыл,
Только лес в чашобе черной
Под листвою ее укрыл.

* * *

А Нарспи вздохнуть не может,
Все вперед спешит она,
Душу робкую тревожит
Темнота и тишина.

Лес сквозь сумрачную дрему
Машет лапами ветвей
И дорогу буреломом
Загораживает ей;

То вспугнут ночные звуки,
Будто кличет дочку мать,
То как будто леших руки
Норовят ее поймать...

Вдруг взметнулся ветер дико,
Взвыла чаща, как спьяна:
«Муж убитый, погляди-ка —
Вон бежит твоя жена!

Загони ее до смерти!
Камнем под ноги свались!..»
Воет лес, как будто черти
На поминки собрались.

* * *

Встал Сентти в то утро рано.
На коне своем лихом
К дому дяди Тохтамана
Подъезжает он верхом.

В дом вбежав, нетерпеливо
Ищет тетку, — тетки нет,
Дядя спит, но — что за диво? —
Спит, а сам глядит на свет!..

Кто-то взрослый стукнул дверью
И застыл: «Помилуй, Бог!..»
Поглядел, глазам не веря,
Да скорее за порог.

И народом праздным вскоре
Вся изба полным-полна:
Что случилось? Вот так горе!
Как он умер? Где жена?

Только зря догадки эти.
Ни мертвец не скажет им,
Ни Нарспи — о чем на свете
Знать дано лишь им двоим...

В Сильби

Жизнь в Сильби течет помалу,
Ровно движется она,
Будто здесь и не бывало
Ни веселья, ни вина.

Гулкий звон плывет над нивой,
От рубах — весь пестрый дол, —
То чуваш трудолюбивый
В поле трудится, как вол.

Нелегко бедняге летом:
Чуть трава блеснет росой, —
Закусил слегка с рассветом
И пошел махать косой.

Проводив учюк¹, селяне
Сразу вышли на луга.
Как холмы на поле брани,
Встали копны и стога.

Песня льется... Что ж, для дела
Эта песня не в ущерб,
Лишь бы в лад коса звенела,
Жито б резал острый серп!

* * *

По всему селу безбожно
Мелют злые языки.
Тут и правда есть, возможно,
Да не всем она с руки.

Вновь о свадебном обмане
Мир толкует вкривь и вкось.
Знают все о Тохтамане,
Всем его известна злость.

Но и распрям есть же мера!
Что тут делать? Экий срам!.. —

¹ Учюк — в древности — праздник жертвоприношения.

Так, таясь от Михедера,
Люди шепчут по дворам.

А Сетнер, при первом слухе,
Понял: вновь грозит беда!
И от матери-старухи
Он ушел бог весть куда.

Люди, в поле поработав,
Сядут ужинать и тут
О Нарспи с Сетнером то-то
Пересуды заведут!

* * *

Вот Сетнер в лесу дремучем,
Где и зверю не пройти.
Он спешит, тоской измучен,
Без дороги, без пути.

Злость всю робость в сердце стерла:
«Только б к ночи в Хужалгу,
Чтоб сдавить до смерти горло
Ненавистному врагу!

Завтра ясный день займется
И людской разгонит сон,
Только враг мой не проснется,
Не увидит солнца он.

Завтра — только день займется —
Буду я в глуши лесной.
Мертвый враг не шевельнется,
И Нарспи уйдет со мной...»

А Нарспи... Нарспи не знала,
Что спешит к ней милый друг,
И куда-то в ночь бежала,
От своих спасаясь мук.

В лесу

Лес гудит, шумит дремучий
Растревоженной листвою,
Тяжело нависли тучи
Над косматой головой.

Лес гудит, шумит дремучий,
Рвет и мечет, как в аду.
То ль заблудших леший мучит?
То ль шайтан попал в беду?

Ветер листья рвет и гонит,
Мнет кусты, свистит вдали.
Темный лес ревет и стонет,
Гнется чуть не до земли.

И ползут над лесом тучи,
Полновесны и густы,
Молний блеск змеей летучей
Жалит землю с высоты.

Гром гремит по всей вселенной,
Мир от грохота дрожит,
Ливень льет, рекою пенной
Напролом вода бежит.

* * *

Лес дремучий, лес дремучий,
Почему ты так шумишь?
Почему тоскою жгучей
Душу бедную томишь?

Но как будто с новой силой
Лес шумит во мгле сырой.
Боже мой, спаси, помилуй! —
Страшный час не за горой.

Голова ты удалая,
Где же быть тебе в чести?
Как бы, чем бы мог от зла я
Душу грешную спасти?..

Как он сир, Сетнер несчастный!
Где найти ему приют?
Как деревья грозно, властно
В темноте над ним поют!

Он идет, сугуля плечи,
Но не гаснет жар души.
Лейся, песня человечья,
Голос бури заглуши!

* * *

«Лес дремучий, лес дремучий,
Почему ты так шумишь?
Почему тоскою жгучей
Душу бедную томишь?»

Ах ты, горе мое, горе,
Почему, сгубив мечту,
Жить в обиде и позоре
Обрело ты сироту?

Почему велит судьбина
Мне крушиться и страдать?
Видно, в час недобрый сына
Родила на муки мать.

Я и в муках жил бы, ныне ж
Бедность губит день-деньской,
А от бедности не сгинешь,
Так от глупости людской.

Глупость — это бы с полгоря,
Враг погубит ни за грош,
Если ж враг погибнет в споре,
От судьбы ты не уйдешь!»

* * *

В темной чаше песне тесно,
Звуки льются все сильнее,
И, подхватывая песню,
Буря мчится вместе с ней.

Звуки, полные печали,
Зарождаются в лесу
И в неведомые дали
Скорбь сердечную несут.

И летят, и тонут, тонут,
И теряются в глуши...
То души стихают стоны,
До другой дойдя души.

А в ответ несутся звуки,
Будто плач, издавека,
В них и жар, и боль разлуки,
В них и горе, и тоска.

Как виденье сна лесного,
Милый образ в них встает,
И Сетнер — в тревоге — снова
Песню горькую поет:

* * *

«С горя сердце не воскреснет,
Нет пути из темноты.
Зря у милой эту песню,
Буйный лес, похитил ты!

Не тревожь меня обманом,
Муки сердца не буди!
Эта песня точно рана
Для истерзанной груди...

Если ж правда... в мире этом
Разве нет таких чудес? —
Мне Нарспи, живую, светом
Освети, дремучий лес!»

Чу! Шаги... Но кто же? Кто же?
Поступь девичья?.. Но чья?
«Кто идет?.. Помилуй, Боже,
Это ты, Нарспи моя?»

При неожиданной этой встрече
Поклонился старый лес.
Ветер вздрогнул и далече,
Прошумев листвою, исчез.

Дымный след последней тучи
Таит в жарком блеске дня.
Солнце льется в лес дремучий,
Песни птиц летят, звеня.

На траве дождинки сушит
Пламень солнечных лучей
И любить живые души
Заставляет горячей.

Пусть сияет день погожий, —
Дню дурному дела нет.
Двое вместе... ну так что же?
Кто чужой им взглянет вслед?

Но к Нарспи из глухомани
Черной птицы рвется стон:
«Не забудь о Тохтамане!
Не тебя ли ищет он?»

Отец и мать

Вот и путь окончен трудный,
Вновь они в родном селе.
Ветхий домик. Ужин скудный
Перед ними на столе.

Две краюшки с солью серой —
Жизнь-то вдовья нелегка!
Все же где-то мать Сетнера
Раздобыла молока.

И отраднo старой слушать,
Как бок о бок за столом
Сын с Нарспи отводят душу
В разговорах о былом.

Вспоминают детства годы
И недавнее житье —
Посиделки, хороводы,
Счастье горькое свое...

Мать сидит, но ловит ухо
Шум за дверью и шаги:
Михедер и с ним старуха
В избу входят, как враги.

Старуха

Здесь Нарспи? Вот совесть вдовья!
Знать, у нищих нет стыда!..
Люди, дай им Бог здоровья,
Нас направили сюда.

Михедер

Дочка, дочка!.. Ты ли это?
Проклят будь тот день и час,
Как посмешищем для света
Ты решилась сделать нас!

И чего недоставало?
Чем был муж тебе не мил?
Иль достатка было мало,
Что бедняк тебя сманил?

Заплевала, осрамила
Ты навек отцовский дом,
Седину мою покрыла
И позором, и стыдом!

Старуха

Ты — что волк в овечьей шкуре!
Уж толкует все село,
Что прикончить мужа дуре
С жиру в голову взбрело.

Михедер

Сроду здесь никто ни слова
Не сказал мне поперек.

Черт не делал мне худого,
Видно, Бог меня берег.

Кров мой светлою рукою
Добрый ангел охранял,
Потому на зло людское
Никогда я не пенял.

Щедрый Пюлех¹, Йерех гневный
Не сулили мне невзгод,
И рассвет, и час полдневный
Приносили мне доход.

До чего ж теперь я дожил?
Гнет мне спину горький час.
За грехи ль, помилуй, Боже,
Ясный день в глазах погас?..

Старуха (к Михедеру)

Ты сильнее ругай Сетнера:
Не для нищих дочь твоя!
Пусть, возьми его холера,
К нам не лезет он в зятя!

Михедер

Люди видят: разве плохо
С малых лет растил я дочь?
Для нее добро по крохам
Собирал и день и ночь.

Я без отдыха, до пота,
Днем трудился, а не раз
От родительской заботы
Не смыкал и ночью глаз.

Все о дочкиной удаче
Пекся я, не так ли, мать?
Только б лучше да богаче
Жениха ей подыскать.

¹ П ю л е х — бог изобилия, буквально — раздающий дары.

— Мисси
Таман
Для нее, скажу я прямо,
Делал все, что только мог,
Жизнь ей отдал, а от срама
Головы не уберег.

Старуха (к Нарспи)

Так покрыть свой дом позором!
Отвечай-ка, не грубя:
Иль нашлась ты под забором?
Иль шайтан вскормил тебя?

Михедер

С малых лет растил я чадо,
И лелеял, и берег.
Думал — к старости отрада!..
Только все пошло не впрок.

Можно ль быть неблагодарней!
Иль не шли к тебе сваты,
Что на этакого парня
Мать с отцом сменяла ты?

Слов не слушала отца ты
Да глядела в лес, как волк.
Подвернись жених богатый, —
Тут и дура знала б толк!

Нарспи

Эх, отец, нет злей напасти,
Чем с немилым жить свой век.
Не в одном богатстве счастье,
В жизни дорог человек!

Старуха

Цыц! Молчи! Нет мочи слушать!
Не моя ты кровь и плоть!
— Как огнем ты жжешь мне душу.
Разрази тебя господь!

Михедер

Сердце рвать мне по кусочку
Будут все, коря тобой;

Старый хрен, мол, вспомни дочку! —
Станет тыкать мне любой.

Впрочем, мне ль считаться с ними?
Погорланят — да и прочь.
Хоть свое ты треплешь имя,
Хоть плоха, а все же дочь.

Дочка! Дочка! Бойся блуда!
Поскорей отсюда вон!
Замуж надо бы, покуда
Не пошел по селам звон.

Так не будь же безрассудной!
Не упрямысь, — выход есть:
При деньгах вернуть нетрудно
Имя доброе и честь.

Старуха (к Нарспи)

Ну, не стой! Прощайся с милым!
Что ж, как вор, ты прячешь взгляд?..
(К Сетнеру)

Ты же, пес, с суконным рылом
Лезть не смей в калачный ряд!

Нарспи

Эх, отец, эх, мать родная,
Что пропало, не найти.
Что же звать меня, когда я
Сбилась с честного пути?..

Старуха

Нет — чтоб в ноги поклониться!
Нас же, подлая, корит!

Михедер

Хватит, старая, браниться, —
Пусть что хочет говорит.

Нарспи

Снова девушкой, что ли,
Я смогла бы дома стать?

Выйти ль замуж против воли,
Чтобы мучиться опять?

Нет! Мне дома все постыло.
Не вернусь я, не зови!
Все, что было — то уплыло,
И не жить мне без любви!

За мой детский век счастливый
Не могу на вас пенять,
Только после не смогли вы
Душу девичью понять.

Сами вы и виноваты,
Что разбита жизнь моя.
Перед свадьбой той проклятой
Ведь в ногах валялась я!

Вы растить меня — растили,
Берегли и день и ночь,
А потом за деньги сбыли
От любви великой дочь...

В детстве радостном, бывало,
Я жила, как в чудном сне,
Все, чего б ни пожелала,
Мать с отцом давали мне.

А как выросла — просила
Год со свадьбой подождать, —
Только замуж гнали силой
Дочь свою отец и мать.

Все напрасны были просьбы,
Слезы зря текли рекой,
А любили б дочь, — авось бы
Не была она такой.

Как кусок для волчьей пасти
Ты, отец, меня берег.
Ты лишь в деньгах видишь счастье,
Лишь в наживе видишь прок.

Зря мы в спорах время тратим,
Верьте вы моим словам:
Коль Сетнер не будет зятем —
Я не буду дочкой вам.

Лишь в одном мое спасенье, —
Это молит сердца кровь:
Дайте нам благословенье
На согласие и любовь!

Старуха (к Михедеру)

Видно, по сердцу седому
Слушать дитячко свое?
Плюнь на дочь! Айда до дому!
Сглазил нам Сетнер ее.

Михедер (к Сетнеру)

Нищий, дьявольское семя, —
Все припомнится тебе!..

(К Нарспи)

Ты же, проклятая всеми,
Чахни с ним в курной избе!

Видит Бог, сама ко мне ты
На коленях приползешь
И всему расскажешь свету —
Плох отец или хорош.

(К старухе)

Баста, старая, довольно!
Двери — настезь да на двор!
Видно, с дочкой своевольной
Время кончить разговор.

Старуха

Тьфу! Отрубленную ветвью
Вам засохнуть и истлеть!
По-собачьи жить на свете!
По-собачьи умереть!

Не беда, что мать-старуха
Сыплет крепкие словца, —

Отдаются в сердце глухо
За окном шаги отца...

Застыдившись, солнце село
За околицей села...

Мать Сетнера ужин целым
Убирает со стола.

Четыре смерти

Положась на волю Божью,
Спит Сильби в тиши садов.
Крепкий сон всего дороже
После праведных трудов.

Спят и люди, отдыхая,
Спит и лес, как спал века,
Пробуждаясь от дыханья
Озорного ветерка.

Ветерок же вдруг тревожно
Встрепенулся и донес
Пыль с обочины дорожной
И чуть слышный стук колес.

Вон телега, вон вторая
Встали, прячась за углом...
Миг — и, душу раздирая,
Крик пронесся над селом.

Человек, в безумном беге
Промелькнув, как тень, исчез...
С шумом, с грохотом телеги
По селу промчались в лес...

* * *

Топот, крики, заваруха,
Уж огни кой-где горят.
«Михедер-то со старухой...» —
«Что?» — «Убиты, говорят!»

В Турикасе шум, смятенье.
Стар и мал бегут туда,
Люди мечутся, как тени:
«Что случилось за беда?»

Где уж тут добиться толку! —
Каждый лезет в разговор:
«Дом-то прямо под метелку!..»
«Не боится Бога вор!..»

«Прежде зельем опоили
Семерых-то батраков!
Ну, а после уж убили
Беззащитных стариков».

«Прибежал Сетнер на крики,
Хоть и в ссоре был с тех пор,
Да в сенях, ох, грех великий,
Угодил он под топор».

* * *

Разговор-то разговором
Только есть и правда в нем:
Удалось проклятым ворам,
Как карман, обчистить дом.

И лежат в избе три тела,
Будто шел повальный мор...
Здесь, в Сильби, страшнее дела
Не видали до сих пор.

А Нарспи стоит в бессилье
В доме темном и пустом,
Реки слез в груди застыли,
Замер в сердце тяжкий стон.

На зарубленных упорно
Смотрит, бедная, в тоске.
Грудь ей рвет и давит жернов,
Как зерно на ветряке.

Только душу вдруг прорвало
Горе, вырвавшись со дна,
И, очнувшись, закричала
Криком жалобным она:

* * *

«Ой, зачем на свет родили
Вы меня, отец и мать,
И навеки осудили
Горе мыкать и страдать?»

Ой, зачем, зачем ты, Боже,
Душу дал мне жарче дня?
Красоту мне дав, за что же
Счастья ты лишил меня?

Ты, головушка, в ответе:
Что с твоей мне красоты?
Почему на белом свете
Оказалась лишней ты?..»

И пошла Нарспи на волю,
Зашагала из села
Той тропой, что через поле
В Конопляный лог вела.

Люди с жалостью глядели,
Как, рыдая, шла она,
И о страшном, черном деле
Толковали дотемна.

* * *

На полях, в труде, в заботе,
Спину гнет шесть дней чуваш,
Ну а в пятницу работе —
По обычаю — шабаш.

Только что-то присмирела
Нынче даже молодежь.
Да и то: три мертвых тела!
Тут уж в пляску не пойдешь.

Старики чего-то ради
Со всего сошлись села,
Видно, миром судят, рядят
О покойнических делах.

За Нарспи людей послали
В Конопляный лог с утра.
Мертвецы в гробах лежали, —
Схоронить бы их пора.

На погосте места много,
Хватит всем родной земли.
И в последнюю дорогу
Трех убитых понесли.

* * *

В полдень — новое известье,
Ужасаются в селе:
Труп Нарспи в укромном месте
Отыскали на ветле.

Во весь дух примчались кони,
Люди были все в пыли.
Кто такую похоронит?
Где ей взять клочок земли?

Там, где жизнь Нарспи сгубила,
Труп зарыли в тот же день
И сплели вокруг могилы
Из орешника плетень.

Село солнце, ночь настала,
И чуваш усталый спит,
Но чуть солнце засияло —
На работу вновь спешит.

А Нарспи во мраке ночи
Спит, без мук, последним сном,
И навеки заколочен
Под землей тесовый дом.

* * *

Так увял порою ранней
Молодой весны побег.
Нет Нарспи... Ее страданий
На любой хватило б век.

Белый свет по Божьей воле
Довелось увидеть ей,
Как цветок прекрасный в поле,
Дочь росла в семье своей.

Быть разумной и красивой
На веку ей Бог судил,
Да родительский спесивый
Нрав ее не пощадил.

Нет Нарспи. Безмолвен, тесен
Темный гроб в сырой земле,
Но ее печальных песен
Не забыли на селе.

И теперь, когда бывает,
Землю сушит суховец, —
Дерн водою поливают
Люди добрые над ней.



МИХАИЛ СЕСПЕЛЬ (1899—1922)

Михаил Кузьмич Кузьмин (Сеспель) родился 16 ноября 1899 года в д. Шугурово Цивильского уезда (ныне деревня Сеспель Канашского района Чувашской Республики).

Нищета и лишения сказались на здоровье крестьянского мальчика с малых лет — он болел туберкулезом костей. В 1910—1914 годах учился в Шугуровской церковноприходской школе. После окончания начальной школы Михаил в числе лучших учеников поступил в соседнюю второклассную школу в с. Шихазаны, где готовили учителей для школ грамоты. Затем учился в учительской семинарии в г. Тетюши, преобразованной после Октябрьской революции в трехгодичные педагогические курсы, где и встретила его весть о победе Октябрьской революции. Революционные события захватили юношу. Он активно включился в общественно-политическую жизнь. В это время в печати появились его первые стихи.

Скоро Сеспель головой окунается в комсомольскую и советско-партийную работу. В свободное время продолжает творческую работу. Поэзия Сеспеля в эти годы становится более конкретной и политически заостренной. В 1920 году Сеспель был выдвинут на руководящую работу в Чувашской автономной области и переезжает в Чебоксары. Государственная деятельность Сеспеля продолжалась недолго.

Весной 1921 года он лечился в госпитале в Нижнем Новгороде, оттуда поехал на санаторное лечение в Крым. За три месяца жизни в Евпатории Сеспель создал ряд новых произведений.

Последние дни своей короткой жизни Сеспель провел на Черниговщине. Жизнь его оборвалась 15 июня 1922 года в с. Старгородка близ г. Остер.

Или! Или! Лима савахвани*

Край мой распят — гляжу и горю,
И, любя его до издыханья,
Я тропинку к спасенью торю.

Одинок его крест средь пустыни,
Кровь живая сочится в песок,
И вино его горше полыни,
И глаза мрак обволок.

И бесчинствуют недруги света,
И чинуш затрясло — смехота!
Плачет край мой разутый-раздетый,
Тьма над ним непроглядно густа.

Мнится: это навеки! И солнце
Не проглянет уже никогда.
И ковыль опечаленный гнется,
И его сокрушает беда.

Вдруг земля задрожала — и голос
Грянул громом не в небе, а в ней:
— Слушай, знающий холод и голод,
Слушай, жаждущий жить веселей!.. —

Рухнул крест от вестей громогласных —
Поднял веки мой край и глядит:
Приближаются толпы несчастных,
Песня вольная к тучам летит.

Обнимаясь, целуются; речи
Не смолкают на ста языках, —
Бич страданий отброшен далече,
Страх и рабство повергнуты в прах!

* «Боже мой! Боже мой! Зачем ты меня оставил?» — Согласно легенде, так якобы воскликнул Христос перед смертью на кресте.

Перевод П. Панченко.

Край мой тоже запел, но печален
Тихий голос его... Он поет,
Хмур, невзрачен, и очи запали, —
Им еще не заслужен почет.

Но возвышен он силою духа:
Он так долго страдал... Ты узнай
Хоть немного об этом — и сухо
Не бросай, что бессилен мой край!

Чувашский язык*

Мир очищен от старья огнем свободы,
И взаправду стал он белым, белый свет.
С тьмой исчезли униженья и невзгоды,
Ты, чувашский наш язык, увидел свет!

Сквозь века нужды и горя пробивался,
Сколько вынес ты глумлений с давних пор!
Все-то выдержал и сильным ты остался,
И теперь ты чист, как пламя, и остер.

Если цепи, если горе не сломило, —
Значит, будешь и в грядущем ты таков,
Значит, будут острота твоя и сила
В нем не меньше, чем у прочих языков.

Светлой радостью воздастся за печали.
Ты прекрасен, как прекрасен отчий край.
Ты подобен раскаленной будешь стали —
Коль понадобится, молнией карай!

Вдоль по Волге, по лугам, полям зеленым
Имя славное свое ты пронесешь,
Разольешься золотым гусллярным звоном,
То луной, то ясным солнышком взойдешь.

Сложишь песни ты про волжский ветер ярый
И про нежный шепот волн у пристаней,
Колыбель твою восславишь — Чебоксары —
И свободу милой родины моей.

* Перевод П. Панченко.

Тот, кто верит в твой удел, кто это пишет,
Одиноко будет спать в земле — и он
Не увидит твоей славы, не услышит,
И погост его не будет сохранен, —

Но над ним язык чувашский наш достойный
Песней воли сохранится на века.
И тогда он, мертвый, будет спать спокойно,
Будет мать сыра земля ему легка.

Чувашскому юноше*

Ты дай мне знать, земля родная,
Когда твой сын в заветный миг
Придет на свет, чтоб, обновляя,
Наполнить мощью твой язык.

О юноша, могучей речью,
Где б ни был ты, подай нам весть.
Мы ждем, идем к тебе навстречу, —
Явись, приди! Ты есть, ты есть!

Чтоб красотой наполнить новой
Родную речь, приди скорей!
Пусть сердца пламенного слово,
Пылая, жжет сердца людей!

Века твое запомнят имя!
От Чебоксар во все края —
В Цивильск, в Чикме — звеня над ними,
Пусть песня пролетит твоя!

Ты, мастер языка, своею
Душою зов услышишь наш.
Я верю. Я мечту лелею:
Придешь ты в мир, придешь, чуваш!

Стальная вера**

Я верю: мой край встрепенется
Жар-птицей и смело взлетит.

* Перевод П. Панченко.

** Его же.

Кто «нет» говорит — промахнется,
Тот жалкий, душой инвалид.

Чувашия как бы ленива,
Чуваш как бы в сон погружен, —
Неважно! Могучим на диво,
Воскреснув, поднимется он!

Когда над землей задышала
Весна животворным теплом,
Кто видел, чтоб в спячке лежала
Природы краса подо льдом?

Нам сердце зима не остудит,
Стремит оно к солнцу полет!
Мы верим, бесстрашные люди,
Что день огнеликий придет.

Пой, сердце, задорные песни,
С народом их пой заодно,
Увидишь: чувашин воскреснет,
Ты нового встретить должно!

Да, имя его оживает:
Уж слышится грома раскат —
То силы любимого края,
Встающего к жизни, гремят.

Вы с временем в ногу шагайте,
Чувашии дети, смелей!
Шагайте, жар-птицей взмывайте,
Промедлить никто не посмей!

Твой облик, мой край, обновится.
А скоро ль? Уж близится час...
Кто «нет» говорит — осрамится!
И лжец, и слепец он зараз.

В груди твоей ширится пламя,
И новое солнце вот-вот
Брать огневыми цветами
Ожившую землю взойдет.

И ты, осиянный, жар-птицей
Поднимешься, вольно дыша.
А кто нам перечить решится,
Тот враль и пустая душа.

К морю*

Море без конца и края.
Чернь и зелень, пережат!
Взвой, фонтанами играя,
Смело бейся в берега!
Люб душе огненнокрылой
Гул борьбы — шуми, вскипай!
Дай порадоваться силой
Ей, зовущей в новый край!

Море, море, всей громадой
За волной бросай волну
С гневом, блеском, светом ада —
На утесы, в вышину!
Зло, раскатисто на кручи
За волной волну бросай,

Голосом борьбы могучим
В небе тучи сотрясай!
Так ударом буйной зыби
Берег каменный встряхни.
Чтобы не сдержались глыбы,
Чтобы в пляс пошли они!

Море, море, пред тобою —
Новых чувашей поэт.
Душу истоптав, бывшее
В ней оставило свой след:
Песни горя и унынья
Там лежат на самом дне.
Море, море, песней ныне
Помоги кипучей мне —

* Перевод П. Панченко.

Навсегда с души поэта
Смой ты немочь прошлых дней,
Кровь очисти песней этой,
Мощь и храбрость в сердце влей!
До краев наполни силой
Душу новую его,
До краев наполни силой,
Дай геройства своего!
Чтоб о новом мире пел он,
Увлеченный новым днем!
Пусть борьбы святое дело
Солнцем сердца будет в нем!
Пусть он рубит лес и пашет,
Косит сено, холит скот,
Пусть, как все, на свадьбе пляшет
И смеется, и поет!

Море, море, если все же
Он уедет от зыбей
В край, что с детства все дороже,
В край, свободный от цепей,
Пусть ликуя, громогласный,
Чувашей он призовет
Новый мир любить прекрасный,
Солнце новой жизни ясной,
Века нового приход!
Глянь героем, люд забитый,
Сгинь смиренье чуваша!
Гордо в новый путь лети ты,
Крепкокрылая душа!

Море, море, всей громадой
Ввысь взметая глубину,
Раздробляя глыбы, падай,
За волной бросай волну!
Ты взиграй, вздымая волны
Сильные, как голос твой,
Берег сотрясай безмолвный,
Грохочи, реви и вой!
Пламенной наполнив силой,

За волной волну бросай!
Люб душе огненнокрылой
Гул борьбы из края в край!
Новый день, не пьаться, милый,
Новый мир, не отступай!

Воистину воскрес*

(Вольные стихи)

О старики, чей век — година бед,
Година горя и тоски,
Вы ль позабыли, как родной
Язык ваш был гоним с давнейших лет?
О том, что стало стариной,
А ну-ка, вспомяните, старики!

Чуваш в далекие те дни
Ходил, поникший искони.
Его пугали даже пни. Что?
Слово молвить? Ни-ни-ни!
Давили наш язык в те дни...

О старики,
Умом крепки,
Вы расскажите всюду молодым,
Как туго приходилось вам.
Любовь свою вы завещайте им
К прекрасным дедовским словам.
О старики, мы всей душою вас
Благодарим за то, что гнет
Вас не сломил, за то, что вновь живет.
Воскрес язык чувашский в добрый час!

Наш край чувашский с высоты небес
Сияньем дивным озарен:
Язык земли родной воскрес —
И мощною красою блещет он!
Он стал теперь, как никогда, богат!

* Перевод П. Панченко.

Воскрес, воскрес язык наш, чуваши!
Давайте же от всей души:
— Воистину воскрес! — воскликнем в лад.

А вы, чей жар все горячей, —
Девчата, парни наших дней, —
Вы не забыли ль ввечеру,
Затеяв хоровод, игру,
Слагая песни, величать,
Любить язык родного края,
Который ожил, стал звучать,
Красою солнечной сверкая?

Кто молод, нынче стань крылат:
Воскрес, воскрес язык наш, чуваши!
Давайте же от всей души:
— Воистину воскрес! — воскликнем в лад.

И вы, леса земли моей,
Луга в цветах, которых нет милей,
Давайте с нами заодно
Язык чувашский славить, наш язык:
— Ты настрадался в прошлом, наш родной,
Ты будь могуч навеки и велик!

Пускай леса дремучие шумят:
— Воскрес, воскрес язык наш, чуваши!
Поля, звените, суходол, шурши:
— Воистину воскрес! — И каждый рад:
Он стал теперь, как никогда, богат!
Воскрес, воскрес язык наш, чуваши!
Давайте же от всей души:
— Воистину воскрес! — воскликнем в лад.

* * *

Чуваш! Чуваш!
Чуваш! Чуваш!*

Твои деревни и поля
Объяла сонь одна и та ж,

* Перевод П. Панченко.

И их любить не в силах я.
Когда светлеет мир вокруг,
Тебе ль робеть, как встарь, мой друг?
Тебе ль дремать, как встарь, в глуши?
Страхнуть свой долгий сон с души
Ты ль не желаешь? Поспеши!

Тебя отважным впереди
Хочу я видеть, — подымись
И окрылись, и смело ввысь.
На солнце, мой народ, гляди!

Ум чуваша, ты сталью будь,
Прорежь сквозь лед, сквозь камень путь —
Пусть искры сыплются кругом!
Ум чуваша, ты стань огнем,
Ты закаленной сталью будь!

Чуваш! Чуваш!
Чуваш! Чуваш!
Стрелю меткою стрелка
Цель порази наверняка, —
Вперед! В грядущие века!
Пусть сердце жжет отваги жар,
Бурли, вскипай, что твой котел.
Где плавка золота идет!
Будь, наш язык, как солнце, яр;
Поля родные, лес и дол
Будить давно настал черед!
Пронзи старье — ты сам не стар! —
Стрелой грозы! Еще удар!
Жаль, как змея, — оно падет!

Когда идет громов игра
В громадах темных туч — смотри,
Как полыхает вышина!
Мой край родной, пришла пора,
Пульс новой жизни повтори,
Биенье вольной все сполна
Неистово в себя вбери!

Отныне*

(Последние капли крови)

Слово теплое, обледенев,
Камнем в горле застряло отныне.
Нет над лесом зарниц и в помине —
Смерть над миром разинула зев.

Край родной повели босиком
На Голгофу, на гору страданий.
Чебоксары, ваш пот стародавний,
Пот кровавый, — он в сердце моем.

Что держу я в руке — назови!
Рву на части, кромсаю — что это?
Что за месиво? Сердце поэта!
Это — Сеспеля сердце в крови!

Псом ободранным нюхать пойду
Горклый кус у чужого забора,
Буду выть, вспоминая свой город,
В стужу, в слякоть. И так упаду,

Так умру я, иссохшим нутром
Стон исторгнув могильный в унынье.
Ах, отныне, отныне, отныне
Тяжкий жернов на сердце моем...

Голодный псалом**

(Отрывок)

Костлявыми руками старый мир
Возвел на крест, распял страну родную;
Сухими, острыми зубами голод
Несчастную грызет, грызет, грызет...

Полны страданий избы. Душно тут,
И пахнет потом. Села — толпы нищих.
Поля больны, черны, как пепелища.
От засухи они без вспашки мрут.

* Перевод П. Панченко.

** Его же.

Вздыхает, стонет Волга день и ночь,
Вся желтая, вся в мусоре и рвани.
И не сдержала бедная рыданий:
Ей видеть боль родной земли невмочь.

Костлявый голод сердце края сжал,
Цветок надежды смят обледененьем,
В сердцах заглохла песня возрожденья:
Лишь началась — и голод оборвал.

О солнце! В дни, когда цвела весна,
Ласкали душу звуки песни новой.
...Но край мой гибнет... умирает слово...
Кому ты, песнь моя, кому нужна?!

Тяжелые думы*

Из Чебоксар я вышел в путь недолгий —
И поднялся на крутояр над Волгой.

Передо мной была страна родная —
Я встал, ее душою обнимая.

Я слышал шум, летящий над рекою,
И мнилось: этим душу успокою.

Но где ее утихомирить шумом,
Когда отбоя нет тяжелым думам!

Доныне верил, милый край, в тебя я
И чуял: слава ждет тебя большая.

Доныне был надеждами я счастлив,
А нынче что-то все они погасли.

Пронизывает душу ветер стылый,
В остывшем сердце замирают силы.

— Приди, поэт чувашский, поскорее! —
В душе моей звучало, не слабей. —

* Перевод П. Панченко.

Он явится! — мечтал я горделиво, —
И наш язык заблещет всем на диво!

Свой путь найдет поэзия родная —
И книгу назовут богатством края!..

Годами длилось ожиданье это,
Но нет, не слышно голоса поэта!

Доныне был надеждами я счастлив,
А нынче все они погасли.

Пронизывает душу ветер стылый,
И в скорбном сердце замирают силы.

Неужто, край мой, ты вконец измучен?
Неужто наш язык иссяк могучий?

Неужто с языков других расцветом
Чувашский наш язык уйдет со света?

Неужто белый свет широкий ныне
Чуваш с деревнею своей покинет?

О, если так, жги сердце, пламя злое,
Пока не сделаешь его золою!

Пусть ветры по полю золу развеют
И душу смерть сразит косой своею!

Пусть в бурю дед, мои собравши кости,
На старом погребет меня погосте!

Над ним пусть ветры вечно воют в гневе,
Раскачивая старые деревья!

Крапива пусть могилу всю усеет,
Пусть в головах шипят всечасно змеи!



МЕТРИ ЮМАН

(1885—1939)

Известный писатель, переводчик, историк, экономист, общественно-политический деятель Метри Юман (Дмитрий Петрович Петров) родился в д. Бюрганы, что в Татарии.

После окончания сельской школы поехал учиться в Симбирск, где увлекся литературой, принимал активное участие в общественной жизни. Во время революционных событий 1905—1907 годов организовывал в деревнях митинги, за что был отлучен от учительской работы в Кошки-Новотимбаевской школе. Молодой педагог перебрался в Ибреси, но был вынужден покинуть и эти места. Некоторое время работал в газетах Казани, Самары, потом поступил учиться в Московский университет. Одновременно посещал занятия и в университете им. А. Шанявского (в те же годы там учился С.А. Есенин).

Учебу пришлось прервать: началась Первая мировая война, и М. Юман ушел на фронт. После Октябрьской революции в Казани организовал партию чувашских левых социал-революционеров (эсеров). Был депутатом Учредительного собрания России.

В 1920 году вернулся в Чебоксары с фронтов Гражданской войны. Организовал Общество краеведов Чувашии, писал книги. В 1924—1937 годах работал в Москве, в комиссариате тяжелой промышленности. Часто печатался в журнале «Ёҗлекенсен сасси» (Голос трудящихся) и в газете «Чăваш хресченё» (Чувашский крестьянин), издававшихся в столице.

В 1937 году, в разгар репрессий, предчувствуя свой ближайший арест, уехал на строительство Байкало-Амурской железной дороги. Но обвиняемого в национализме писателя нашли и здесь. По пути в Москву он бесследно исчез. Как умер и где похоронен — неизвестно.

Метри Юман — автор многих статей, очерков, стихотворений, рассказов и повестей. Рукопись романа «Тавалла сукмакпа» (По тропе в гору) до сих пор не найдена.

Ветла Пюлиха

(Из путевых заметок)

Летняя ночь расплывалась над Чувашским краем. Желтые и пепельно-серые силуэты далеких холмов и взгорий, живые темно-зеленые шатры окрестных урманов давно уже растаяли на пурпурном фоне заката, потонули в бездонной мгле.

Густая темь подступала со всех сторон, ночной ветерок крепчал, где-то за горизонтом поигрывала зарница, а над головой, по таинственным высотам, тянулся Млечный Путь, вековечная птичья тропа, наполняя сердце властными, ненасытными устремлениями вперед, по неисхоженным дорогам, по неизведанным путям.

Два джигита: я — Чаган и друг Пуган спешно шагаем домой. Мы были в городе на съезде, идем обратно и спорим.

— Что такое чувашская деревня? Петушок Ванюка перелетел во дворик шабра Вазюка, этот кинул в пернатого кавалерика чушкой, ушиб одну ножку... Вы и начинаете: расслоение, борьба, «класс против класса», — укоряет меня Пуган, семена рядом короткими ножками и помахивая перед собой батожком.

— Заткни свой кувшин, пиво перебродило, довольно...

— Ведь пристают же, уклон... вы сами заблудились меж трех березок, гоняетесь за собственными выдумками, как лайки за своими тенями, — не унимается Пуган.

Мы уже подошли к деревне. Перепрыгнули через жердевые перекладыны околицы и торопливо зашагали по улице, подумывая: ветер играет, возможна гроза, заплутаемся в поле, лучше постучаться к кому-нибудь и переночевать под крышей. То тут, то там сиротливо торчат одинокие постройки, как неубранные копны хлеба на загонах поздней осенью. Кругом не слышно человеческого голоса. На разоренных усадьбах колодезные журавли свистят жалобно, печные трубы воют злобно и надрывно. Где-то далеко, по-видимому, на скворечнике, тонким голоском плачет дитя ветра, древнего мно-

гокрылого божества... Мы шагаем, охваченные необычайностью впечатлений от этой ранее знакомой нам деревни Семиизбянки. Вот и мост через речку, пересекающую деревню по середине. В лицо ударила речная сырость и запах перепрелого навоза. В сторонке, на берегу речки, лохматится низенькое строение, напоминающее баню. Мы решили пройти через мост и поискать ночлега в другой половине деревни. Но только успели мы сделать несколько шагов, как вдруг с резким шумом распахнулась дверь лохматого низенького строения, яркая полоса света перебежала и легла поперек улицы, три уродливые человеческие фигуры вынырнули из лачуги и пошли нам навстречу.

— Кто вы? Добрые ли, злые ли, стой!

— Вы нас что ли окликаете? Мы добрые путники, прохожие чувашаи.

— С какой целью проходите? Откуда идете, куда направляетесь?

— Не сомневайтесь, братцы. Мы из Пюртиял, были в Симбирске.

— Не знаем, с какой вы целью идете. Ночь темна, идем в помещение...

Подошли трое мужчин с дубинками, окружили нас и повели к строению. Вошли в помещение — оказалось не баня, а караульная лачуга.

— Что пристали к нам? Сослепу приняли, видно, за беглых али конокрадов? — бросил небрежно Пуган и поставил свой батожок в угол.

— Салам аликум, старые и молодые, будем вашими гостями, хотя и незванными, — сказал я и тоже кинул палочку в угол.

Мы сняли с плеч дорожные вещевые мешки, присели на кутник, вынули трубки и закурили. Ночные пикетчики стояли, обмениваясь недоуменными взглядами, поставили свои дубины рядом с нашими батожками и сели на нары.

— Садитесь, будете гостями, устали поди — прилягте и отдохните... Может, зря потревожили вас, время теперь такое, — сообщили нам наши конвоиры.

— Благодарим, братцы, нам сейчас отдых нужен, как коням сено и орлам мясо... Тронемся в путь с зарей, — ответил я, снял сапоги и повалился, не раздеваясь, на кутник.

Пуган снял со своих ног бахилы и носки и лег рядом со мной.

Лежу и наблюдаю за пикетчиками: люди немолодые, один уже белый, как льняной кудель, другой — с едва просвечивающей проседью, третий, видимо, в том возрасте, когда человек должен быть в полном соку. Все трое — типичные чуваша с смуглыми скуластыми лицами, с узенькими глазами, с широкими и плоскими, как лопата, носами. Старик сидит на нарах в аккуратном гарном старинном сукмане, его мышинные зрачки бегают по лачуге, точно ищут что-то. Пожилой мужик спрятался в грязном дырявом азяме, накинутом на плечи, его хитрые черные глаза, окруженные красноватыми нездоровыми веками, блестят ярким огоньком, столь редким и необычным у людей, пораженных с колыбели трахомой. Третий пикетчик нервно ежится в своей старой солдатской шинели; голова и часть лица обвязаны грязноватым полотенцем. Он трусливо высматривает кругом одним, свободным от повязки, и тоже, по-видимому, большим глазком и то и дело поправляет полотенце на лице. В избе тихо, только на печке слышны какая-то сонная возня, сопенье и храп.

Я лежал с открытыми глазами, поглядывая на нары и готовясь послушать рассказ о Кузюке, который вызвался рассказать старик. Я не знал, в чем дело, но чувствовал, что история Кузюка имеет острый, злободневный характер, и меня больше всего интересовал, как расскажет ее старик-сказочник, представитель старой, умирающей деревни, человек отживающего мировоззрения.

Старик рассказывал:

— В краю неизвестном, а может, и знакомом, стояла деревня Семидворики, заложенная, как все старинные чувашские деревни, на костях убитой собаки. Было это не далеко и не близко, как раз там, где сказка сказывается. Было это не давно и не теперь, как раз до того, как сложилась сама сказка... Было это давно, тогда, когда на свете еще не родился сказочник, ваш покорный слуга. Тетка Ухвин пошла пороть на пчельнике репу, была она на сносях и, соблюдая вековечный закон, приписанный самкам, легла под тенистой листвой священного дерева и родила сына Кузюка, что значит — «глазастый». Кузюк рос беззаботным джигитом, пока

в один черный день не скатилась над Семидвориками большая звезда. В избе собрались все старики деревни, отец Лерук лег на нары умирать, позывал к себе Кузюка и сказал, благословляя:

— Береги дом в порядке, дедова и моего благословения не теряй, честь рода соблюдай, не позволяй чужим ногам топтать землю под священным деревом, для меня и прочих предков ежегодно режь жеребенка и вари сорокаведерную бочку пива.

Лерук-старик умер, Кузюк же устроил большие поминки на всю округу и зажил самостоятельной жизнью... У Кузюка родилось трое сыновей: Тазюк, Талук и Тябук — один лучше другого. Сыновья росли, как дубовые насаждения, требуя обилия пищи, света и тепла. Но в доме Кузюка их не прибавлялось, а становилось все меньше и меньше, в чем и суть всей этой истории, — сказал старик, запнулся и замолчал.

— Просто расскажи, не мудруй, не выйдет так, — пробасил мужик в азыме, как-то сосредоточенно оглядывая окружающих и нервно покуривая трубку.

— Да, не сказом, а просто передай, как было, — сказал нетерпеливо Пуган.

Старик поморгал глазами и продолжал:

— Да, трудно здесь мудрить, передаем по-простому, пожитейски. Дело, значит, идет все на убыль: скотина падает от мора, посева сгорают от засухи. Усадьба Кузюка стареет, обновить ее нет сил. Рыбное озерцо засохло, омшаник завалился, священное дерево сгорбилось и вот-вот свалится. Кузюк живет на старый лад: промышляет только посевами, торговать не умеет. Тут еще судьба играет им, как речка играет иногда своим руслом и берегами. Правду сказать, речка и сыграла с ним злую шутку. Она испокон веков журчит, разрезая Семидворики пополам, как каравай хлеба на две картошки. Но она из года в год стала менять течение и по веснам сносила мельничий пруд. Хозяин мельницы Нямук — сильный человек: амбары у него полные хлеба, в сараях его машины и немецкие орудия. Мельницу нужно перенести на усадьбу Кузюка, — тут изгиб, пруд будет держаться без особого укрепления, — говорят все, кто понимает толк в этих делах. Ну, и начал Нямук добиваться, чтобы захватить усадьбу Кузюка. Десяток лет шел спор, поили

народ, скандалили, ходили по судам. Кузюк разорился, беден, но не сдавался, хотя и знал старое правило: с богатым не борись, с сильным не судись. Кузюк жил в избе со старухой и бедствовал, храня заветы отцов и дедов, а сыновья начали промышлять на стороне, кто как мог. Тут Семидворики постигло невиданное несчастье. Загулял по деревне злой бог Великий Хаяр...

— Дедушка, а дедушка, не злое божество, а сила человеческая — сила бедноты и всяких трудящихся, — пропищал кто-то из ребят из-за печки.

Старик остановился, отдышался, безучастно посмотрел в сторону печки и спокойно сказал:

— Ну и пусть будет по-вашему, передаю так, как могу... Так вот заходил денно и ночью по деревне Великий Хаяр. Он захочет — покажется на глаза, не захочет — спрячется, задумал он смутить — в душу лезет, задумает напугать — во сне представится. Он с утра до вечера ходит по деревне, сегодня он показался пастухом, завтра покажется прохожим молодцом из города. Он бывает везде: на работе, в посиделках, гулянках. Ну и поднял Великий Хаяр всю деревню вверх тормашками. Он разбил вековые обручи, порвал пояс на теле народном, развеял в прах благословение отцов, заветы рода. По Семидворикам пошла великая молва, она кружится бурей, пылает огнем. Два друга пляшут — не верьте: один пляшет, другой пол подметает; два брата орехи грызут — не верьте: один зернышко глотает, другой скорлупу убирает. Кто был внизу — пусть поднимется наверх, кто был младшим — пусть станет старшим, кто был голодным — пусть станет сытым, кто был родным — пусть станет чужим. Буря раскидала Семидворики на три части. Беднота, середняки и молодежь ушли в коммуну на Барсуковой плешине, народ посостоятельней отрезал землю пониже мельницы, а кто по старинке и среднему достатку — такие, как мы здесь сидящие, остались на старом месте. Кузюк тоже, конечно, остался с нами, на корнях, завещанных дедами. Но не было у него лада в доме: младший сын Тябук ушел в коммуну, средний Талук тянул туда же, а затем уехал на завод в Каменный город, называемый по-русски Нижний. Старший, Тазюк, хотя и остался, но все пытался пристать к состоятельным. Он хотел продать усадьбу, переселиться в постро-

енную для него нарочно Нямуком избу на гуменнике, прирезать наделы к зажиточному обществу. Но Кузюк не соглашался на это. Он говорил, что коммуна у него просит усадьбу для артельной мельницы и что он скорее согласен отдать ее коммуне, чем позволить Нямуку хозяйствовать на его родовой земле. Говорят, Кузюк почти уже согласился было на уговоры сына Тябука поступить в коммуну на Барсуковой плешине... Но однажды постучался к нему караульщик Шакур и сказал ему: «Дело твое плохо, Тазюк продал усадьбу за триста рублей, Нямук угощает все общество, договор подписали, печать приложили». Кузюк выбежал из избы с пилой, обежал усадьбу кругом, остановился и начал пилить священное дерево. Шакур видел это, хотя и не понимал, почему он пилит в ночное время дерево. Он же издали видел, как пьяная ватага бежала на усадьбу Кузюка из дома Нямука и злобно кричала: «Тябук и другие собаки приехали, Кузюк поступил в коммуну, хотят показать, что они не пустят Нямука в усадьбу, что плюют на договор с состоятельным обществом». Кузюк пилил, не замечая, как к нему подбираются люди. Он спилил дерево, оно свалилось с треском, и Кузюк свалился также. Он упал под ударом дубины. Убил его собственный сын Тазюк, который теперь говорит, что сделал это по ошибке, приняв Кузюка в темноте за брата Тябука. Но кто тут поймет и рассудит? Кузюк, однако, больше не встанет, и мы вот ночь не спим из-за него: ведь мы на карауле над его трупом, — сказал старик, вынул изо рта трубку и застучал ею по нарам, выбивая пепел.

— Как? Неужели над трупом?! — испуганно и наивно воскликнул Пуган, вскочил и зашагал по лачуге.

Я сел на кутник и начал натягивать сапоги, решив, что нам уже пора тронуться в путь. В этот момент сверкнула молния и гром ударил где-то поблизости. Лачуга затряслась от грохота и треска. С печки слетело трое ребят — смуглые и скуластые подростки. В дверь застучали, и кто-то крикнул сердито:

— Что заснули? Выходите на черед, мы обмокли до нитки.

Мужики и ребята мгновенно собрались и стали один за другим выходить на улицу.

Я подбросил на спину мешок, взял палку и проворно вышел вдогонку за стариком.

Ветер дует порывисто. Жидкие облака бегут торопливо, на востоке сереет заря. Я шагаю по грязи и лужам. Пуган догнал меня, мы держим путь прямо. Влево вдоль речки виднеется плетневая изгородь, качаются невысокие лохматые деревья, мелькают человеческие фигуры.

— Что, дружище, пойдем посмотрим, как лежат там на земле ветла Пюлиха и внук Тимряся бая — Кузюк? — спросил я полушутливо у Пугана, показывая в сторону изгороди.

— Нет, давай шагать дальше... Но вот я позабыл надеть один носок, не вернуться ли мне обратно, — бормотал он, подпрыгивая на ходу.

— Пусть это тебе останется на память, — засмеялся я и, насмешливо посмотрев на Пугана, сказал:

— Что такое чувашская деревня? Петушок Ванюка перелетел во дворик шабра, а вы говорите — классовая борьба. Если бы ты послушал рассказы коммунаров на Барсуковой плешине — позабыл бы наверняка и брюки.

— Айда, айда, шагай, далеко еще до дому, довольно болтать, — отвечал мне Пуган смущенно.

Утренняя заря разгоралась, жидкие облака бежали и таяли на синем небе, а перед нами еще лежал далекий путь.

Конокрады

Осенняя ночь спустилась на землю. Белесоватый туман пополз по ложбинам.

В логовине Глинояр, в тенистом коноплянике, замелькали человеческие фигуры. Трое шли вдоль загона, топчя коноплю. Они вышли на дорогу и долго стояли, всматриваясь в сторону отдаленного ивняка.

— Позор: беглецами из родного дома гуляем по полям, ворами прячемся по знакомым лесам и оврагам, — сказал и смачно плюнул на землю старик Ягур, озираясь кругом. — Ну, да ладно, — продолжал он, — вышел на медведя — наполни сердце медвежьей желчью. Настанет раннее утро, сядем на коней и еще до солнца будем на пчельнике Тауша, коммуна Юкиял останется позади, свободная жизнь в татарско-марийском лесу Заволжья будет впереди.

— Тебе, можно сказать, дядя Ягур, не плохо: весь мир тебе сват и кум, а вот что будем делать мы, одинокие голо-

вушки, оставив жен и детей? — спросил один из спутников.

— Да, впутались мы с тобой в историю, Иван, променяли родную деревню на неизвестные края, — вздохнул другой.

— Обзаведетесь сарафанами и будете спать с бесштанными русскими бабами, — сказал Ягур.

— Можно сказать, дядя Ягур, что мы с Метри поймаем и взнуздаем собственных коней, у нас в карманах и документы на них, в случае чего мы всегда сможем и ответ держать, — говорил Иван.

— Конечно, вы взнуздаете собственных коней, а с меня взятки гладки: какого жеребчика поймаю — на того и сяду. Сами знаете, мне не будет грешно: целое стадо племенных коней отобрали у меня в совхоз Магур.

Путники уселись под кустами лопуха и закурили трубки.

Иван и Метри тревожно прислушивались к разноголосому шуму леса. Ягур же курил с видом полного спокойствия и говорил своим товарищам:

— Идти надо врозь, зверь всегда охотится в одиночку. Как поймаете и взнуздаете коней — не садитесь верхом, пока я не скамандую. Я свистну, вскочим враз и поскачем вместе.

* * *

На Жучьей поляне конское стадо то собирается плотным табором, то рассыпается овечьей отарой на крутом холме. Лесная мошкара не дает коням спокойно жевать траву, кони топчутся, бегают, возятся друг с другом, помахивая хвостами и гривами.

На опушке Жучьей поляны яма, которую юкияльцы рыли и засыпали вновь, в течение многих лет бесплодно силясь найти на этом месте клад падишаха земли. В яме горит костер, сухостой трещит и стреляет в воздух, красноватые языки пламени бросают загадочные тени на всю поляну. Вокруг ямы ребята возятся, шумят, спорят, рассказывают сказки.

— Совсем недавно был случай — на эту поляну выскочили из леса два лешака, два убеде, голые, но без всякой шерсти на теле. Мои сестры собирали хмель и уселись здесь отдыхать. Выскочили те и налетели на девок, открыто похвалясь бесстыдными местами.

— Не ври, лешаков на свете нет, а убеде — это обезьяны, которые живут в южных странах и которых в Москве показывают в музеях, — возразил лежащий рядом паренек.

— Не мешай, Макар, пусть рассказывает, — загалдели ребята. Рассказчик приободрился и продолжал:

— Дедушка мой рассказывал, в ауле Юкиял в старину сильно боялись лешаков — арсюри, рожденных от мужчин, а не от женщин, и лешаков из породы убеде, этих лесных озорников. Убеде ловили людей и щекотали их до смерти, они кроме того любили выщелкивать человеческие зубы, кушать их вместо орехов и делать из них ожерелья для своих детенышей.

— Ерунду рассказываешь. В ауле радио говорит и поет, а он сказками о чертовщине пробавляется, — громко сказал Макар, затем быстро вскочил, взглядываясь в ночную тьму.

Ребята беспокойно подняли головы, начали расталкивать и будить спящих.

Стало слышно, как лошади на поляне тревожно храпели и перебегали с места на место. Вдруг трое незнакомых мужчин стали гоняться за лошадьми, пытаясь схватить их за головы и гривы, а кони шарахались и убежали прочь.

— Караул, караул, уводят лошадей! — крикнул Макар, побежал и исчез среди табуна, увлекая за собой товарищей.

— Скопом надо, скопом! Не рассыпаться в поисках собственных коней! — кричали ребята, догоняя Макара.

Раздался резкий продолжительный свист.

— Держите, воры! Караул, конокрады! — истошным голосом призвал на помощь из темноты Макар.

Не успели ребята добежать и до середины поляны, как на опушке замелькали смутные тени всадников и утонули в черной дыре лесной просеки. Ребята продолжали бежать, толкая друг друга, спотыкаясь и падая, и оглашая воздух криками отчаяния, руганью, слезными причитаниями и тихим всхлипыванием...

* * *

Не успели всадники доехать до конца просеки, как толпа молодежи вынырнула из чащи и загородила дорогу конокрадам. Воры оказались из Юкиял: один — раскулаченный коштан, а двое других — колхозные зайцы.

— Этого волка давно искали, — сказал старший из команды, показывая на Ягура.

Ягура увели, а Иван и Метри стояли, растерянно поглядывая на окружающих их ребят.

Макар подбежал и обомлел от удивления. Он молчаливо постоял, а затем подошел к Ивану и схватил его за правую руку.

— Ай, не ты ли это, отец? Что же такое случилось? А мы думали, ты на стройке, под Казанью, все ждали с матерью письма.

Ребята пошли обратно к поляне, а Иван и Метри в сопровождении Макара направились в колхоз Юкиял, ведя за собой на поводьях своих лошадей.



ИЛЬЯ ТУКТАШ (1907—1957)

Илья Семенович Тукташ родился 3 августа 1907 года в д. Большие Токташи Курмышского уезда (ныне Аликовского района Чувашской Республики).

Окончил Красночетайскую школу-восьмилетку, Чебоксарскую партийную школу. В 1932—1933 годах учился в Самарском геологоразведочном институте.

Работал секретарем Аликовского волостного комитета комсомола, ответственным секретарем редакции пионерского журнала «Хатёр пул», редактором Чувашского книжного издательства, сотрудником чувашской газеты «Колхозник», научным сотрудником Научно-исследовательского института.

Илья Семенович Тукташ — участник Великой Отечественной войны.

Свою литературную деятельность он начал в 1927—1928 годах. Его имя стало широко известным в народе после выпуска первого сборника стихов.

И. Тукташ — член Союза писателей СССР с 1934 года.

Творческое наследие И. Тукташа богато и разнообразно. Он писал стихи и песни, поэмы и драмы, повести и рассказы, сказки и легенды. Писал для взрослых и детей. Перу И. Тукташа принадлежат переводы русских и зарубежных классиков.

Поэт много сил отдал собиранию чувашского фольклора. Им составлен сборник «Чувашский фольклор». Он также является составителем учебников и хрестоматий по чувашской литературе.

Много стихотворений И. Тукташа переложено на музыку. Слова стихотворения «Родина» стали текстом Гимна Чувашской Республики.

Родина*

Когда весны высокий свод
Лучи живые щедро льет, —
На добрый лад судьбу верша,
О крае родном поет душа.

Припев:

Поклон тебе,
О Родина,
Красавица
На все времена.
Поклон тебе,
О Родина,
Да славится
Родная страна!

Отцам на смену выйдя в путь,
Ты, юность, им опорой будь.
На добрый лад судьбу верша,
О жизни большой поет душа.

Припев.

Народ народу — друг и брат,
Отныне и чуваш крылат.
На добрый лад судьбу верша,
О силе людской поет душа.

Припев.

* Перевод А. Дмитриева.

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (вторая половина)



ПЕТР ХУЗАНГАЙ (1907—1970)

Петр Петрович Хузангай родился 22 января 1907 года в с. Сихтерма Спасского уезда Казанской губернии (ныне Хузангаево Алькеевского района Республики Татарстан) в семье крестьянина.

Окончил школу второй ступени, учился в Чувашском педагогическом техникуме и Восточном педагогическом институте в г. Казани. В 1957 году окончил Литературный институт им. А.М. Горького.

Работал секретарем редакции журнала «Сунтал», переводчиком и литературным консультантом, разъездным корреспондентом центральной чувашской газеты «Коммунар» (Москва).

Творческую работу П. Хузангай совмещал с большой общественной и государственной деятельностью. Он был депутатом Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета Чувашской АССР. Работал председателем правления Союза писателей Чувашской АССР. Был членом правления Союза писателей РСФСР и СССР.

В годы Великой Отечественной войны в качестве рядового бойца и сотрудника дивизионных газет находился на фронте. Был тяжело ранен.

С именем Петра Хузангай связаны рост и расцвет современной чувашской поэзии. Он обогатил литературу многочисленными произведениями, наполненными глубокими раздумьями над прошлым, настоящим и будущим родного народа. Поэмы П. Хузангай «Тăван çĕршыв» (Родина), «Таня», роман в стихах «Аптраман тавраш» (Род Аптрамана) хорошо известны чувашским детям.

Перу Хузангая принадлежат переводы на чувашский язык многих произведений русских и зарубежных классиков (А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Горького, В. Маяковского, В. Шекспира, Т. Шевченко и др.). Им переведены произведения и чувашских поэтов на русский язык, в том числе К. Иванова и М. Сеспеля.

П. Хузангай известен и как автор литературно-критических работ, посвященных творчеству чувашских писателей.

Поэтический диапазон П. Хузангая весьма широк. В его творчестве значительное место занимают стихи о России, Украине, Белоруссии, Латвии, Грузии, Болгарии, Кубе, Чехословакии, Польше.

Гражданская и философская лирика поэта — яркий пример служения его родному народу.

За выдающиеся успехи в создании талантливых литературных произведений ему было присвоено почетное звание народного поэта Чувашии (1950).

П. Хузангай умер 4 марта 1970 года в г. Чебоксары.

Песни Тилли*

«Тилли¹, Тилли», — в округе все твердят,
А знают, кто такой Тилли, навряд.
Плясать да бить в ладоши — ай, люли! —
Не значит быть похожим на Тилли.

«Казань, — твердят, — Казань, а мы-де — глушь...»
Да, из Казани мой отец Кируш.
Купцом стать капитала не хватило,
Сидельцем в лавке — гордость не пустила.

«Майра², майра», — твердят кругом с утра.
Да, мать моя красавица-майра.
Умыта молоком цеженным,
Спеленута холстом беленым,
В Казани первой, говорят, была...

* Перевод А. Казакова.

¹ П е с н и Т и л л и — песни бывалого солдата-балагура и весельчака. В них звучат народные мотивы, проникнутые лиризмом и юмором. Голос Тилли — это голос чувашского крестьянина, несущего на плечах ярмо социальной несправедливости дореволюционной России.

² М а й р а — так называют русских женщин чувашаи и другие тюркоязычные народы.

Росли мы дружно, чтя свою родню,
Как пять рябинок на одном корню.

Из братьев самый меньший — я, Тилли.
Меня, благословив, так нарекли.

Рожден пригожим, стал я молодцом,
За то меня балуют мать с отцом.

Для стариков есть разум у меня,
Для девушек — глаза полны огня.

Весною я в сорочке родился,
Когда рассвет еще не занялся.

Звезда сверкала сквозь ночную муть,
Косяк гусей держал на север путь.

«Охотничек у вас, не кто иной», —
Сказала повитуха надо мной.

Меня не стали к ласточкам носить,
Чтоб те меня учили говорить.

Пошел я скоро — месяцев с шести,
Заговорил с родными — с девяти.

Родился я под полною луной,
Когда петух горланил за стеной.

В роду на счастье рода я один
Рожден в сорочке — пятый, младший сын.

Сорочку эту высушила мать,
Чтоб можно было в коробе держать¹.

И там же песню спрятала свою,
Я песню отыскал и вам пою.

Кораллы или сердолики слов
Для вас я век нанизывать готов.

¹ Чувашский народный обычай.

У ожерелья песен нет конца,
Счастливей всех иных удел певца.

* * *

Я просыпаюсь дома на заре,
Белей сурбана рядом мать стоит,
Поет петух горластый во дворе,
Отец в раздумье трубкою дымит.

Родные, грустно глядя на зарю,
Советуются меж собой,
Кого из сыновей отдать царю, —
Жаль всех, да что поделаешь с судьбой!

У старшего детишки — как отдашь?
Второго б, да сноха уж очень зла...
На среднем дом — «умень... кормилец наш...»
Четвертого б — «молодка понесла...»

«Что делать нам? Меньшого отдадим», —
Решил отец. И согласилась мать:
«Куда бы ни попал, он все ж — один,
Сам за себя сумеет постоять...»

Тут снова я накрылся с головой.
Чуть плакать не заставила беда.
Зачем петух горланил заревой?
Не просыпаться мне бы никогда!

* * *

Не развязать ли мне, ребята,
Такмак¹, в каком я песни спрятал?
Напев таков
У рекрутов,
Что тронул он Тилли-солдата.

Приклад тяжелый, штык твой острый...
Служить царю полжизни просто ль?

¹ Такмак — кожаный мешок, переметная сума.

Чуваш терпел,
Хоть и кряхтел,
Вот борода и стала пестрой.
Мы в море веслами махали,
На горы голые влезали.
Высок Кавказ:
Слеза из глаз —
Так вечные снега сверкали.

В крутых горах, на ровных нивах
Душ сырых больше, чем счастливых.
Един лишь свет,
А судьбы — нет:
У этих блага, те — чуть живы.

Беда что ком, судьба что желоб.
Нрав у небесных сил тяжелый:
Хотят — сомнут,
Хотят — пошлют
Тому — орех, тем — горький желудь.

На час я развязал, ребята,
Такмак, в котором песни прятал.
Напев таков
У рекрутов,
Что тронул он Тилли-солдата.

* * *

Что разумеют, говоря «мегель»¹?
— Коль хочешь знать, сперва спроси, дружок.
У облаков кудрявых, точно хмель,
Что ж дождиком не окропят лужок?
Не вышел срок.

«Мегель» — что это, объясни, родной.
— Спроси ты у гусей, чей путь далек,
Что ж над озерной светлую волной
Летят, не отдохнув хотя б часок?
Не вышел срок.

¹ Мегель — возможность, срок, пора (для какого-либо дела).

«Мегель» — что ж это все-таки, ответь.
— У яблоньки спроси, какой в том прок,
Что до рассвета не украсит ветвь,
А будет в почке прятаться цветок?
Не вышел срок.

«Мегель» — что ж это все же, как узнать?
— Спроси у скрипача, зачем смычок
На струны скрипки медлит опускать —
Стоит, уставясь взором в потолок?
Не вышел срок.

Но дождь из тучки хлынет на лужок,
Запенят гуси с гогом поток,
На яблоньке распустится цветок
И на струну опустится смычок,
Как выйдет срок.

* * *

Четыре дома — в них по милой,
Из них одна лишь — до могилы.

Какую на небе в скрижали
Со мною рядом записали?

Писали черным — на беду ли,
К веселью ль желтым там черкнули?

Иль красным? — это к полнокровью.
Или зеленым? — на здоровье...

Четыре крали на примете,
С какой запрешься в брачной клети?

Кого любить, чтоб без обмана?
Чью голову покрыть сурбаном?

В тухлях¹ с кораллом все четыре,
И нет их краше в целом мире.

С лесною земляникой спелой
Красою могут спорить смело.

¹ Тухья — девичий головной убор.

Одну возьмешь — жаль остальных,
Взять всех — законов нет таких!

Одну покрыть бы покрывалом
Тем, что вторая вышивала.

А третья бы постель постлала,
Четвертая бы разувала...

* * *

Вдоль села иду я стежкой,
Вижу вдруг тухью в окне.
Синеглазая ладошкой
Из окошка машет мне.

Словно не заметив, ходу
Я прибавил, но смекнул,
Как снаружи снять щеколду,
И в калитку прошмыгнул.

Как зашел, пятиалтынный
В голенище опустил,
Снять сапог заставил чинно —
Над девчонкой пошутил.

Та монетку придержала,
Чтоб не дать ей зазвенеть,
И с улыбкою сказала:
— Ведь не свадебная клеть...

А сама сняла передник...
В двух шагах была беда.
Но, хотя душа не ледник,
Я опомнился тогда.

И ушел. Пускай иные
Скажут: «Парень бестолков».
Сватов ждут ее родные —
Уважаю стариков.

Отца с могучим львом сравню:
Растил меня под бородой,
Спознаться не давал с бедой,
Берег и от молвы худой.

А мать с орлицею сравню:
Как станет буря завывать,
Одним крылом спасала мать,
Другим меня ласкала мать.

Я брата с беркутом сравню:
Горой он за меня стоял,
Мне на ноги не наступал,
Поблажку младшему давал.

Ни с кем невестку не сравню:
Как люльки я покинул плен,
Так не сходил с ее колен,
Пошли ей счастье Бог взамен.

Сестру я с лебедью сравню:
На свадьбе сам я гнал конька,
Трясаясь на крышке сундука...
Тилли зовут ее сына.

А брата младшего сравню
С чирком, юркнувшим в краснотал:
По посиделкам он шнырял,
О том, что слышал, не болтал.

Сестрицу младшую сравню
Я с куропаткою лесной:
Делилась лакомством со мной,
Звала и на девичник свой.

Себя я с ястребом сравню:
Я днем и ночью распевал,
На каждой свадьбе погулял,
Всех девок перецеловал.

* * *

Пред воротами поклон —
Принял я привета ковш.
Во дворе — другой поклон:
Выпил я согласия ковш.

У сеней опять поклон —
Уверенья взял я ковш.
Посреди избы поклон —
Поднял за судьбу я ковш.

Отдал всем большой поклон —
Круговой пригубил ковш.

Пред большим столом поклон —
Принял жениха я ковш.

В пляс пошел, потом — поклон,
Вот и завершенья ковш.

Вышитым платком махнул,
Выпил на дорогу ковш.

* * *

Немятым беленьким платком
Любимая была,
Невзятым в руки пояском
Любимая была,
Не знавшим дела пряслицем
Любимая была,
Никем не ношенным кольцом
Любимая была,
Из сердолика бусинкой,
Иголкой не пронзенною,
Любимая была,
Серьгой, в ушко не вдетою,
Любимая была,
Воротничочком шелковым,
Ни разу не застегнутым,
Любимая была,
Тухьею непримеренной

Любимая была,
Смычка не знавшей скрипкою
Любимая была,
Непробованной дудочкой
Любимая была...
Стал черным мой платок,
Не мне достался поясок,
А пряслице распалось вдруг,
Колечко распаялось вдруг,
Жемчужинку я потерял,
Воротничочек лопнул мой,
Случилось то же и с тухлей,
Рассохлась скрипочка моя,
Сломалась дудочка моя,
Богаче Пюлеха я был,
Теперь беднее нищих я!

* * *

Эй, вы, трубокуры, голь,
У кого нет и на соль!
Я и сам такой сейчас —
Может, победнее вас.
Есть о чем и мне тужить,
Но давайте, братцы, жить
До поры, пока кушак
Станет подметать большак.
А как станет подметать,
Можно снова жизнь начать!

* * *

Конек в оглоблях норовистый
С натугой путь одолевает,
А в голове сиротской быстро
Чреда тоскливых дум мелькает.

Ай-гай, как будто сквозь решета
Пушинки белые кружатся.
Одни печали да заботы
Сегодня на сердце ложатся.

Вокруг безлюдье, голо, сиро.
Звенит уныло колокольчик.
О переменчивости мира,
Мне кажется, сказать он хочет.

Ай-гай, ухабы жизнь отравят —
Конь много раз в пути застрянет,
И все ж назад никто не правит,
У каждого свой конь и сани.

У каждого свой колокольчик —
Звенит, дразня, путь коротает.
То горько плачет, то хохочет,
Пока навек не умолкает...

* * *

Все пой да пой, вы просите меня,
А ведь не настоящий мастер я.
Но коль спою то, что люблю я,
И мастерам не уступлю я.

Коль восемьдесят восемь есть стихов
И девяносто девять к ним ладов,
Но нету времени их слушать,
Не спеть ли те, что греют душу?

Ай, желтый стол у вас и чалый мед!..
А если песнь за сердце не возьмет,
Коль песню не найду такую,
Что скажете, когда уйду я?

Ковши резные подавались мне,
Меды хмельные наливались мне,
От яств стал крепкий стол ломиться,
Пусть все вернется к вам сторицей!

Так будем веселиться мы и петь,
Плясать давайте лихо и шуметь —
Никто два века в мире не жил,
Никто владыкой мира не был!

Сто семьдесят, слышь, лип свалил я,
И белый дом себе срубил я,
И сорок, верь, локтей сукна
На лестницы в нем постелил я.
Перила лестниц тех обил я
Пятью локтями плиса, верь мне!
Чтобы албастам¹ открывать
Приятно было гостю двери,
Пришлось в Казани заказать
К ним петли все из желтой меди,
Пришлось те петли прибывать
Гвоздями все из красной меди.
На ручки серебро пошло.
Чтоб было в горнице тепло
И чтоб Хертсурту² угодить,
Мне дюжину печей сложить
Пришлось из кирпичей, поверь мне,
Чтоб солнцу угодить с луною,
Пробил сорок одно окно я,
Их ярким шелком занавесил,
Чтоб каждый гость доволен был,
Кукушек в клетки посадил.
Когда приходит самый близкий,
Те, крылья распахнув, кукуют;
Когда пожалует знакомый,
Мотая головой, кукуют;
Когда родные в дом заходят,
То дружно, как одна, кукуют;
Когда чужие навещают,
То с перебоями кукуют;
А если парни в дом заглянут,
Кукушки радостно кукуют,
А если девушки заедут,
Они взволнованно кукуют,
А если дети приезжают,
С задорным хохотом кукуют;

¹ Албасты — духи дома.

² Хертсурт — домовый.

Коль прихвастнет хозяин дома,
Смолкают, как вот эта песня.

* * *

Нагрев светец, тускнеет уголек.
Но не беда, что этот свет потух.
Взгляните, как поголубел восток,
Послушайте, как голосит петух.

Эй, в кереге¹ уютном, старики,
Понятно ль вам его «ки-ки-ри-ки»?
Кричит он, что за днем идет другой, —
Не день проходит так, а век людской!

Эй, тетки, все бы тары-бары вам...
Кричит он, что радивая сурбан,
Вскочив, уже успела повязать,
А вы вчерашних не успели снять!

Эй, бравый парень, посиделок друг,
Послушай-ка, о чем кричит петух:
Настал рассвет, домой пора, друзья,
Порочить имя девушки нельзя!

Девичник свой, красавица, покинь:
Ты слышишь, что доносят петухи?
Буренка замычала: пить давай —
Скорее коромысло обнимай!

Эй, шустрые, кто на полатях спит!
О том петух горластый голосит,
Что тетушка вам печь блины спешит.
Вставайте: с пылу, с жару — хороши!

Радужные сердца — что мурава...
Как щебет ласточки, звучат слова.
Ковш круговой испил до дна я,
Как выпить посошок — не знаю...

¹ Кереге — лучшее помещение в доме, мужская половина.

* * *

Раньше сам за образец я слыл,
Кунью шапку раньше я носил,
Верх у шапки — чистого тарая¹,
Кисточкой серебряной форсил...

Раньше сам за образец я слыл,
Мой тулуп всегда распахнут был,
Кушаком был розовым он стянута,
Желтый лис от ветра грудь хранил...

Раньше сам за образец я слыл,
Из вигони варежки носил,
Сани — точно крылья, а рысак
Ветер бы и тот опередил...

Раньше сам за образец я слыл,
За сто верст к приятелям катил,
Был со старцем — старец, с юным — юн,
Речью бы любому угодил...

Раньше сам за образец я слыл,
Вмиг бы взглядом девушку сразил,
А мизинец полон был колец —
Лишь кивни, любую бы сманил...

Раньше сам за образец я слыл,
И в кисете счастье я носил;
Вспомнишь — то не жизнь была, а сон,
От него очнуться нету сил.

* * *

По лугу ручей, журча, бежит,
Лишь в глубоком омуте кружит.
В сердце тишина теперь, покой,
Лишь от злых наветов грудь шемит.

Дует ветер, дует все сильнее,
Листья прочь уносит он с ветвей.

¹ Тарай — шелк тарайский.

Ветер, волосы мои — не лист,
Лучше горе горькое развей.

Гуси с криком в воздухе снуют —
Иль внизу уж слишком илист пруд?
Ноет сердце и скорбит душа —
Иль меня одни печали ждут?

Сносное сулит ли жизнь житье,
Горести ль в запасе у нее?
Что б ни ждало, песню пой, Тилли,—
В песнях утешение твоё!

* * *

Сыграть бы мне на скрипке, да боюсь:
По струнам огонек не побежит ли,
Натруженный смычок не задымит ли,
Мне бороду огонь не опалит ли?

Мне песню бы запеть, да боюсь:
Вдруг крылья мой напев не обретет ли,
И крылья те, взлетев, не распахнет ли,
Мне сердце этот взмах не разорвет ли?

Сплясать бы от души мне, да боюсь:
Чуваши вслед за мною ведь запляшут,
Не треснет ли тогда земля, как чаша,
Не станут ли все клясть тогда чувашей?

* * *

Коль на пчельник забрели,
То, наверно, невдали
Вы увидите, ребята,
Скоро лысину Тилли.

Что он делает? Играет,
Скрипку петь он заставляет.
Матка, голос скрипки слыша,
Далеко не улетает.

Успокоенный игрой,
Собрался на вязе рой.
Поспеши, Тилли, с лукошком
И ковшом его накрой.

Золотистая пчела
По щеке моей ползла,
А ужалить не решилась —
Жизнь и пчелка берегла.

Ах ты, труженик-малыш,
Ты за взятком, зная, спешишь,
А хозяина-то знаешь:
Слышу, ласково гудишь.

Что же сделает Тилли,
Если в гости вы пришли?
Крепкий сим¹ Тилли нацедит,
Чтоб отведать вы могли.

Тем хвала, кто сок земной
Превращает в мед хмельной.
Слава, слава изобилью,
Солнцу с щедрою весной!

Гости, пейте на здоровье!
Подношу я вам с любовью.
Пусть и в будущем году
Пир такой же приготовлю!

* * *

Есть птица у меня ручная,
На волю выпустить мечтаю,
Да вот, когда открою клетку,
Как поведет себя, не знаю.

На чье плечо присядет птица?
Какой он песней насладится?
А если в час печали сядет,
Печаль той песней утолится?

¹ Сим — медовый напиток.

Вот про меня твердили: хват —
Не тонет, не горит солдат,
В беде на миг не оробеет,
И нынче то же говорят.

А вот каков на самом деле?
Не стала борода куделью?
Мы, отхлебнув из чаши жизни,
От магысмы¹ не захмелели?

Пока смышленных песни учат,
Пока не путаюсь в онучах,
Быть может, к праотцам, друзья,
Отправиться мне было б лучше?

Без кашля хорошо б свалиться,
Покуда трубочка дымится.
И, коль по правде, то пока
Язык мой острый шевелится.

Споткнуться может конь здоровый,
Но фыркнет и бежит он снова,
А вот у клячи, что споткнется,
Прочь отлетают все подковы.

Юрсты² постигнет неудача —
Встряхнется и споет иначе,
А если кто поет без лада,
Мне вспоминается та кляча.

Погода — ад, дорога — жуть.
Все веши скрыла вьюги муть,
Своей рябиновою палкой
С трудом нащупываешь путь.

Мечта твоя летит вперед,
А счастье позади бредет.
Коль жребий выпавший обманет,
Никто другой раз не метнет.

¹ Магысма — слабое пиво без хмеля.

² Юрсты — певец-мастер.

Все переменчиво на свете,
Да вот о трех концах все плети.
Добро б один конец задел,
Увы, хлестнуть все разом метят!..

Царь на земле, на небе — Бог.
Кто б сильному перечить смог?
Один Тилли поносит власти,
Что гнут людей в бараний рог.

* * *

Зашел я в караулку, в сени,
Где у начальников конторы,
Просил народ, встав на колени,
Чтоб снизили свои поборы.

А староста со старшиною
Сидят в избе при всех медалях.
Лежат и розги там горою,
И писарь чиркает в скрижалях.

Ай-гай, ни ржи нет, ни пшеницы.
В Макарьеве барыш не взял я,
И золото под половицей
Про черный день не закопал я.

И пол обмел я бороною,
И, обругавши для начала,
Всю спину мне ожгли лозою,
И дума в голову запала:

— Коль есть владыка мира правый,
Что ж слабо у владыки зреньё?
И что же я, как червь безглавый,
Сношу безропотно глумленьё?

* * *

Барышники, гляжу, коней сбывают.
Эх, серые, как шеи выгибают!
Как вспомню свою юность-аргамака,
Так в старом сердце слезы закипают.

Глашатаи в усердии великом,
Чтоб залежь сбыть, вращают шапки с криком.
Ах, молодость, ни за какую цену
Тебя не купишь: ты не мед, не лыко...

Вон мерят ситцы ловкие купчины,
В руках играют желтые аршины.
В любом аршине лишь четыре пяди,
Какой бы наугад ты ни прикинул.

Китаец фокусами увлекает:
Булатный нож при публике глотает.
А я устал от скоморошеств жизни,
И сердце отдохнуть уже мечтает.

* * *

Мои мечтанья с трубочным дымком
Растаяли, свернувшись завитком,
Надежды, потонув на дне ковша,
Заглохли, как зерно в песке сухом.

Не зря в народе присказка живет:
На бога понадейся — сук проткнет.
Поверив человеку, в грех впадешь.
Кому же верить? Вот ведь переплет!

Слуге поверь — останешься без глаза,
Жене — так потеряешь оба разом.
Верь псу: он руку лижет без обмана,
Вот что Тилли подсказывает разум.

Пойдем, Сарбай, безмолвный друг хороший,
Давай с тобой побродим по пороше,
В лесу добудем тетерева, что ли.
У многих, друг мой, жизнь гораздо плоше!

* * *

Летит косяк гусей над большаком,
В пути непросто править косяком;
Кто выводки беспечные сберег,
В последний раз помчался жожаком.

На белый свет я появился голым,
Уйду в рубахе белой, тих, как голубь.
Тот свет мне, благочинный, не сули:
И этим-то я сыт, хоть мучит голод.

* * *

Из корня вишни сделал трубку я,
Чубук я смастерил из бересклета.
Курил в печали, в радости, друзья,
А жизнь моя прошла — за летом лето.

Из липы ковш узорный резал я,
Над ручкой прокорпел я до рассвета
И медом ковш наполнил по краю,
А жизнь моя прошла — за летом лето.

Из клена скрипку долго делал я.
Как девушка, прекрасна скрипка эта.
Играл в печали, в радости, друзья,
А жизнь моя прошла — за летом лето.

* * *

И ты стареешь, мой Сарбай,
Как люди-человеки.
Совсем заглох твой звонкий лай,
И пожелтели веки.

Уже и слух твой ослабел...
Где силушка былая?
Бывало, пчельник весь гудел
От заливного лая.

Когда меня ты, друг, встречал,
То мчался издалече
И прямо в губы целовал,
И лапы клал на плечи...

Когда по всполью я шагал,
Бросался ты с проселка

И шутки ради в поле гнал
С лужайки перепелку.

Теперь ты тих, угрюм и прост,
И с позевотой длинной
Качаешь медленно свой хвост,
Как маятник старинный.

Порою поглядишь в глаза
Пытливо, человечно,
Как будто хочешь мне сказать
По-дружески ты нечто.

А может, думаешь: «Беда!
Старик, как на пирушку,
Пойдет на зайцев и тогда,
Когда не видит мушку...»

Сарбай, жизнь — словно след от лыж.
Нам охать не пристало,
И мы обочинкой, глядишь,
Пройдем с тобой немало.

А там, по тракту, тарахтят
Обозы, мчатся тройки,
И господа в бобрах пыхтят,
Как поп после попойки.

А мы при виде ездовых
И шапку не ломаем:
Следы от лыж и от возков
Заметет вьюга — знаем!

А вьюга — это наша смерть...
Знай, рано или поздно
Над нами злая круговерть,
Сарбай, промчится грозно.

А мы пока по мере сил
Зайчишек все тревожим.
Где встретить вьюгу рок судил,
Того мы знать не можем.

С тобой, Сарбай, мы как лыжня —
Два следа неразлучных.
Я без тебя, ты без меня —
Подумать даже скучно.

Коль раньше ты помрешь, тогда
Из шкуры, я не скрою,
Уртмах сошью, чтобы всегда
Носить его с собою.

Коль во хмелю скончаюсь я
Там, в поле, на ночь глядя,
То на ошейник твой друзья
Мой перстенок приладят.

С ним вслед зайчишке ты скачи,
Загонишь, так для вида
Повой призывно, порычи —
То будет панихида.

* * *

Зеркальце имел я небольшое —
Ясное да круглое такое,
Поутру в него смотрелся я,
Ввечеру в него гляделся я,
Да и не заметил, мой ровесник:
Все лицо, что рдело, как гранат,
Серые ряды морщин рябят.

Медный гребень с головой коня
Был на ремешочке у меня,
Поутру расчесывался я,
Ввечеру причесывался я,
Да и не заметил, мой ровесник:
Надо лбом, где словно рос горох,
Стало голо, словно чистый ток.

Два насеста белых кур имел я,
Тридцать две — и все, как кипень, белы.
Я зубами поднимал до пуда,
Перекусывал витые пути,

Да и не заметил, мой ровесник,
Как мои насесты опустели,
Как с насестов куры те слетели.

Не боялся никогда я сглазу,
Враг мой взгляд не выдержал ни разу,
Погляжу — и дуб зачахнет сразу.
Различал коня я за пять верст,
Днем на небе видел россыпь звезд,
Как умру, зря пропадут глаза.
Даже жаль с такими помирать,
Но кому глаза мне завещать?

* * *

Секрет бессмертия мне не был дан.
Ни Киреметь, ни Пюлех, ни Харбан¹
На помощь нам прийти, увы, не могут.
Ну, как им мочь, когда они — туман?

Я жертвы приносил, постился я,
Чтоб грош сберечь, я не жалел рубля,
А меж иконой и простой доскою
Различия так и не вижу я.

Я видел солнце, блеск ночных светил,
Богатым был я и с сумой ходил,
Но кто же мне на склоне дней моих
Сомненье это в душу заронил?

Богаче ли стал мир со мной? Едва ли.
Бедней ли будет, коль уйду? Едва ли.
Так для чего же рос я, гриб земной?
Чтоб снова в ту же землю закопали?

* * *

Кудесники мне жизни не продлят.
Так где же чудеса в подлунном мире?

¹ Чувашские языческие божества.

Ни слово мага, ни волшебный яд
Не смогут сердце старца сделать шире.

Пускай попы пекутся о просфорах,
Мне все равно два века не прожить.

Мулла, перебирая четки споро,
Не свяжет дней оборванную нить.

Возьму-ка лучше скрипку и смычок,
Развею грусть хотя бы на часок.

Седого старца в парня превращу
И бабушку девкой в танце закручу.

Пусть парни скачут в пляске, как песты,
Пусть щеки девок вспыхнут, как цветы.

Пока я жив, соседушки мои,
Забудьте-ка про бедушки свои.

А то, боюсь, как справлю новоселье,
Совсем заглохнет в Сиктерме веселье...

* * *

Когда навек глаза закрою,
Не лейте слез, друзья, родня.
Не плачьте, люди, надо мною,
В сырую землю хороня.

О дети, мы живем лишь раз,
И честь всего одна у нас.
Пусть на нее не сядет пыль —
Пегиль!¹

Сородичи, единый корень
Взрастил нас — колос, полный зерен.
Путь вековой, мой род, осиль —
Пегиль!

Соседи, дружба грела нас,
Мой голос в памяти у вас,

¹ Пегиль — благословение.

Запеть заставили не вы ль?
Пегиль!

О земляки, по всем приметам
Мы только гости в мире этом,
Не в миг поймешь, где сон, где быть —
Пегиль!

Земля родная, не томи,
Ты жизнь дала, ты и возьми,
Прими меня под свой ковыль —
Пегиль!

* * *

Для гроба дуб я распилил на доски,
Чтобы живым не доставлять забот.
Пазы и щели залил желтым воском:
Весной вода вовнутрь не попадет.

И каждый день с тех пор зимой и летом
Смотрю я на приют предвечный свой.
Хочу проститься раньше с белым светом,
Чем сам он распрощается со мной.

* * *

Родился я, сжав пальцы в кулаки,
Как будто говоря: «Мой этот свет».
Умру, так обе разожму руки —
В моих горстях богатств не будет, нет.

Пятак в могилу бросьте, как ведется,
Чтоб под землей мог свет увидеть я,
Пусть у могилы песня раздается,
Пусть с плясками расходятся друзья.

* * *

Природа — я все больше в это верю —
Смеется над тобою, человек.
Единый раз лишь распахнутся двери
И, хлопнув, закрываются навек.

Откуда мы являемся? Кто знает!
Куда идем, покинув белый свет?
В песках сыпучих ветер заметает,
С земли дожди смывают легкий след...

А сколько разноравных, разнолицых
Протопало по тем путям людей!
И все же я на вспаханной земле
Хочу оставить след своих лаптей.

«Тилли загадку загадал нам, что ли?» —
Могли б спросить ровесники-друзья.
Что лапти! Я хотел бы, чтоб на воле
Осталась песнь любимая моя!

* * *

Меркнет взор. Пришел мой час последний.
Я прошу утешиться, кто плачет.
Есть у жизни гаснувшей наследник,
Не пустеет белый свет наш, значит,
Меркнет взор. Пришел мой час последний.

Я прошу утешиться, кто плачет.
Соль от слез испортит даром зренье.
Мы ведь рядом с теми, кто судачит
О кончине нашей, о рождении...
Я прошу утешиться, кто плачет.

Есть у жизни гаснувшей наследник,
И к чете всегда приходит нечет.
Всех грачей весною спрячет ельник,
А в отлет полнеба крылья мечет.
Есть у жизни гаснувшей наследник.

Не пустеет белый свет наш, значит.
Вот меня и внуки окружают.
Жаль бездетных: ведь у них иначе —
Им глаза чужие закрывают...
Не пустеет белый свет наш, значит.

Меркнет взор. Пришел мой час последний.
Разом все сбываются мечтанья.

Показала свой сурбан,
Белый, как густой туман.
Там в хушпу из серебра,
Словно солнышка сестра,
Ты сверкала, а ко мне
Не пришла ты, азанне¹.
В гроб легла ты, азанне.

Дед мой, добрый, славный дед!
Бабка милая моя!
Жил я с вами много лет.
Стал почти что мужем я...
Для чего же в мир иной
Вы ушли от нас четой?
Плача, на могильный холм
Полный ковш я меда лью,
Вас благословить меня,
Голову склоня, молю.

* * *

Ку-ку! Ку-ку! Звучит в лесу,
В ладоши бьет дубок-плясун.
Черемуха — невестою,
Березоньки — подружками,
А клен зеленый — дружкойю...

Ку-ку! Ку-ку! Идет Тилли,
Собак своих ведет Тилли.
Борзая — та стрелой летит,
Легавая — в кустах трусит,
А лайка — гав-гав-гав! —
звонит.

Кукушка, правду ты скажи:
Мне сколько лет осталось жить
И сколько зайцев загублю,
Волков я сколько затравлю,
Медведей сколько заколю?

¹ Азанне — бабушка по отцу.

Ку-ку! Ку-ку! Звучит в ответ.
Год. Два. Ох, много, много лет.
Мне это по душе, мой свет.
Хочу глядеть на белый свет,
Его оставить мочи нет!

* * *

Надеясь, что кораллы есть на дне,
Я чуть не захлебнулся в глубине,
Но не было на дне коралла —
Течение только тину гнало.

Лишь добрым будь, как солнце по весне,
Придет к тебе почет, казалось мне,
Почета нет и не бывало —
Навек нужда ко мне пристала.

* * *

У света суть четыре стороны,
На скрипочке четыре же струны.
Вас тоже четверо, мои сыны,
Что мне сказать вам? Что вам завещать?

Наперстком пьешь — и то недостает,
Пьешь братиной — и то в достатке мед.
Что лучше, коль живет в согласье род?
Ну, старший сын, как будешь отвечать?

Что голову в сомнении склонил,
Второй мой сын? Есть два конца у вил,
Но сноп один ты, глядь, на них навил.
Сам вдумайся, как это понимать.

Ты ль, третий сын, подносишь ковш старинный
В смущенье мне? Ты стал уже мужчиной...
Хоть средний палец самый длинный,
Все ж трудно одному, ты должен знать...

А кто поцеловал меня с душой?
Не сын ли несмышленый мой меньшей,
В семействе нашем баловень большой?
На нем пусть будет неба благодать!

* * *

Скажите мне, скажите,
Небес прекрасных полотно —
Вот эта синева в зените
Что? Середина или дно?
Скажите мне, скажите.

А солнце пламенное это —
Из нитей золотых клубок,
Кто покатил по белу свету?
Кто этакое сделать смог?
Скажите мне, скажите.

Великая какая сила
Луну, как лысину мою,
И звезды неба округлила
И нашу землю сотворила?
Скажите мне, скажите.

* * *

Забрезжил свет предутренний в окне.
Проворен гребень старой азанне,
Повязывает ловко после сна
Сурбаном белым голову она.

На стеклах окон отсветы огня.
Трещат дрова, доходит до меня
Звук материнских медленных шагов
И запах подрумяненных блинов.

Скрипит калитка. Кто это такой?
Ах, старшая сестра спешит домой.
От хоровода прямо в хлев, видать, —
Корову подоить и в стадо гнать.

Потом невестка открывает клеть
И начинает ведрами греть.
Ее забота — наш пивной котел,
Уже срок варки пива подошел.

Змеєю стань и приползи, мой друг,
Стань ласточкой и прилети, мой друг.
Сядь на налечник и послушай
Напев печальный, безутешный мой,
Пылающую мою душу
Накрой своим крылом и успокой.

* * *

Ай-гай! Напев есть сердцу милый,
Да грудь печаль-тоска стеснила.
Лишь хмель один
Сильней кручин.
Тилли, проверь-ка хмеля силу!

* * *

На небольшой поляночке сухой
Я разложу костер на час-другой.

Лежи, Сарбай, и сторожи уртмах¹,
Я позабочусь, друг мой, о дровах.

Чтоб пала не было, я дерн сниму
И два кола над ямкой подниму,

И маленький, как шляпная тулья,
Свой котелок над ней повешу я.

В нем чай вскипит из липовых цветов...
Но дело есть, пока он не готов.

Уртмах собою кряква заняла —
С нее ощиплю перья догола

И, опалив над пляшущим огнем,
В лопух мы птичью тушку завернем.

Да не забудем мясо посолить
И в огненные угли положить...

¹ Уртмах — мешок, сумка охотничья.

Дичь осенью особенно жирна,
А ножка подрумянилась, вкусна...

Бросаю в воду голову: зато
Их к будущему году будет сто...

Сарбай костями вкусными хрустит.
Он нагулял сегодня аппетит.

Я живу в России*

С винтовкой русской боевой
Я был в краях чужих, далеких.
И днем и ночью — в час любой —
Я чувствовал свой долг высокий.
Чем дальше от родных полей,
Тем с большей повторял я силой,
Как голос совести моей,
Как песню: я живу в России!

Чужую пыль на сапогах
Трава росистая отерла.
Над победителем врага
Родное небо распростерлось.
Чувашский ласковый язык,
Сказанья наши золотые,
Народной мудрости родник —
Все это сберегла Россия!

Я синью глаз не наделен,
Не славянин я крутоплечий,
И волосы мои не лен,
И сердцем я чуваш, и речью.
Но я солдатом русским был,
Так звали все меня народы.
Навек я с детства полюбил
Россию — родину Свободы!

* Перевод *М. Рудермана.*

Были мы, и есть, и будем!

Век за веком, вдаль шагнувшим,
Тащит мудрости багаж.
Ищут книжники в минувшем
Древний, трудный путь чуваш.
Смотрим пристально вперед
И о прошлом нашем судим.
Мысль мне силы придает:
Были мы, и есть, и будем!

Человечество поэты
С лесом сравнивали — что ж! —
Лес разнообразен этот,
Оттого он и хорош.
Думали о нас враги:
«Выкорчует, свалим, срубим!»
Только руки коротки:
Были мы, и есть, и будем!

Неприяни не питали
Мы к соседям в старину,
Но по-своему назвали
Солнце, звезды и луну.
Ясен, словно свет в ночи,
Ум, присущий нашим людям.
И сердцами горячи,
Были мы, и есть, и будем!

Сей, выносливое слово,
В душах гордость — но не спесь!
Сквозь века пройти дано вам,
Чудо-вышивка и песнь!
С этой верой на земле
Самый долгий путь не труден.
В вере сила — как в крыле...
Были мы, и есть, и будем!

«Бедноват язык наш», — бросит,
Сморщив нос, иной чуваш.
Пусть презренье наше сносит

Верхогляд за эту блажь.
Жалок нищий дух таких.
Что ж тогда волнует грудь им?
Пусть сердца прожжет им стих:
Были мы, и есть, и будем!
На большом пути преграды
Одолев в труде, в борьбе,
Сам себе народ награда,
Сам и памятник себе.
Помня время бед и слез,
С клятвой землю поцелуем:
В зной и в слякоть, и в мороз
Были мы, и есть, и будем!



ЯКОВ УХСАЙ

(1911—1986)

Яков Гаврилович Ухсай родился 26 ноября 1911 года в с. Слакбаш Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Белебеевского района Республики Башкортостан) в крестьянской семье.

Первоначальное образование получил в школе крестьянской молодежи, затем учился в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Работал в редакции чувашской газеты «Коммунар», издававшейся в Москве, был сотрудником Научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. М. Гафури при Совнаркоме Башкирской АССР, преподавателем чувашского языка и литературы в Батыревском и Ульяновском педагогических училищах.

Я. Ухсай — участник Великой Отечественной войны. От Волги до Праги прошел он в рядах Красной Армии в качестве политработника и журналиста.

Первое опубликованное стихотворение поэта — «Полюбил я вас, поля» (1929). Широкую известность поэту принесла поэма «Золотая книга народа» (1937). Умело используя образные средства фольклора, поэт добивается художественной выразительности своих произведений, среди которых «Дорога счастья», «Серебряное кольцо», «Соболиная шапка».

Особое место в творчестве поэта периода Великой Отечественной войны занимает поэма «Письмо чувашских бойцов и командиров Н-ской дивизии родному народу».

В стихотворной трагедии «Тудимер» Я. Ухсай воспевает вековую дружбу чувашей с башкирами.

Перу Я. Ухсайа принадлежит ряд очерков и статей, посвященных творческому наследию классика чувашской литературы К.В.Иванова. Он известен и как публицист. Его злободневные очерки и статьи пользовались широкой популярностью.

В своих лучших произведениях «Перевал», «Лебяжье», «Дед Кельбук» Ухсай выступает как большой мастер художественного слова. Видный советский писатель А. Фадеев дал высокую оценку творчеству поэта. «Из произведений большой поэтической формы я должен выделить повесть в стихах чувашского поэта Якова Ухсай «Дед Кельбук» как одно из наиболее интересных и замечательных явлений последних лет», — писал он.

За заслуги в развитии чувашской литературы и искусства Яков Ухсай удостоен почетных званий народного поэта Чувашской АССР, заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР. Ему также присуждены Государственная премия Чувашской АССР им. К.В. Иванова и Государственная премия РСФСР им. А.М. Горького.

Я. Ухсай умер в 1986 году в г. Чебоксары.

Дед Кельбук

Поэма

Детство*

Март. Глухая ночь. В ночи — Принеси богатство в дом! —
Вдруг снега осели, Повитуха пела
И веселые ручьи И отрезала ножом
Гулко зазвенели. Пуповину смело.

Огонечек золотой — Заведи кошель себе
На лучинке тонкой Да звени деньгами... —
Вспыхнул светлую звездой И пошла плясать в избе,
В луже пред избенкой. Топая ногами.

Что за радость для ягнят А сынок и впрямь хорош!
По избе резвиться! Крепкий, чернобровый,
Их прыжкам стонали в лад Был Кельбук румян, пригож —
Скамьи, половицы. Полный да здоровый.

А сверчок-то залился — Жизнь в избенке будет вся
Трели, стрекотанье!.. Счастьем с этой ночи,
Этой ночью родился Потому что родился
Мальчик на кафтане. Мальчуган в сорочке.

* Перевод Н. Чуковского.

Горе матери, отца
Не сказать словами.
Это горе их сердца
Обожгло, как пламя.

Да отец умел смолчать,
Хоть беда большая,
Но зато рыдала мать,
Душу облегчая:

— Злополучный наш сынок,
Ждут тебя напасти!
Пуповинку не сберег —
Век не будет счастья.

Сын их в этой кутерьме
Прыгал и смеялся,
Лихо бегал по скамье,
За котом гонялся.

Но не мог спастись от бед:
Хлоп! И мальчик, воя,
(Пуповинки больше нет!)
Об пол головую.

— Горе! — вскрикнула в углу
Мать, всплеснув руками.
Мальчик бился на полу,
Исходя слезами.

Чтоб сурово наказать
Злые доски пола,
Их поколотила мать
Кочергой тяжелой.

— Боль, отправься к вору
в дом!

И, печась о сыне,
Обкурила лоб грибом,
Росшим на осине.

Чтоб от смерти сына скрыть,
Шубой накрывала,

Чтоб от боли защитить,
Беса выгоняла.

Бес не струсил. Что ему?
И не поперхнулся.
Но зато Кельбук в дыму
Чуть не задохнулся.

И назавтра был крутой
Лоб его отмечен
Синяком величиной
С глаз большой, овечий.

Время мчалось день
за днем.

Кражу позабыли.
Вьюги все леса кругом
Снегом завалили.

Доску взял отец. Слегка
Намочил. Поставил
На мороз. Так для сына
Он салазки справил.

И летел Кельбук с горы
Под откос с разбега,
Раскрасневшись от игры,
Ветерка и снега.

Той порою поп ходил
Из ворот в ворота.
В каждом доме он бранил
Жителей за что-то.

Ладаном дымя, как печь,
Всех ругал он с ходу,
Всем приказывал беречь
Он святую воду.

Вот вошел он, как домой,
Глянул раздраженно:

Салом мазала его
Дорогим, гусиным.

Духом пал совсем отец.
В уголке сидел он,
И, недвижим, как мертвец,
На сынка глядел он.

Дров не может нарубить,
Хоть не слабы руки,
Чай не в силах заварить
От душевной муки.

Задышаться стал Кельбук.
Но, не умолкая,
Раздавался сердца стук,
Смерть не подпуская.

В сильном он роду рожден —
Лист от прочной ветки.
Был он крепок и силен,
И здоров, как предки.

Вспоминают до сих пор
Люди давний случай:
Бочку поднял раз на спор
Дед его могучий.

Сорок ведер в бочку ту,
Говорят, входило.
Нес он бочку на хребту.
Вот что значит сила!

И когда в голодный год
Поднялись крестьяне
И войска пошли в поход
Усмирять восстанье,

Дед оглоблей уложил
Двадцать два солдата,
И в Сибирь он угодил —
Сгинул без возврата.

Если выживет Кельбук,
Ждет его победа —
Отомстит отважный внук,
Отомстит за деда.

Свой не опозорит род,
Жизнь отдаст народу,
Встанет грудью за народ,
Встанет за свободу.

Мчалось время
день за днем.

Долгие недели
Просидели мать с отцом
У его постели.

И пришел в себя Кельбук,
Шевельнул бровями,
Бойко посмотрел вокруг
Черными глазами.

Выскочил во двор отец.
Тут же у порога
Он одну из трех овец
Отдал в жертву богу.

Он родню, друзей привел.
Чтя обряд старинный,
С ними посадил за стол
Дорогого сына.

За столом сидел Кельбук,
Важно слушал речи
И не выпускал из рук
Голову овечью.

Побывало сто ветров
За деревней в поле,
Миновало сто годов,
А быть может, боле.

Прочищая свой чубук,
Вспоминая были,
Рассказал нам дед Кельбук,
Как его крестили:

— Крестный простудил
меня

В одеяле рваном.
И скажу я, не вина, —
Он всегда был пьяным.

Пусть ему среди могил
Сон отрадой будет, —
Все Кельбук ему простил
И его не судит.

Ласково Кельбук глядит
В сторону погоста,
Где семья дубов шумит
Царственного роста.

Предков он почтил своих
Так, что глянуть любо:

На могилах всех родных
Посадил по дубу.

На могиле у отца
Дуб — вершиной в звездах,
И шумит он без конца,
Весь в вороньих гнездах.

Он и деда своего
Не забыл, конечно,
Вспоминает про него
С болью неутешной.

И хоть дед в земле зарыт
Дальней и немилой,
Тоже, верно, дуб шумит
Над его могилой.

Потому что, злой судьбой
В дальний край гонимый,
Дед взял желудь в путь
с собой
Из страны родимой.

Закон бурой коровы*

(Рассказ деда Кельбука)

Нет, не все еще, пожалуй,
Вымерли, кто день и ночь
Молоко коровы палой
И теперь хвалить не прочь.

У таких язык — гадюка.
Почему? Да ты смекни:
Жизни путь для нас был
мука —
Им легко жилось в те дни.

Чувашскую книгу бурая корова¹ съела.

Было масло в их оладках
И сметана в щах всегда —
Потому-то им и сладко
Те выхваливать года.

А коровища-бурена,
Та, что вывели цари,
Книгу правды и
закона
Изжевала, что ни ври.

* Перевод Л. Пеньковского.

¹ Под бурой коровой подразумевалось самодержавие.

Барин в генеральском чине,
Бледный —
нет на нем лица —
Смерти ждет —

по той причине
Кроток ныне, как овца.

А давно ли в страх и трепет
Повергал он мужиков?
Где ни встретит —

в ухо влепит:
«Знаю вас, бунтовщиков!»

А теперь... Но что за штуку
Урдемей с ним разыскал:
— Добрый барин-граф,
а ну-ка...
Скинь мундирчик, генерал!

Тот в ответ:
— Ах, честь имею...
Вот... пожалуйста... — А сам
Надевает Урдмеев
Грязный, латаный азиям.

Урдемей:
— И с лентой красной
Шаровары мне нужны! —
Генерал, на все согласный,
Скидывает и штаны.

Сам в посконные влезает
Он в портки худые... ух!
Барин был, а кто узнает?
Кой там граф?
Мужик-пастух!

А была еще на графе
Кунья шапка. Урдемей
Снял, примерил:
— Во потрафил
Барин шапкой мне своей!

Генерал от страха даже
Будто разум потерял.
Урдемей кричит в кураже:
— Сам теперь я генерал!

Мужики глядят — хохочут,
Надрывают животы,
Те свистят, а те гогочут —
Было графу срамоты!

Испугались шума кони —
Как взвились, как понесли,
Генерала в фэзтоне
Этим только и спасли.

Понесли в жнивье. Коляска
Прыгает, гремит, гляди,
Барину такая тряска
Сбавит брюхо, погоди!

Ну, а дядя Урдемей-то?
Вишь, как голову задрал:
Не солдат и не ефрейтор —
Настоящий генерал.

Чистым золотом пылают
Эполеточки на нем.
— Граф! Царю он, Николаю,
Сродственничек!.. Признаем...

Из добротного товара
Генеральский тот мундир,
А спадают шаровары —
Не беда, зато без дыр!

Все хохочут до упаду,
А выходит дед Кельбук:
— При таком бы чине надо,
Чтоб не так был куц чубук!

— Чубуки для генерала
Из рябины хороши!

Сам собою рассуждает
Урдемей, плетясь домой. —

На перине хоть немного
Отдохнет душа авось...»

— Шапка где? —
спросила строго
Баба дома... Началось!

— Шел я это, значит,
мостом...

Шел... а ветер тут назло...
Как задул... и очень просто...
Мигом шапку-то снесло.

Я к реке... ну что есть духу...
Да ведь сил у старика —
Хватит ли?.. Смекай,
старуха:

Шапку унесла река...

Уши этой отговоркой
Всем успел он прожужжать.
Время шло —

пришла уборка,
Стали хлеб на поле жать.

Под вечер случилось дело:
Жнейку лошади везли —

Перепелочка взлетела
Словно бы из-под земли.

Где гнездо перепелицы?
— Бабоньки, глядите, во! —
В куньей шапке молодницы
Обнаружили его.

Урдемей скребет затылок:
Что тут скажешь?

Лги не лги —
От насмешек, от ухмылок
Просто с поля хоть беги.

Очень стыдно... А старуха,
Урдемеева жена,
Размахнулась. Раз — и в ухо!
Дважды, трижды:
— На, на, на!

Это за твой ветер — помни!
Это за твой мост даю.
Это вот за стыд огромный —
За себя, за всю семью!..

Без намерения злого
Ложный мост мостить
привык,
Но теперь сказать ни слова
Не решается старик.

Беседа деда Кельбука с дедом Ахметом*

Ахмет-агай, кунак мой,
здравствуй!
Какой приятный гость идет!
Приходишь ты ко мне
не часто.
Тебя бочонок пива ждет.

Мы были, друг,
черноволосы,
Но времени не сдержишь бег,
Прошла весна,
за летом — осень,
И побелил нас зимний снег.

* Перевод Н. Чуковского.

— Стой! Не уйдешь, Ахмет!
В погоню —
Со мною все мои друзья.
Как ветер мчались наши
кони,
И всех быстрее мчался я.

За Волгою
в степи пустынной
Погоня вора догнала.
Тяжелою своей дубиной
Тебя я вышиб из седла.

Уж мы тебя тогда связали
И по рукам, и по ногам,
Заткнули рот,
коней погнали
И привезли в деревню
к нам.

На лбу твоём доньне метка,
Я вижу, старая цела.
Рука моя разила метко
И, видно, тяжела была.

В былое время конокрада
Жестоко избивал народ.
Тебя побили без пощады
И в погреб кинули,
на лед.

Солнце утром
поднялось,
Обещая жаркий день,
Великанскую отбросив
От меня на горы тень.

Сбежал ты ночью
легкой тенью,
Был погреб наш наутро пуст,
Ты на своем пути к спасенью
Закапал кровью каждый куст.

Вот как мы были злы
когда-то!
Как дружба нам была чужда!
В тот мрачный век,
в тот век проклятый
Всех разделяла нас вражда.

В тот дикий век...
Пусть даже имя
Его забудут! Сгинул он.
И сами стали мы другими,
И ныне дружба — наш закон.

И если бы любила ныне
Меня Зейнаб, как в те года,
Ты сам бы дочку на машине,
Наверное, привез сюда.

Все справедливей,
благородней
Теперь, чем было встарь...
Давай
За дружбу выпьем
мы сегодня,
Старинный друг, Ахмет-агай!

Кельбук и Урдемей*

Солнце утром
поднялось,
Обещая жаркий день,
Великанскую отбросив
От меня на горы тень.

Я иду легко и скоро,
Легкий весь, как птичий пух,
Что ни вижу —
радость взору,
Что ни слышу — нежит слух.

* Перевод Л. Пеньковского.

За пеньки в лесной опушке
Задеваю сапогом,
И с пеньков грибы-гнилушки
Разлетаются кругом.

Свистну — звон стоит в ушах,
Мастер я свистеть сквозь зубы,
И будить мне свистом любо
Птиц в лесу и в камышах.

Я иду тропинкой горной —
Вижу зыблющийся луг,
И сама из сердца в горло
Звонко льется песня вдруг.

Слышу — иволга запела,
Все за ней поют в лесу...
Юность — ту, что откипела,
Снова я в себе несущу.

Вот он пень, что без ошибки
Я и ночью бы нашел:
Для моей был спилен зыбки
Той березы белый ствол.

Старый пень мне по колени;
Сам он мертв, а из корней
Вон какое поколенье
Подросло с тех давних дней!

«Наша мать тебе служила
Колыбелькою, поэт,
Так прими,
 земляк наш милый,
От ее детей привет!»

Так шептали мне как будто
Листья молодых берез.
Их приветом в ту минуту
Я растроган был до слез.

Березняк пройдя и ельник
И изрядный сделав кряк,

На поляне вижу пчельник,
Сторожит его Кельбук.

Года три-четыре, верно,
Не видал я старика.
— Как здоровье, дед?
 — Не скверно.
— Как глаза?
 — Да зряч пока.

...В этой длительной разлуке
Где я только не бывал,
Но нигде я о Кельбуке
Никогда не забывал.

Я хотел, чтоб он известен
Был во всем краю родном,
И поэму — дело чести —
Написать решил о нем.

Говорят мне:
 «Много слишком!»
Критик мой,
 не будь так строг:
Сердцем писанную книжку
Можно ль мерить
 счетом строк?

...Над травой
 да над цветами
Мельтешат — пестры, яркие, —
На цветы похожи сами,
Бабочки да мотыльки.

А кругом — все улья, улья...
Двести... двести пятьдесят...
Пчелы носятся, как пули,
Как базар, жужжат, гудят.

У приземистого дуба
Делом занят дед Кельбук:
Из размоченного луба
Вьет веревки старый друг.

Волосы у дяди длинные,
В скобку стрижен, — в волосах
Рой запутался пчелиный,
В бороде, гляди, в усах,

На бровях и на ресницах,
По всему лицу кишат,
Ищут матку — их царицу,
Суетятся и спешат.

Друг на дружку наседая,
К уху левому пролезть,
Где царица молодая
Сдуру вздумала засесть.

Вот напасть на Урдемея!
Словно каменный, сидит,
Глаз и рта открыть не смея,
И, как улей, весь гудит.

— Урдемей!

Но он не слышит:
Пчел в ушах его полно.
Дышит бедный иль не дышит,
Умер, может быть, давно?!

Но во рту, однако, дядя
Стиснул трубку, как привык,
И в руке, хоть и не глядя,
Держит удочку старик.

К Урдемею подошел тут
Дед Кельбук, его дружок,
Он припас половник желтый,
Головешку, бурачок¹, —

Стал окуривать он друга,
Пчел хотел собрать в бурак,
Урдемей же с перепуга
Весь задержался, да как!

Дым уж очень был
едучий, —
Кашлял, кашлял Урдемей,
И его, как в злой падучей,
Стало корчить все сильней.

Крикнул дед:
— А ты не дрыгай!
Коль не можешь

дым снести,
Так немедля
в воду прыгай:
— Должен ты себя спасти.

Урдемей услышал — понял,
Что сулил Кельбуков крик,
И в чем был,
как бы спросонья
Или спьяну, — в воду прыг!

Прыг — и словно камень
в воду

Пчелы всплыли,
как овес,
А Кельбуку-пчеловоду
Юных пчелок жаль до слез.

Урдемей ныряет ловко,
Но ведь омут, ох, глубок!
Трубка с медною оковкой
Выплыла, как поплавок,

И, подхвачена теченьем,
Мчится в пене мимо нас.
Урдемея нет!.. Мгновенье
Длится, тянется, как час.

Ждем мы, ждем, в надежде
робкой

¹ Бурачок — берестяной коробок.

Смотрим на воду — и вот
Он выныривает пробкой
И за трубочкой плывет!

— Ну, поймал! — кричит он
хрипло,
Видимо, озяб в воде.
К нам подплыл, глядим —
налипло
Много тины в борде.

Сенокос*

Сенокосная страда,
Труд горячий сенокосный!
Были в мирные года
Косари у нас — что сосны.

Но мужчин-богатырей
На войну
пришлось отправить,
И на жен и дочерей
Косы им пришлось оставить.

Только ржа не съела кос:
Девушки и молодницы,
Даже дети на покос
Вышли нынче потрудиться.

Несколько мужчин тут есть —
Больше, так сказать, для виду.
Но приходится учесть:
Раненые, инвалиды!

Были б кости — полбеды,
Нарастет и мясо дома.
Даже от родной воды
Сил прибавится иному,

Родина растит сынов
С героической душою,

И фигурой трехаршинной
На берег, не торопясь,
Вылез он,
украшен тиной...

И, за удочку схватясь,
Леску он в мгновение ока
Дернул, вытянул струной —
И форель длиною в локоть
Шлепнулась передо мной.

Чтоб для счастья, для трудов
Мирно жить семьей большою.

Только тем, кого война
Обезручит, обезножит,
Новых рук и ног страна
Отрастить уже не сможет.

Этой думой огорчен,
Сразу стал Кельбук
печальной,

Но от грусти отвлечен
Был он звоном наковальни.

...Смолоду силен он был,
И в работе ненасытен,
И особенно любил
На лугах траву косить он.

Да, в косьбе он был горяч.
А заметит где поодаль,
Что отстанет, как дергач,
Шею вытянувший лодырь,

Хоть шагов пять-шесть всего
И прошел с косой
на пробу, —

* Перевод Л. Пеньковского.

У Кельбука на него
Закипала в сердце злоба.

А когда все косы враз —
Вшшик да вшшик —
 засвищут дружно,
Большей, даже и сейчас,
Радости ему не нужно.

...Силу к старости сдаешь
Год от году, понемножку,
И становишься похож
На печеную картошку.

Разве только человек?
Не стареет ли и камень?
Дуб в него пустил побег
И буравит корешками.

Но неужто потому,
Что он стар,
 что ноют кости,
На печи лежать ему
Без работы?
 Нет уж, бросьте!

Коль за жизнь свою народ
Бой ведет святой,
 смертельный, —
Стар Кельбук, седобород,
А не станет жить бездельно.

От людей к нему не зря
Уважение такое.
И, короче говоря,
Дед пока не на покое.

Косарем хоть не бывать —
Тут уж не в своей
 он власти, —
Но ведь косы отбивать
И натачивать он мастер!

Хорошо отбил иль нет?
Жестким стебельком по жалу
Проведет легонько дед:
Хороша! Хоть брей, пожалуй!

— Ну, красавица, коси,
Да чтоб небу стало жарко.
А на свадьбе поднеси
Мне вина большую чарку!

Обойди район кругом —
Не найдешь косы острее.
Так вдобавок пирогом
Ты попотчуй, да щедрее.

— Сношенька, войны конец
Близко. Будь сама здорова, —
Муженек твой, молодец,
Жив приедет, право слово.

Да и твой сынок-герой,
Доченька, вернется вскоре.
Победим — и пир горой
Зададим, забудем горе!..

С каждой так поговорит —
Вроде бы язык почешет,
А сердечко ободрит,
Словом ласковым утешит.

... Люди косят и поют.
Труд кипит, кипит забота:
Больше сена! Ведь и тут
Оборонная работа.

Труд веселый — сенокос!
И не молкнут ни минутки
Говор, смех, жужжанье ос,
Детский визг, свистульки,
 дудки.

С места не сходить весь день —
Это даже некрасиво.

Встал Кельбук,
стянул ремень
И пошел неторопливо.

Сено девушки с детьми
Граблями сгребают в копны
И отвозят лошадьми
К стоговищам расторопно.

Держит вилы Урдемей,
Стоя на вершине стога.
— Друг Кельбук, —
он крикнул, — эй!
Вот справляюсь понемногу!

Повертев над головой
В знак привета
шапкой старой,
Дед сказал:
— Пусть будет твой
Стог стожаром
под Стожары!

Этим тронут глубоко,
Урдемей свой старомодный
Снял картуз и высоко,
Нацепив на вилы, поднял.

...Дальше, как велят года,
Дед неторопко, степенно

Направляется туда,
Где бригада косит сено.

С наковальней не придешь,
Будь хоть молодой и сильный,
А брусок точильный,
что ж, —
При себе брусок точильный.

— Коль нужды в отбивке нет,
А достаточно подточки,
Тут на месте может дед
Подточить вам косы, дочки!

— Ой, спасибо! — слышит он.
— Вот моя неважно косит... —
И к нему со всех сторон
Косы женщины подносят.

Тронул косу дед бруском,
И в его руке умелой,
Словно скрипка под смычком,
Сталь на голоса запела.

Словно скрипка иль гармонь —
Грусть в той музыке и пляска.
Стар Кельбук, а душу тронь,
Вся — что песня,
вся — что сказка.

Радуга*

Ненасытно в жизнь
влюбленный
Человек с большой душой,
Дедь Кельбук идет зеленой
Сельской улицей большой.
Теплый дождь прошел,
и манит

Голубая даль небес,
И на что старик
ни взглянет —
Все прекрасно: поле, лес.

Вдоль дороги, по омытой
Щедрым дождиком траве,

* Перевод Л. Пеньковского.

Я молочу снопы свои, и зерна
Рифмуются, как со стихией стих.
Зимую соловьев кормлю отборных,
А по весне пускаю в люди их.
И соловьи мои поют поныне
В живом саду поэзии родной,
И грежу я порою без гордыни,
Что в общем хоре слышен голос мой.
Я горд и счастлив творческим соседством.
О друг-поэт! Свой личный стог сложив,
Ты пой, как можешь, только бы от сердца, —
И в памяти людской ты будешь жив.
И если ты и впрямь поешь неложно
О том, что всей душою пережито,
Тогда и нос задрать, пожалуй, можно,
Но только так, чтоб не видал никто.

Меня татаринoм считают*

Меня татаринoм считают,
Чай приглашают крепкий пить
И добродушно предлагают
Мне тюбетеечку носить.

Похожестью, врагам в угоду,
Пренебрегать ли чувашу?
Татарский честный облик гордо
Я с дня рождения ношу.

Глаза татарские, большие,
Широких, крепких скул разлет...
Татар встречаю не впервые,
Любой из нас меня поймет.

С Мажитом Гафури¹, бывало,
Не раз я по Уфе гулял,
Тогда — ни много и ни мало —
Большим поэтом стать мечтал.

* Перевод М. Светлова.

¹ Мажит Гафури — башкирский поэт.

А на дому, меня встречая,
Кипел пузатый самовар,
Мне Гафури стаканчик чая
Преподносил, как песню, в дар.

Мечтал я, приложив усилъя,
Поэтом стать таким, как он,
Неоперившиеся крылья
Мечтали мчаться в небосклон.

И, ногу на ногу закинув,
Еще не признанный поэт,
Татарских песен строй старинный
Я пел в свои семнадцать лет,

Поэтом необыкновенным,
Как Гафури, хотел я стать,
Вот почему на мне, наверно,
Его поэзии печать.

Как будто в прошлом недалеком,
Как будто нынче наяву,
Муса Джалиль¹, беря под локоть,
Показывает мне Москву.

Душою необыкновенной
Мусы хотел я обладать,
Вот почему на мне, наверно,
Лежит татарина печать.

В Казани часто я бываю
И при Джалиле там бывал,
Хоть и чуваш я, но Ухсая
Все ж не один татарин знал.

Иду по улиц анфиладам,
И зелень буйствует вокруг...
Хасан Туфан² со мною рядом —
Мой давний седовласый друг.

¹ Муса Джалиль — татарский поэт.

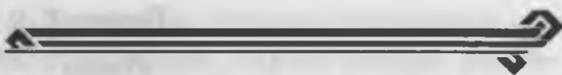
² Хасан Туфан — татарский поэт.

Его душа всегда близка мне,
Иду, с ним думы все деля,
Пусть под ногами только камни,
Но мягкой кажется земля.

Так хочется невероятно
Мне, как Туфан, уметь писать!
Вот почему на мне, наверно,
Лежит татарина печать...

Все добродушно предлагают
Мне тюбетеечку носить,
Так люди эти мне желают
Счастливым быть и в дружбе жить.

Похожестью, врагам в угоду,
Пренебрегать ли чувашу?
Татарский честный облик гордо
Я с дня рождения ношу.



ХВЕДЕР УЯР (1914—2000)

Хведер Уяр (Федор Ермилович Афанасьев) родился 19 апреля 1914 года в д. Сухари-Матак Бугурусланского уезда Самарской губернии (ныне Иса克林ского района Самарской области) в семье крестьянина. Учился в начальной школе, Самарской школе 2-й ступени, Хабаровском педагогическом техникуме, Благовещенском и Чувашском педагогических институтах.

Работал табельщиком, печником, учителем, литературным сотрудником Чувашского радиокомитета, сотрудником редакции сатирического журнала «Капкӑн», директором Книжной палаты.

В дни Великой Отечественной войны писатель находился в рядах действующей армии. За проявленные мужество и отвагу награжден боевым орденом и медалями.

Начало творческой деятельности относится к 1930 году. В журнале «Капкӑн» был опубликован его первый рассказ «Не зная толку».

Хведер Уяр — автор многих рассказов, очерков, путевых заметок, воспоминаний. Он известен и как переводчик. Им переведены на чувашский язык рассказы А.Чехова, Н. Гарина-Михайловского, Евг. Габриловича и др.

Одним из лучших произведений Хведера Уяра является роман «Тенета», представляющий широкую картину жизни, труда и классовой борьбы в чувашской деревне накануне Акрамовского восстания 1842 года, в котором принимали участие чувашские, марийские и русские крестьяне. Роман был переведен на русский язык и тепло принят читателями. Известный советский писатель Е.Федоров писал: «Роман «Тенета» — большая творческая победа писателя. Этой книгой писатель вышел на большую дорогу, которая ведет в подъем. Роман по глубине чувств и по силе мастерства вправе занять место среди лучших произведений нашей современности».

Народный писатель Хведер Уяр умер 9 июля 2000 года.

Тенета*

Роман

(В сокращении)

Яриле

Блажен, кто верует,
тепло ему на свете.

А. С. Грибоедов

Отец Ухтивана любил ночную пору. Вечно всех и всего боявшийся днем — и Бога, и чертей, и односельчан, а пуше всего чиновников, в особенности дьяка, — ночью он ощущал себя сильным, свободным, смелым. Днем же стыдился перед людьми своей рваной одежды, покосившейся избенки, такой же худой и старой, как сам хозяин, лошаденки. Ему казалось, что все разговоры с соседями уже переговорены, наперед знал он и будущие беседы: нехватки, непосильные налоги, охи-вздохи по уведенной конторщиками скотины... Нет, этой жизнью Яриле был сыт по завязку.

В нем будто жили два человека. Один — бедный, жалкий и больной, немногословный, говоривший с людьми униженно, глядевший на них застенчиво и беспокойно, старавшийся поскорее закончить разговор; он словно боялся, что люди вдруг нечаянно разглядят в нем другого Яриле, и никогда не смотрел им в глаза.

Второй Яриле был совсем другой. Он любил жить ночью, постоянно пребывая в каком-то полусне и мечтая о богатстве. Ночью он забывал все нанесенные ему жизнью тумаки и обиды, все боли и горести. Этот Яриле был крепок, как корень осота, живуч, как ивовая ветка, силен и упорен, как течение реки. Никто не мог отнять у него мечты о богатстве. Случалось, за неуплату налогов его избивали, увозили в каталажку. А он, оставшись один, снова начинал сматывать клубок сладких мечтаний, восстанавливать свое разрушенное гнездо грез, тесать камни, валить лес...

Женившись, Яриле задумал было скопить денег на рогожах. Вбил посреди пола столб с перекладиной; провозившись несколько ночей, сделал косарь со скалкой. Привез с ишакского базара блок, иглы, бердо...

* Перевод З. Романовой.

И закипела работа. В маленьком, словно скворечник, домике Яриле день и ночь стояла пыль, стучал косарь, свистела игла...

За месяц Яриле наткал изрядную кучу рогожок. Но нить жизни рвалась то в одном, то в другом месте. Едва свяжет Яриле одни концы, глядь, распустились другие. Осенью утонула в болоте единственная корова. Потом лихие люди украли с поля копны необмолоченного хлеба...

Растерялся Яриле. Неделю ходил как потерянный, ночами не спал, вскакивая, смолил трубку. Силился понять, за что судьба так сурова к нему. Со всем мирится Яриле, со всеми в ладу живет, почему же жизнь на него волком смотрит? Был бы он душой сквалыга или еще какой проходимец, а то ведь мухи не обидит! Пойдет за водой — обязательно вудыша — водяного умилостивит: хоть малую кроху хлеба да бросит в колодец, да и молитву еще прошепчет: «Бисмилле¹, спаси нас, грешных». А раз в году потчевал его даже масляной кашей. Правда, яйцами не угощал — кур не было у Яриле, может, потому и прогневался на него вудыш, забрал корову... Кто-то сказал ему, что на него киреметь рассердился, потому, мол, и корова сгнула. Яриле тут же зарезал барана и поднес киреметю жертву, хотя сам увяз в несметных долгах.

Летом, в жару, часто случались пожары. И Яриле старался умилостивить бога огня — пек семиугольную лепешку, варил жертвенную кашу, приговаривая: «У бога руки коротки — да пусть они удлинятся, у огня руки длинные — да пусть они укоротятся. Может, прогневали тебя ребятишки, плюнули на огонь, вот я и стараюсь их грех замолить. Спаси и помилуй, не насылай на нас пожаров».

Несмотря на вечные нехватки, Яриле поминал всех усопших, подкармливал всех богов и божков, разбивал лоб перед всевышним — ничего не помогало. Жизнь прижимала и прижимала его изо дня в день.

Старался Яриле, но не хватало силенок. И хотелось ему раздвоиться: чтобы одним днем делал все, что делают люди, — работал в поле, глядел скотину, разговаривал, боялся, а другой, любимый им, оставался бы при нем, был бы его отдушиной.

¹ Молитвенное начинательное возгласие.

В тридцать пять лет Яриле занялся хмелем.

«Богатеют же люди. Может, и мне улыбнется судьба, может, и я, как хмель, взберусь наверх», — думал он.

Кто знает, может, и взобрался бы Яриле повыше, одно помешало ему: счастье-то его было такое же ненадежное, как хмель, и ветру, и дождю подвластное. Уродился хмель — цена на него упала, всей выручки не хватило даже налоги уплатить. Оставшись без хлеба, Яриле залез в долги с самой осени.

В год, когда родился Ухтиван, он надеялся собрать большой урожай со своего надела. Пропадал в поле и днем и ночью, полон сорняки, рыхлил землю, оттаскивал камни. Он знал каждый колосок на своем поле, вокруг загона протоптал аккуратную тропку. Ночью, слушая, как хрумкает свежей травой спутанная лошадь, и глядя в далекое звездное небо, он мечтал о том, сколько у него уродится хлеба, и тут вспоминал о богачах, кому должен... В голове зрелого человека в эти минуты рождались по-детски наивные мысли: эх, вот бы всех, кому он должен, до единого поразило громом! Бывает же, погибают невинные люди, почему бы богатеев не ударить грому-батюшке?

И тогда у Яриле остались бы целыми три пуда зерна, и не ходил бы он впредь по займам, а годика через два-три сумел бы коровенку завести...

Три-четыре лета подряд Яриле и вправду удавалось собрать немного больше зерна, чем остальным. Он рассчитался с долгами. И хотя сам остался толщиной с кнутовище, в душе все же ощущал удовлетворение и легкость. Однако коровы в его дворе так и не появилось.

На Яриле свалилось новое несчастье: и без того плохо видевшая жена простудилась и ослепла совсем. Не зря же говорят, где тонко, там и рвется. Яриле, закусив до крови губы, упорно продолжал стоять на своем: разбогатеть, разбогатеть, выбиться в люди... Как, чем — он еще не представлял, но верил твердо: когда-нибудь он все равно займет достойное место среди людей...

В тот год, когда Ухтиван в отчаянии ушел из дому, как-то темной осенней ночью Яриле возвращался полем с базара. Вдруг его сзади настиг топот ног, тяжелое дыхание. Перепуганный старик хлестнул лошадь вожжами, и та изо всех сил

понесла его к деревне. Но преследователи не отставали; со всех сторон сверкали зловещие огоньки, они приближались.

«Ну, пропал я», — подумал Яриле, но не растерялся, а решил «откупиться»: сунул в колпак вырученные на базаре 60 копеек — на уплату налога — и бросил на дорогу. Но грабителей, видать, не устроила эта мзда — они продолжали гнаться за ним. И вот уже один из них плюхнулся в телегу. Глянул Яриле на «вора» — и обмер: на телеге сидел косматый мишка. Лошадь захрапела, вздыбилась и понесла. Но волки тоже не отставали. Оказывается, они гнались за медведем, а не за Яриле. Мимо мелькали только мосты, перелески, межевые столбы. Телега, где касалась земли, где летела над нею. Медведь, подпрыгивая вместе с телегой на ухабах, не сводил своих маленьких глаз с преследователей-волков. Ураганом прилетела лошадь с двумя седоками к дому Яриле. Ворота отскочили от нее, как зернышко овса.

Медведь, опомнившись, понял, что спасся от волков, охая и крича, вывалился из телеги и поковылял в огород...

Утром Яриле поразился еще больше. В его обнесенном плетнем дворе жевала солому соседская белая овечка. В огороде Яриле стоял их же улей. А чтобы овечка не сбежала, калитка была подперта огромным пнем.

Так «отблагодарил» медведь Яриле за свое спасение. Соседи сочли это божьим провидением и не стали возвращать себе овцу и улей: а вдруг медведь прознает и вернется обратно?

«Это же мне сам Пюлех¹ указывает дорогу к счастью!» — обрадовался Яриле и принялся изо всех сил разводить пчел и овец.

Но судьба гнула свое. Уж и волосы у Яриле побелели, и лицо сморщилось, словно печеное яблоко, а богатство к нему так и не приходило. Мало того, ушел из дому Ухтиван; не вынесла дольше злой юдоли жена — умерла в тот же год...

Выйдя в огород, Яриле часами смотрел на дорогу. Ждал, когда вернется сын, и глотал слезы, вспоминая себя таким же молодым и сильным, как Ухтиван. Бывало, засыпал прямо за столом, с ложкой в руках, а проснувшись от стука от выпавшей из рук ложки, торопливо начинал хлебать остывший шюрбе — похлебку.

¹ Добрый языческий бог.

Но мечты его не старились и не менялись с возрастом, были все те же — молодые, отчаянные.

Накануне возвращения Ухтивана в Шургасах побывали царские чиновники. К моменту их появления деревня замерла словно перед грозой. А потом из караульной избы до самого вечера неслись тяжкие стоны, плач, проклятья, мольбы о помиловании...

Позвали в караулку и старика Яриле. Пошел он туда на своих ногах, а обратно его привезли на лошади и сбросили у двора. На ту же подводку погрузили его последних двух овецек.

Выходило по пословице: «Бог дал — Бог и взял...»

Теруш Заяц, Нягусь и другие

Конторщики не приехали ни завтра, ни послезавтра. Прошла целая неделя. Но от этой неизвестности было еще тревожнее. В каждом доме ждали какую-то, пока неизвестную, беду. Стоило слышать на улице скрип плохо смазанных дегтем колес, как детвора врасыпную бежала по домам. Оставляли свои дела и взрослые, напряженно вслушиваясь в звуки.

А по деревне всюду один и тот же разговор. Тихо, с оглядкой, люди и днем и ночью говорят об одном и том же: земля тесна, дождя нет бог весть с какой поры и будет ли, налоги непосильны...

«Обычаи предков наших не блюдем, киреметю не поклоняемся, грешим», — сетуют старики.

Многие голодают в деревне.

А проходящие в деревню и уходящие из нее приносят и уносят новые слухи. Говорят, что решено самые лучшие земли нарезать богачам; мужиков, мол, скоро заберут куда-то рубить камни, город строить; чувашей отдадут навечно хозяевам...

Чувствуют люди: дыма без огня не бывает. За словом жди дела. В то же время теплится и какая-то надежда на спасение. Кто-то ездил на базар и привез радостные вести о храбром солдате Григорьеве и отважном Паладае...

В один из вечеров в деревню вошли лудильщики-черемисы. Из их слов шургасинцы узнали, что большинство увезенных конторщиками овец подошло во дворе управы. Эта вест

прямо потрясла деревню. А Яриле, так еще и не оправившийся от побоев, услышав это известие, свалился вовсе.

Целую неделю провел возле отца Ухтиван. И всю неделю клокотала в его душе злоба на кровожадных чиновников. Так и хотелось пойти и разнести в пух и прах всех становых и стражников, а потом подпалить и саму контору, а пепел по ветру развеять. Хоть одним злом стало бы на земле меньше! Боль за отца, обида, ненависть переполняют его молодое сердце. Он распахивает единственное оконце, дверь, выбрасывает затычку из волокового отверстия, развязывает тесемки ворота — ему душно... А Яриле плохо, все лежит, охает, стонет во сне, бредит пчельником, окликает Ухтивана...

Когда старику стало немного лучше, он попросил Ухтивана достать ему из сюрсе белую рубаху, умылся, пригладил волосы. Он еще больше осунулся, пожелтел. По-старчески шаркая ногами, подошел к очагу, подвесил котелок с крупой: каши захотелось.

— Может, ты эту крупу для дела приберегал, отец? — спросил Ухтиван.

— Живы будем — не помрем, и для дела вдвоем сумеем, поди, наработать...

Пообедав, Ухтиван сразу ушел пасти лошаадь.

«На что надеется, во что верит народ?» — думает Ухтиван, лежа в тени ивняка.

Он перебирает в памяти всех, с кем разговаривал со дня приезда. И каждый из них доведен до отчаяния — кого-то конторщики обобрали до нитки, кого-то избили до полусмерти... Только уж больно особнячком держатся его односельчане, друг друга сторонятся! У каждого свой интерес, свои заботы и надежды. Взять, к примеру, хотя бы дядю Касьяна. У него все помыслы, все дела вокруг дочери: «Савдеби нынче туда-то ушла», «Савдеби так-то сказала», «Савдеби эдак сделала...» Если же речь пойдет о чем-нибудь другом, он словно себя запирает на замок, не видит и не слышит ничего, хотя глаза живо следят за всем. Или его же отец Яриле. Он и во сне-то только и бредит пчельником, который сделает его наконец богатым...

И еще заметил Ухтиван: бедные люди не больно любят говорить о льющейся через край, годами скопившейся нужде и обиде, больше слушают. Правда, стоит кому-нибудь

начать разговор, тут уж языки развязываются. Но иных ничем, кажется, не расшевелишь. Вот Теруш Заяц. При одном воспоминании о нем Ухтиван растянул губы в улыбке. Его ведь ничем не проймешь. Скажи ему, мол, завтра конец света, он и бровью не поведет: стало быть, так и надо. Когда Ухтиван спросил его, как он поживает, Теруш весело ответил:

— Хорошо, уж так хорошо, Ухтиван! Как барин живу! И то сказать: ежели Терушу Зайцу плохо живется, так кому же хорошо-то тогда? Хожу вот да песенки насвистываю!

Низенький, худенький, с вечно слезящимися глазами, он действительно ходит как заяц — высоко поднимая ноги, словно боится запнуться. И, пожалуй, в этом восторженном восприятии всего окружающего и есть его спасение. Купается ли он на речке — его ликующие возгласы разносятся далеко вокруг: «Ай-яй, красота-то какая! Благодать-то какая! После этого и умереть можно — при жизни испытал райскую благодать!»

Можно подумать, что он бултыхается не во взбаламученной стадом грязной воде, а купается в молочной реке с кисельными берегами.

Людей он не чурается, любит поговорить с ними, умеет к месту вставить острое словцо. Про него рассказывают, как однажды он проучил жадного соседа, который угостил его жидким-прежидким пивом. Выпив ковш, Теруш от удовольствия стал потирать свой живот, нахваливая пиво и хозяина: «Ну, пиво так пиво! Такого, пожалуй, сам царь не пробовал! И как только ты сумел его сварить? Другой раз выпьешь ведро — и ни в одном глазу, а тут полковшика — и с копыт долой! Эх, в голову-то как ударило! Старуха моя сейчас подивится: минуту назад был трезвый, а сейчас гляди каков? — И он уронил голову на грудь и согнул колени. — Ну не пиво у тебя, шербет настоящий! Учучу свою дуру старую, как варить, нет, не соображает, карга безмозглая...»

Сосед по мере того, как Теруш расхваливал его пиво, все пунцовел и пунцовел, хотел даже обидеться, но ведь перед ним был Теруш Заяц!

Над Терушем беззлобно посмеивается вся деревня, но в любом доме он встречает привет и его приглашают на все застолья. С ним легко людям: всегда он весел, добродушен.

Ничто, кажется, не может его повергнуть в уныние, тем более — в отчаяние, огорчить: таков уж его нрав от природы.

Раз в неделю Теруш варит мясной суп. Мясной — это одно название, мяса там воробьиный нос, но зато разговоров Зайцу хватает на целую неделю. Вылебаёт он этот «мясной» суп без хлеба, его у него почти не бывает, и пойдет каждому встречному рассказывать: «Ну и навалился я нынче на мясо! Поди, не всякий улбуг¹ постольку ест. Теперь до завтра лежи, Заяц, на печке и поплевай в потолок».

Зимой он собирает дохлых собак, кошек, свиную щетину. Запряжет в сани старого, пузатого, как бочка, мерина, а сам стоит на коленях в передке. Он никогда не садится, говорят, болезнь какая-то ему сидеть не позволяет. Для блезиру размахивает над старым меринком кнутовищем, а тот знай крутит хвостом, словно мух отгоняет. Так и снуют от деревни к деревне.

Нет ничего лишнего у Зайца — ни богатства пышного, ни бедности вопиющей. Как жил он года три-четыре назад, так живет и нынче: один у него меринок, одна коровенка, одна овца. Избенка клюнула коньком вперед, того и гляди шагнет на середину улицы. Причем с незапамятных времен стоит она в такой позе. И мерин у него, сколько помнит Ухтиван, все тот же, пожалуй, уже лет тринадцать-четырнадцать. Бегать он, правда, и в молодые годы бегал не быстро, не валко и сейчас так же трусит, но мастью вроде поседел, сделался какого-то зольного цвета.

Ясное дело — с ленцой Заяц, чего уж скрывать. Неспроста и корова у него доится раз в сутки, а то и двое. Проголодается — вспомнит про кормилицу, сыт — и в ус не дует. А как у него зимой кормится скотина? И смех и грех. С осени Теруш весь ячмень и солому свозит с огорода во двор. Ячменную солому он сваливает в один угол коровника, ржаную поднимает на повети, остальное, неуместившееся, складывает прямо на крышу. И вот всю зиму тощая, как бритва, корова Теруша дотягивается до корма сама, тем и жива останется. Как станет ей не под силу себя обслуживать — не дотянуться уж ей до соломы, высоко слишком, «добросердый» хозяин сталкивает промерзшую насквозь солому с крыши сарая. К

¹ Богач.

весне обе животины становятся под стать надворным постройкам Зайца — так и кажется, что меж ребер у них гуляет ветер.

Еще в деревне рассказывают, как в одну вьюжную ночь Теруш враз потерял и корову, и лошадь. Вышел рано поутру во двор — нет скотины. И ворота заперты, и следов не видать, а животные исчезли. Заметался тут Теруш, бьет себя по ляжкам, бежит к соседям: так и так, мол, обчистили за ночь, остался гол как сокол. Сбежались люди, глядят — двор весь занесен сугробами. Ткнули один сугроб лопатой — он и зашевелился, а из-под снега, словно мышь из-под овина, вылез как ни в чем не бывало бедолага-мерин. Встряхнулся недовольно, что выкурили его из тихого пригретого места, и поковылял на новое лежбище.

Кто рассмеялся, кто в сердцах выругал Теруша, но делать нечего, надо корову теперь искать. Туда-сюда потыкались — нет коровы.

— В каком хоть углу она у тебя всегда стояла? — спрашивают.

— Вот тут, — указал Заяц.

Копнули тут — нет, поискали в другом конце двора — тоже без толку. И вдруг в самой середине двора показались... рога черта-дьявола! Еще не рассвело, так в этой предутренней хмари некоторых прямо оторопь взяла. Кто-то все же осмелился, тронул, глядь — рога-то коровьи! Вскоре и голова показалась и задышала шумно.

На радостях благодарит Теруш народ, прощенья просит, что всех перебаламутил. Но на него не сердятся, смеются: то же Теруш!

Под стать Зайцу и его старуха. Не может она ни обед толком сготовить, ни какую другую работу сделать. Иной раз пойдет с девками, бабами в лес по грибы, по ягоды, найдутся они там, начинают все из тряпиц, из кошелок еду какую-нибудь доставать, а она муку ладонью зачерпнет и горсть за горстью в рот кладет. Да еще и угощать примется: «Испробуйте, девки. Это не больно что, а мука гороховая...»

Вот сосед Теруша — Нягусь — тот совсем из иного теста. Не любит он с людьми водиться, все тайком жить норовит да кичится все. Каждое слово у него — на вес золота. А жаден — до смешного. Готовит, положим, его старуха варево да выйдет на минутку зачем-нибудь в сени или во двор, так он

тут как тут — метнется к котлу, выхватит мясо, ополовинит его и тут же, обжигаясь, проглотит. За столом же не сводит глаз с жены и дочерей и, если что-то ему не понравилось, кроет их распоследними словами. Слова он не растягивает, а выкрикивает их коротко, сквозь зубы, словно кнутом стегает.

Не любит Нягусь никого на свете. Придут соседские ребята — он тут же их выгонит, а то начнет насмехаться как над взрослыми.

Жена и дочери вечно заняты работой, а старик, посасывая трубку, сидит целыми днями и глазеет из окна. Кто ни пройдет мимо, он всех и каждого осудит.

— Ха, сноха Мидока ковыляет. Ну точь-в-точь брюхатая кобыла... А вот еще одна дура появилась — старуха Велята. Тьфу, глаза бы мои на нее не глядели! Платье-то, платье, как семнадцатилетняя девка подоткнула, дура нагольная! Кому ж нужна-то? По мне — так хоть голая ходи, и краешком глаза не взгляну. А муженек тоже хорош — баран туполобий... А этот еще чей крапивник? Н-ну бы кнутом по заднице, р-разорвать бы ему чертовы ухваты!..

Боясь злого глаза Нягуся, бабы помоложе, да и девки стараются миновать его окна — ходят огородами.

Хоть и живет Нягусь нелюдимым, новости деревенские ему известны до самого иголочного кончика. Иная молодайка, к примеру, сама себе боится лишней раз признаться в ночном грехе, а Нягусь, кажись, и об этом знает.

Не зря в народе говорят: мастера руки кормят, а болтуна — язык. Будто прямо про Нягуся сказано. Он вроде йомзи-знахаря в Шургасах — умеет маленько заговаривать-приговаривать. Вот тогда-то он и развязывает свой язык. Но молит он Пюлеха не за таких голяков, как Теруш Заяц, а за людей зажиточных, крепких. Может, он и сам бы разбогател, будь чуть-чуть порасторопнее да поухватистее.

С женой своей он не ладил с самой молодости. То ли потому, что она была краше его, с людьми добрее, чем он, то ли сам от роду был привередливый, только ненавидел он ее всю жизнь. Тетушка Угиме не поносила вещи, сшитой или купленной именно для нее — вечно донашивала обноски сначала мужа, потом — подросших дочерей. Женщины, жалеючи ее, говорили:

— Ты что же ни разу не наденешь лапти по своей ноге?

А она, хоть на душе и кошки скребут, отшучивается:

— А я нарочно в старых да больших хожу. Легко мне в них. Шаг ступишь, а лапти поют: лап-тыр-тыр! лап-тыр-тыр!

Она давным-давно смирилась со своей недолей. Что поде-лаешь — прошла жизнь в ругани-брани, теперь хоть плачь, назад не повернешь. Задубела, заледенела душа, и волосы вон побелели, и кровь остыла...

Но Ухтиван скоро забыл о злом Нягусе. Есть он на белом свете, нет его — Ухтивану все равно. Он и не подозревал, с кем столкнет его в будущем жизнь. Не ведал пока об этом и Нягусь.

А покуда, слава богу, все спокойно: нет и урагана, и дерево, которое должно сломаться, стоит крепко; и птицы на нем распевают как ни в чем ни бывало; и человек, которого придавит это дерево, покуда жив-здоров. Потому Ухтиван с радостью вспоминает о Мульдиере. Этого и зажига-ть не надо — сам вот-вот загорится. А чем плох Ягур? Дядя Касьян? Другие?.. Э-э, жизнь, добра на земле куда больше, чем зла!

Ухтиван, оставив лошадь спутанной на лугу, вышел в поле, свернул к разрушенному мосту, спустился по лугу. И на тропинке, ведущей к пасеке, повстречал ту, о ком хотел и боялся думать, — Савдеби. Встретил и остолбенел...

Мульдиер

Избенка Мульдиера не изменилась за годы странствий Ухтивана. Задняя ее часть осела в землю, и кажется, что она опирается, как упрямая лошадь. Единственное оконце затянуто мутным бычьим пузырем. Вставить настоящее стекло так и осталось несбыточной мечтой. Уж очень хотелось Мульдиеру осуществить ее, но увы... Соломенная кровля до того обветшала, что стала похожа на навозную кучу. Края ее неровны — сгнившая солома отвалилась. Зато жив-здоров заклятый «враг» Мульдиера — длиннородый старый козел. Когда-то давно, Ухтиван был еще мальчонкой, Мульдиер обзавелся парой коз, но козу в тот же год задрал волк, а козлу удалось спастись. Он, как и прежде, видимо, живет на крыше. Вот и сейчас он лежит в углублении истлевшей соломы,

в прохладной тени старого вяза, и зорко следит за всеми входящими и выходящими. Едва Ухтиван ступил во двор, как козел грозно потрянул бородой и, запрокинув голову, почесал длинными рогами спину. Сколько раз Мульдиер пытался его прирезать, но старый чертяка оказался хитрее своего хозяина: сиганет прямо с крыши на улицу и исчезнет дня на два, на три. И ведь как чует, когда у хозяина поутихнет гнев! Как ни в чем ни бывало вернется и снова на крышу, а то бродит за детишками, стережет избу, как верный пес. Однажды, когда Мульдиер со всей семьей был в поле, к ним в избенку вошел нищий. Козел мигом слетел с крыши и — к двери. Так и не выпустил беднягу до позднего вечера, пока хозяева не вернулись с поля.

И чем только жив этот бородатый хитрюга — ведь ему Мульдиер за всю зиму не бросит и соломины!

Под прохудившейся крышей навеса Ухтиван увидел свежеструганные дощечки, какие-то поделки. Не удержался и шагнул прямо туда: чем же занимается Мульдиер? Тут и незаконченные корыта, ясли для скота, красивые, как игрушки, скальницы¹, заготовки для ступ и кадок. И целая вереница скворечников.

Да, не изменилась избенка, не изменился и ее хозяин...

Ухтиван остановился перед сенями. Из избы доносились крики, стук падающей утвари, детский плач.

Это тоже было не в новинку. Поэтому Ухтиван все-таки вошел в сени. Дверь в избу распахнута настежь, и из нее, как из рога изобилия, вылетают в сени стружки, щепки, обрезки досок. Прямо перед носом Ухтивана промелькнул дырявый валенок.

Мульдиер, жена, дочь Кельбиге и ее двое курчавых братишек ползают по полу. Тут же хнычет едва научившийся ходить кривоногий младенец. Все что-то старательно ищут в щелях между досок. Лицо Кельбиге тоже заплакано. Стол и лавка сдвинуты со своего места, нары разобраны и свалены на печь.

«Да, не вовремя меня принесло», — подумал парень.

— Бог в помощь, что ли? — смутившись, произнес Ухтиван и тоже склонился к полу. Он хотел пошутить, но слова его самому показались в этот напряженный момент насмешкой.

¹ Приспособление в ткацком ремесле для наматывания ниток на цевки.

И Ухтиван серьезно спросил: — Что потеряли, дядя Мульдиер? Давайте и я поищу.

Но весь в пыли и стружке, потный от напряжения Мульдиер непонимающе глядел на друга и молчал. Жена поднялась с пола, тяжело дыша, присела на лавку. Кривоногий малец тоже оставил поиски и, сунув пальцы в рот, ткнулся в подол матери. Кельбиге и два ее брата продолжали ползать по полу.

— Что вы потеряли, тетя Чегесь?

— Вон самого спроси, — бросила Чегесь сердито и, подняв малыша на руки, вышла из избы.

Ладить с Мульдиером не так-то легко, все знают об этом. Частенько он прикладывает руку и к ребятишкам, и к самой Чегесь. Летом еще куда ни шло: выбежал за дверь и гуляй себе, а зимой в тесной, как кадка, избенке шесть человек так намозолят глаза друг другу, хоть вой.

Куда ни ткнись — всюду люди. Мало того, между ногами путаются ягнята. Тут не захочешь, да вскипишь.

— Ну, я во дворе тебя подожду, дядя Мульдиер...

Мульдиер снова промолчал.

Ухтиван прошел под навес. Не жизнь, а комедия! Этот козел, разваливающий остатки крыши, эти каждодневные потасовки. А скворечники?.. Конечно, Ухтиван понимает, что творится в душе Мульдиера, и если подумать, всем этим скворечникам есть свое объяснение и оправдание, но вот этот бородатый черт?.. Ишь, уставился на Ухтивана своими желтыми глазищами и грозно взмахивает рогами. Зачем он тут?

По четырем углам двора на длинных шестах укреплены скворечники. У каждого красивое резное крылечко, позади скворечника прилажена кудрявая сухая ветка — садись, отдохай, пой песни... Крыши скворечников выступают вперед, как околыши, — спасенье птицам от зноя.

И как все они искусно сделаны, с какой любовью, выдумкой! На одном — резной узор сурбана-масмака, на другом — луговые травы, ульи, деревья...

Но еще краше у Мульдиера утварь. Такого узора, как на этой кленовой кадке, Ухтиван не видел ни на девичьих платках, ни на подолах и рукавах, ни на сурбанах и фартуках. Не встречал ни наличников, ни карнизов с подобным узором. Это — совершенно иной, новый рисунок, придуманный са-

мим Мульдиером. Он напоминает и русский орнамент, и татарский, и в то же время выглядит чувашским. Словом, в нем воплотилась вся красота окружающей нас природы, близкая и понятная. Со временем он перейдет в девичьи вышивки, пойдет из деревни в деревню...

— Тетя Чегесь, когда это он сделал такую красоту? — спросил Ухтиван у возвращающейся с огорода Чегесь, не в силах оторвать взгляда от искусной росписи.

— Кто его знает, дурака, — устало отозвалась женщина и, опустив малыша наземь, принялась собирать щепки. — С прошлого года возится. Человек один из Адабая будто заказал. С тех пор уж девка-то, поди, забыла, как замуж выходила... А, что там говорить: что бы он ни сделал, все равно прахом все идет. Что толку от его поделок?

— Э-э, не говори так, тетя Чегесь. Руки дяди Мульдиера — дороже золота!

— Вот на что его золото-то уходит! — В сердцах бросив охапку щепок, показала тетя Чегесь на скворечники. — Вот его золото! А семья голодает, ни обувь, ни надеть. Двор вон весь развалился. А он с одной кадкой два года копается. Что, за это на базаре дороже, что ли, дадут? Если за другие кадки дают полведра муки, так за эту, может, дадут лишнюю чашку-другую, и то со смехом. Вот тут «золотые-то руки» от обиды и эту муку в кабаке просадят... Нет, видно уж, оставил наш дом хертсург¹, вот и нейдет дело.

— Послушай, тетя Чегесь! Это же редкой красоты работа! Да тот, кто понимает в ней толк, даст за нее цену лошади!

Обычно спокойная, Чегесь при этих словах потеряла всякое терпение, приблизилась к Ухтивану и отрезала, словно по щекам ударила:

— Может, ты как раз и есть тот понимающий толк человек? Тогда иди приведи нам лошадь, а? Или дорого слишком? Тогда хоть овечку дай. Есть у тебя овечка? На худой конец, пара курочек бы сгодилась... И их нет?.. Эх, ты, «понимающий» человек! Нашлись два сапога...

С шумом собрав рассыпанные щепки, Чегесь решительно зашагала к летней кухне-лачуге. Из сеней показался Мульдиер, направился под навес.

¹ Божество домашнего благополучия, домовой.

— Бесенята окаянные! — наругивая ребят, Мультиер в изнеможении плюхнулся рядом с Ухтиваном. — Вы мне только попадитесь еще! — погрозил он стоявшему посреди двора мальчонке. Тот, растерянно оглянувшись, поспешил к матери. — Играйте на улице! А то нашли место в сарае. Я вот вам!..

Потихоньку он успокоился. Движения его стали ровными, глаза — умными, живыми.

Цепко оглядев Ухтивана своими маленькими глазками, спросил:

— Ты не болеешь ли?

— Да нет вроде...

— Лицо что-то неживое.

— Да нет, ничего. Наверно, спал мало в ночном. А что потеряли ребяташки-то?

— Стекло разбили, злодеи! Утащили куда-то! На той неделе я его купил, чуть побольше ладони, кадку для Илле небольшую выдолбил. И вот не успел поставить — на тебе, нету! Нет, это не дети, а...

— Да найду я тебе стекло, дядя Мультиер! Успокойся! На улице, я видел, кусочек валялся.

— Стекло? На улице? Врешь, поди?

— Правду говорю.

— А где оно? Может, это мои шалопаи туда и унесли?

— Нет, это на нижней улице, возле переулка Илле.

— Да дети-то они незнай куда дойдут. Стало быть, это другое.

— Ты погоди, я разом сбегаю.

Ухтиван быстро встает и бежит домой. Вскоре он возвращается с треугольным кусочком стекла.

— Вот, дядя Мультиер, это тебе...

Мультиер, ошалев от радости, вертит в руках сверкающий треугольник и смеется как ребенок. Потом прячет его на высокую полку.

— Хорошая у тебя душа, Ухтиван. Чуешь ты, кто чем болел. Спасибо тебе за все. И все-таки озорники у меня дети. Нигде ничего не улежит! Кадку, оно, конечно, можно и еще вырезать, не это беда, а то, что не слушаются они. Сказал им: не троньте, так нет...

— Ну ладно, дядя Мультиер, успокойся. А то, может, я домой пойду?

— А как же курица? — Мульдиер резко повернулся к Ухтивану всем телом, вскинул курчавую голову и потянул ноздрями. — Чуешь, какой дух идет? Была одна непутевая курица, вот я ей нынче и свернул башку. Ни одного яйца за лето... Скоро, наверное, сварится. Айда покуда в огород, в тенечек.

— Сварилась — жди, — доносится насмешливый голос Чегесь. — Курица-то твоя ровесница козлу, околеть, видно, позабыла вовремя.

— Ничего, старуха, ничего, когда-нибудь да сварится!

Друзья устроились в тени старой яблони. Земля и под ней горячая, даже потрескалась от зноя и стала похожа на желтый камень. Из трещин выбивается хилая травка, белые корни которой напоминают разошедшиеся швы на кафтане. Яблоня тоже хилая, листочки на ней скрутились в трубочки, не видать ни единой завязи.

— Ну, как там люди живут, Ухтиван? Что пьют-едят? — глаза Мульдиера так и искрят интересом, любопытством.

— А-а... Все по-разному. У кого что есть. У кого нет — как и мы...

— А сколько раз на дню едят? Как мы, раза два иль больше?

— Да, как и мы. Правда, под Казанью я жил у одних, так они на день не меньше пяти раз ели. А хозяйка — та целыми днями, как корова, бывало, жует и жует.

Мульдиер, изумленный, даже подскочил на месте.

— Неужто вправду пять раз? И все, поди, мясо, масло, калачи?

— Да, все время...

— Сами-то, наверно, на кабанов похожи?

— На хозяйку и впрямь было жутко глядеть, ровно рдеющий чирий раздулась. Не зря через год умерла. Говорили, внутренности у ней покрылись жиром, она и задохнулась.

Мульдиер слушал Ухтивана, верил ему и не верил.

— Ай, турух, — качал удивленно головой. — Вон гляди, куда все наши труды уходят.

— А ты только сейчас до этого додумался?

— Сейчас не сейчас... Только не думал я, что на такую статью. Вот бы обо всем этом рассказать государю?

— У царя и без того дел много, дядя Мульдиер...

Помолчав некоторое время, Мульдиер снова — уже в который раз! — резко повернулся, подскочил на месте и снова сел.

— Не знаю, Ухтиван, что мне делать, ведь я ночами не сплю. Прошлую ночь вот глаз не сомкнул. Голова — как пудовка...

— А что с тобой приключилось?

— Так дети же голодают!

— А сам ты сытый?

— Ты меня не серди, Ухтиван. Взрослый как-нибудь себя обманет, а тут детишки глупые, несмышленные. Утром похлебывают баланду — и до вечера. Ни хлеба, ни какого другого навару. Животы все время пустые. И ведь уж не просят — знают: нет ничего. Забьются в один угол и хнычут. В глаза им боюсь глядеть, так бы и порешил сам себя. Ведь это мои дети, мои! Я их должен растить-кормить! Я! У меня — шаром покати... Так бы и плюнул на все!..

— Ты разве в этом виноват, дядя Мульдиер?

— Да им-то от этого не легче... Эх, увидеть бы мне виновного да разглядеть его: кто он, этот ненасытный живоглот? В какой стороне прячется?

— А зачем его искать, дядя Мульдиер? Иль не видишь поближе?

— Покажи. Не вижу.

— Ты работаешь с утра до вечера?

— Ну, как же, работаю. Сейчас вот отдыхаю...

— На хлеб-соль хватает?

— Сам видишь, как хватает...

— А много ли работает Илле? Или Сухорукий Эрнюк?

— Зачем им работать? На них батраки работают.

— Может, они тоже, как ты, голодные сидят? Как думаешь, дядя Мульдиер?

— Нет, не сидят, уж это-то я знаю. И конторщики не голодают.

— Ну теперь видишь виновных, дядя Мульдиер?

Мульдиер восхищенно смотрит на друга.

— Гляди-ка, кто тебя всему этому научил?

— Жизнь сама учит, только вглядывайся да понимай. А еще больше я глаза раскрыл, когда работал с русскими. Какие они смелые, дядя Мульдиер, ты бы видел!

— Незнай... Среди конторщиков я видел русских. Иной раз аж по коже мороз, до чего они «смелые». Того гляди голову отрежут... Смелые, как же!..

— А ты и дядю Ивашку разве боялся?

— Скажешь тоже! Ивашка был свой человек.

— А таких «своих» среди русских — как колосьев в поле. Так что чиновники среди них — что сорная трава. Если бы все были смелые, как дядя Ивашка, давно бы выволокли этих сорняков!

— Будет ли когда такое, Ухтиван?

— Будет, а как же! Когда-нибудь и мы встанем в ряды людей!

«А что делать-то надо, чтоб скорей пришел тот час?» — хотел было спросить Мульдиер, но с языка сошло совсем иное:

— А какие они из себя, русские? Ну, ежели с нами сравнить? В душе какие? Ты ведь бывал в их деревнях, работал с ними?

— Как тебе сказать? Люди как люди, только лица у них какие-то открытые, и сами покрупнее нас, покрепче. И еще за себя постоять они умеют. Обидят одного — так вся деревня поднимается, не то, что у нас. Мы уж больно боимся всего...

— Э-э, не скажи, Ухтиван. Среди нас тоже были люди. Айда-ка покажу тебе кое-что...

Войдя во двор, Мульдиер направился к небольшому амбару, распахнул дверцу. В нос ударило застоявшимся запахом мышей, пыли. Пустые сусеки, корытца для муки и теста... За ненадобностью сюда же вынесли квашню, пахталку. На перекладине под потолком висят несколько лаптей. На полках — мешочки хмеля, пучки каких-то трав, мутовка.

Мульдиер подошел к висящему на перекладине какому-то предмету и встал на цыпочки.

— Видишь?

К перекладине на тонком кожаном ремешке была подвешена засохшая горбушка хлеба. На хлебе лежала монетка.

— Что это? Йерех¹?

¹ Злое божество.

— Нет. Йерех — там, у двери, — указал Мульдиер на пучок рябины с деревянной куклой.

Йерех есть в каждом доме. Привяжется ли к человеку какая хворь, или нападут на него другие невзгоды, тут уж надо ублажить йереха: испечь юсман-лепешку или сварить кашу и накормить его. Если и это не поможет, режут барана, чтобы умиротворить еще более злого йереха всей деревни.

Ухтиван протянул руку к горбушке, но Мульдиер в страхе остановил его.

— Нельзя, нельзя ее трогать! Рассыплется.

— А что это за горбушка?

— Ее повесили в тот год, как отец на войну ушел. Слышал, небось, о моем отце?

— Как же, ведь в деревне и сейчас еще говорят, как в солдаты его силой забрали... Только ты-то помнишь ли отца?

— Маленько помню, как провожали... Да присядь ты вот сюда на бревно... Мне лет пять было, не боле. Помню, как гуляли тогда весь день. А потом отец поцеловал грудь матери, приложился к ее пятке, отрезал вот эту горбушку, съел половину, а вторую ей отдал. Мать украдкой вытащила у него из кармана монетку... А народ поет-голосит песни солдатские, да такие тоскливые, что даже мне, мальцу, плакать хочется... Потом отец завязал глаза платком и вышел за ворота, на улицу.

— А глаза-то зачем завязал?

— Старинный обычай таков... Мол, душа моя останется в доме, а из дому уйдет только тело, — не знаю, так ли или нет... У двора его дождалась повозка, запряженная парой гладких лошадей, — конторщики постарались. «Давай, Сурбанов, садись поживей и поехали», — торопят они его. Только отец не сел, а закинул за спину котомку и пошел: «Мы на лошадях ездить не привыкшие и пешком дойдем куда надо». Прошел мимо избы, вышел за околицу и вскоре и с глаз скрылся, ни разу не оглянувшись.

Когда народ разошелся, мать перевязала горбушку крест-накрест кожаным ремешком, сверху положила монетку. Если солдат заболит или что с ним случится, эта монетка потускнеет; если жив-здоров — будет блестеть как новая. А если погибнет солдат, горбушка с монетой начнут раскачиваться...

— Что же сейчас... с отцом?

— Думаю, жив-здоров... Правда, те, кто с ним уходил, уж пять лет как вернулись, а от отца ни слуху ни духу. Но, думаю, живой он: монетка-то лежит как новая, и хлеб не раскисался ни разу. Мать, пока жива была, каждый день ходила в амбар, проверяла. Теперь сам вот слежу...

— Говорят, храбрый был твой отец?

— На деревне, почитай, был самый бедный, но никому не поддавался. Потому его и забрали в солдаты... Когда чувашей стали крестить, отец добровольно окрестился трижды. Как же: за три крещения три рубля получил!

— А за что твоего дядю в Сибирь сослали, дядя Мульдиер?

— Кто их знает... Схватили да и увезли. С нами они много не разговаривают. А его избу конторщики отобрали.

Чегесь позвала мужчин обедать. За низенькой стол уселись семь человек. Гостю полагается куриная ножка и голова. Мясо в самом деле жесткое, такую курицу и впрямь не уваришь, но все едят с наслаждением.

За столом Ухтиван узнал еще одно: почему Мульдиер не зарежет старого козла, или он в самом деле не поддается? В ответ Мульдиер долго молчал, потом, когда ребятишки, поев, разбежались, кивнул в сторону жены:

— Ее старики нам его благословили... Говорят, если зарезать, скот в доме не будет плодиться. Пытался я его прикончить, не раз он доводил меня, да старуха вон не дает. — И, помолчав, умиротворенно добавил: — Ну и пусть живет, думаю. Детишки его любят... И сторож опять же в дому.

Акрамовский поп

Отцу Александру — Александру Петровичу Архангельскому — нравится и не нравится его обиталище — село Акрамово. Если смотреть со стороны места — вроде бы и ладно: расположено оно в самом центре прихода. Входящие в него деревни Сеньял, Кестерек, Мамыш, Чурачики, Ярабайкасы, Юлача окружают Акрамово со всех сторон как девушку в хороводе. В Акрамове волостное правление и церковь стоят прямо друг против друга, через улицу. Надо тебе куда — перейди улицу и — вся недолга. И без воды село не мается — речка, озерцо имеются; и леса пригожие: луга, поля, правда, не ахти раздольные, но ведь они по всей чувашской земле тесны.

Так что радуйся, человек, все есть у тебя, все необходимое дала тебе природа...

Так выглядело Акрамово к началу 1841 года. О том, что на следующее лето здесь разразятся кровавые события, не подозревал сейчас ни поп Архангельский, ни правленцы, хотя дымок надвигающегося пожара крестьянского восстания уже плавал в воздухе. Волнения, начавшиеся в Перми и на Урале, валом катились теперь к берегам Волги. Кое-где огонь их перекинулся и через нее. В 1841 году в Чебоксарском и Цивильском уездах несколько сел взбунтовалось против царских чиновников. И хотя мятежи были подавлены, зачинщики схвачены, желанного спокойствия не наступило, потому что, по словам самих чиновников, это были не угасающие искры былых пожаров, а начинающееся возгораться пламя новых грядущих страшных гроз.

Итак, в середине прошлого столетия вокруг Акрамова шумели густые леса. Правда, если сравнивать их с теми делями, что высились по обоим берегам Моргаушки сто, двести лет тому назад, то называть лесами даже обидно. Тогда деревни, разбросанные по этой тайге, были похожи на пасеки. Да и в пасеках не было недостатка: в дубовых дуплах роились дикие пчелы, крестьяне ставили и самодельные улы-колоды. Зверья в лесах водилось видимо-невидимо...

Так что, если глядеть с этой стороны, жить в Акрамове можно. И все же нет удовлетворения в душе Александра Петровича. Кажется ему, что священники из других приходов живут куда богаче его — и все тут. Да и люди будто там добрее, по крайней мере, ему так видится. Да, обманули его в епархии, зло обманули!

Вот и получается, что самое ужасное в Акрамове — это люди. Ну никак с ними не сговоришься! Ты им про загробную жизнь светлую, про то, что, мол, грехи свои следует замаливать, а они слушают да в затылках чешут, а потом еще и ляпнут: «Батюшка, тебе работник не нужен в дом?» Все мимо ушей, хоть бы одно слово до сердца дошло!

Нет, не уважает здешних чувашей Архангельский. Кажется они ему бездуховными людьми, с черствой душой. Поработать, поесть — вот и вся их радость. Половину своих трудов разбрасывают на всяких киреметей, а на святую церковь гроша ломаного жалеют.

Разумеется, Архангельский хорошо понимает, что означают подаяния «на святую церковь». Церковь она и есть церковь, существо неодушевленное, ни пить, ни есть ей не требуется, а вот попу да его домочадцам — все мало. Да и то, что «не уважает он чуваш», тоже не совсем верно: его не любят чуваша, мало не любят — ненавидят. И чувствует это Александр Петрович Архангельский на каждом шагу. Правда, в глаза люди лебезят перед ним, «батюшка да батюшка», но у самих на уме вовсе другое. Словом, на устах — мед, а в глазах — лед.

Неспроста его в округе прозвали Салагаик — воробей. Вроде и безобидная кличка, а смысл в ней глубокий, ибо воробей — единственная птица в селе, которая чинит только вред. Другие птахи хоть своим пеньем веселят людей, червей вредных собирают в полях, а у воробья одно на уме — где бы что украсть, стащить...

Хотя на вид отец Александр кажется тяжелым, неповоротливым, на самом деле он очень прыткий. За день не оставит без своего внимания ни единого уголка. Да уж и дел-то у отца Александра по горло! Кто-то не ходит в церковь — надо немедленно занести в ведомость, а потом еще и домой сходить, наставить на путь истинный. Заболел человек — отец Александр тут как тут со святой водицей. Притворится кто немощным — он тут же читает про то, как греховно Бога обманывать, ибо Бог все видит, ему ведомы не только дела, но и мысли человека насквозь. Так что от него не скроешься! Хоть ты и в свинарнике спрятался и думаешь про попа скверно — Бог все равно это видит. Вот почему с отцом Александром лучше говорить обо всем в открытую, не кривя душой...

Если и после этих проповедей человек ослушается попа, тот начинает его запугивать. Мол, за обман наместника божьего на земле угодишь ты в ад и там претерпишь все муки. Не поможет это — Салагаик спешит заявить о богоотступнике в волостное правление. Вот уж тут и начинается! Закрутят, завертят человека, в контору затаскают, вне очереди в извоз пошлют, замучают поборами всякими, недоимками... Ну и сдается бедняга, забудет про своих киреметей и хертсуртов и спешит в православную церковь Божию, отбивает поклоны попу-батюшке...

Так что отец Александр, хоть и мал да неуклюж, иногo так согнет в дугу — вовек не распрямиться.

А уж до чего дотошен он в делах хозяйских! Наперечет знает все, что у кого из прихожан имеется в доме или во дворе. Кто когда кому что продал, сколько выручил от этой купли-продажи тот и другой — все подсчитает поп, до копейки.

Возвращается человек, к примеру, с базара.

— Ну-ка, плати десять копеек.

— Да у меня ни копейки, батюшка!

— Не лги. В ендике твоём — четырнадцать копеек целых.

— ...в ендике, говоришь? Д-да, было четырнадцать... Хмель я продал... Верно говоришь, батюшка...

— Я всегда верно говорю. А ты Бога хотел обмануть. Грешно это.

— Да не обманывал я, батюшка. В доме ни копейки. А хотим ягненка купить...

— Ягненок не убежит. Потом купишь. А Богу дай десять копеек. Он тебе больше воздаст.

— Прости на первый раз, батюшка. Впредь исправно платить буду.

— Я-то прощу, да Бог не простит. Ты вон и за крестины-то еще не уплатил...

В деревне все крещеные. Но люди по-прежнему зовут друг друга старыми именами: Уби, Ятман, Пуленке... Новые же имена и фамилии, данные церковью, порой и вовсе забывают. Настанет время сбора налогов, вот тут-то они и бегут к попу:

— Батюшка, поглядел бы ты в бумагу, как там мое имя-фамилия?..

Не знаешь своего имени — получай плетью от старшины.

Во время больших праздников поп обходит дома прихожан, зорко всматриваясь в передний угол: есть ли святой образ? Избы темные, закоптелые. И вот к концу обхода голова отца Александра делается как тяжелая корзина, в глазах начинает двоиться, троиться, и есть там, в углу, Бог или нет... Бог его знает!

Не веря себе, отец Александр на другой день идет в «подозрительные» дома с проверкой. Хозяев нет — в поле, двери не заперты. С кряхтеньем взбирается он на длинную лавку, ощупывает передний угол. Ага, вот и попались, безбож-

ники! У одного вместо иконы — кусок доски (обе стороны шершавые!), у другого икона на месте, но чтобы Бог не увидел грехов его, он выколол ему шилом глаза и повернул лицом к стенке.

Тут-то и отыграется поп за все насмешки над ним! Он вызывает провинившихся по одному к себе и, разложив перед собой чистый лист бумаги, говорит:

— Ну, раб божий, кайся...

Живя уже несколько лет в Акрамове, он с грехом пополам научился говорить по-чувашки, но русских слов в его чувашской речи, пожалуй, больше, чем чувашских.

— В чем, батюшка, велишь каяться?

— А ты и в делах, и в мыслях твоих грешен.

— В чем же грех мой, батюшка?

— А вот гляди... — говорит поп и показывает на образ, смазанный предварительно маслом и политый водой. — Видишь: плачет... А потому плачет, что ты своему чудотворцу глаза шилом проколол и лицом к стенке поставил... Вот и грех твой...

Человек начинает истово каяться, но не перед невидимым богом, а перед живым, неумолимым попом, задаривает его чем может, лишь бы тот порвал бумагу. Бумаги чуваша боятся пуще гремучих змей, потому что все беды из волости приходят к ним на бумаге.

И вот провинившийся, мало того, что «обчистил» его поп, покупает на последние гроши новую икону и идет домой счастливый: легко отделался!

Так что дел у отца Александра не счесть! Случись что в приходе — узнают в епархии, кого винить станут? Да его, отца Александра! Он — хозяин села, его глаза и уши.

Когда уже было решено послать его в Акрамово, казанский архиерей напутствовал его:

— Вы там, отец Александр, будете нашими глазами и ушами. Чуваши — народец темный. А темный человек он больше руководствуется не разумом, а чутьем. Порой они сами не ведают того, что делают, а вы должны знать. Даже мысли ихние вы должны угадывать наперед. Желаю вам счастья и здоровья... Найти свой жребий во многом зависит от самих людей, отец Александр. А старанье ваше заметят и вышние, и всевышний, будьте покойны. Все мы в руках божиих.

О каком жребии толковал архиерей, предугадать трудно. Может, намекал на возможный перевод в более сносный, городской, приход? Найти свой жребий... Значит, все зависит от самого себя. В то же время — «все мы в руках божьих»... Где же тут логика?

Александр Петрович шумно вздыхает и отправляется по дворам. С одними говорит сам, других — слушает, к третьим — принимаются. И обо всем, чем живет и дышит народ, строит в епархию...

Говорят, у чуваша и после смерти остается на три дня работы. Правда, отец Александр не чуваш, но и у него, пожалуй, дел останется на несколько дней. Приходских дел, конечно, не столь уж много, но вот домашних... Одних свиней у батюшки двадцать голов. Да к ним прибавь трех дойных коров, двух лошадей, овец стадо, гусей, уток — тьма. А матушка Марфа Ефимовна, грузная, расплывшаяся женщина, вечно больна. Батраки, одноглазая Хветли да горбун Микки, за всем не поспевают, хоть и рвутся на части. Да уж и жать-то их чересчур нельзя — работают без всякой платы, только за хлеб да воду. Так что хлопотное хозяйство висит и на шее самого Александра Петровича.

Да оно особо-то и не тяготит, если уж честно. Любит отец Александр повозиться со свиньями. Ради них он готов и днем и ночью трудиться в поте лица. По его мнению, свинья — это самое умное, самое красивое и доброе животное на земле. Если других животных человек разводит исключительно ради пользы, то свинья помимо пользы вносит красоту в дом — так считает отец. Вы только поглядите да послушайте, как она, возя морду по земле, хрюкает по двору! Это же сама музыка! В душе у вас зарождаются самые нежные чувства, от избытка чувств волосы на голове шевелятся...

Черные, серые, пестрые, красные... Вот они, красавицы, и среди них — отец Александр, преисполненный великой радости, кормит их с ладоней хлебом. Иногда он тихо и блаженно валится среди них и сам начинает похрюкивать. Представляете картину: посреди двора лежит толстенький и короткий, как мешок с зерном, попик в старой домашней рясе в окружении свиных рыл! В руках, за пазухой, всюду — непочатые ковриги хлеба. А эти неблагодарные схватят кусок

и отбегают в сторону — жуют. В умилении Салагаик и сам начинает жевать хлеб, уподобляясь своему окружению.

Благодать!

Когда свиньи разбредутся в холодок, Салагаик тоже идет вслед за ними. И во дворе на часок-другой воцаряется тишина. Лишь там, где примостился в соседстве с хрюшами отец Александр, вьются зеленые мухи да в сенях с оханьем грузно ходит, скрипя половицами, Марфа Ефимовна.

Микки

Поповские свиньи каждое лето доводят акрамовцев до отчаянья. Случись в изгороди дырка только, кажется, нос просунуть, так они мигом оказываются в огороде. И за каких-нибудь полчаса перепашут всю усадьбу, если никого не окажется дома. И ведь пожаловаться нельзя: грех. Мало того — поборами для своих свиней измучил деревню отец Александр. И хлеб ему печеный подавай, и муку, и желуди, в то время как дети бедняков неделями не видят куска хлеба. А перед рылами поповских кабанов ложатся непочатые ковриги...

Осенью отец Александр уводит своих длиннорылых питомцев в лес и, до самого снега они бродят там на воле. А ляжет снег — запирает их отъедаться. Хлеб, кислая болтушка, желуди, картошка, отруби — все идет на откорм. Леса в этой стороне богатые, работников тоже в избытке, надо — и лесными орешками накормят поповских свиней. А пропадет вдруг аппетит у хрюшек — натаскают им во двор кирпича. Погрызут, почешут клыки — глядь, снова только подавай жратву. А тут уж приспела пора и резать. Снимут крупную щетину, опалят, заморозят туши до звона и везут тремя-четырьмя возами на базар в Чебоксары...

Александр Петрович, если не задержат дела, никогда не загостится в городе — один-два дня, самое долгое. Как рачительный хозяин большой семьи, думает он о своем приходе денно и ночью, опасаясь, как бы в его отсутствие там не случилось чего «греховного».

И однажды, поди ж ты, так и вышло. Но не в его отсутствие...

Начался тот день вроде обычно. Церковный сторож горбатый Микки, с худыми длинными руками и большой головой,

глянул из-под ладони в небо и, не увидев солнца — рановато поднялся, — присел на завалинку, раскурил трубку. А по правде, не хотелось ему так рано тревожить народ — пусть по прохладе поползут свои наделы, а уж утренний молебен от них никуда не уйдет. Высосал трубку до белой золы и, войдя в поповский дом, снял с привычного места — с гвоздя за печкой — ключ от церкви. На столе увидел рюмки с недопитым красным вином, закуски. Вчера к попадье нагрянули гости — две майры из Ильинки, вот, видать, и отвели хозяева с гостями «христовой крови».

Дверь в горницу приоткрыта, и с кухни, где стоят люди, тянет застоявшимся запахом потных тел и водки.

Потоптавшись возле двери, Микки неторопливо большими шагами, никак не вяжущимися с его маленьким ростом, сошел с крыльца, пересек улицу, распахнул дверь церкви и, отдыхая почти на каждой ступеньке, поднялся к колоколам.

И вот уже низенькие черные домики, и сам поп, и раб его Микки — все осталось там, внизу. А здесь, наверху, хозяин только он, звонарь, и никто более. Будь он ученым человеком, он бы счел это за парадокс. Да так оно и есть: тянет человек лямку что есть сил, тянет — и вдруг обретает свободу. Пусть ненадолго, пусть на миг, но оттого она еще желаннее.

Подобрав по-обезьяньи свое короткое тело в один комок, Микки, опираясь руками о пол, садится. Восторженно глядит в одну сторону — там поля, леса, чистое небо... Смотрит в другую — женщины в разноцветных платьях, словно узор на сурбанае, рассыпались по узеньким загонам — полют траву.

Сегодня суббота, работать грех, но люди все равно вышли в поле: время страдное. Пропустишь теперь день — потом месяцы его не нагонишь. А попа они обманули — травы съедобные собирать, мол, пойдем.

Микки высек из кремня искру, опять раскурил трубку.

Только здесь, на колокольне, чувствует он себя человеком — Никифор Петрович Архангельский, родной брат акрамовского попа Александра Петровича Архангельского. Здесь на него никто не глядит ни с жалостью, ни с брезгливостью. Здесь он волен, как этот влетающий в открытые окна ветер,

шевеливший лохмотья его одежды, заигрывающий с дымом его трубки, то свивая из него тонкую сизую веревочку, то размывая в белесое облако. Над головой негромко воркуют голуби, кротко поглядывают оранжевыми глазками на старика. Стоит тому вытрясти из кармана крошки или сухую корку, они тут же с шумом слетают на пол и без страха подклеивают все съестное.

А работник попа ощущает себя здесь его повелителем. Сейчас он ударит в колокол, чтобы пробудить «отца Александра» от сладкого сна...

С колокольни далеко видно все окрест, и в памяти явно оживает давно минувшее.

В молодости Микки был так же здоров, как и его младший брат Сашок. Внешне, правда, был похож на отца: высок, то же продолговатое лицо, светлые волосы, задумчивые темные глаза. А Сашок — копия матери: круглолиц, румян, как девушка, приземист.

То ли оттого, что младший сын удался в нелюбимую жену, отец Петр больше жаловал Никифора. Он всюду возил его за собой, баловал гостинцами.

В отместку им Сашок с матерью отъедались дома. Попотчует попадья муженька со старшим сыном какой-нибудь жидкой похлебкой и проводит со двора. А сама тем же ходом уже шарит по куриным гнездам, выгребает яйца, сеет муку сквозь самое мелкое сито, забалтывает блины, тащит из погреба сметану...

К их возвращению Сашок с матерью почивают уже в постели.

— Поешьте там чего-нибудь, — сонно зевает попадья. — Уйран еще, поди, не скис...

А что было, когда отец Петр купил старшему сыну сапоги!

Сашок прямо взбеленился. Ему хотелось убить Никифора, но не хватало силенок; хотел выкрасть сапоги и изрубить их топором, но Микки, ложась спать, клал их в изголовье, под подушку.

Видя, как беснуется брат, Микки еще больше поддразнивал его: то и дело нагибался и, поплевав на палец, счищал с сапог несуществующую грязь, сядут обедать — он сапогом норовит достать ногу братишки...

Однажды, сильно притомившись в поле, Микки как убитый свалился на сеновале. Сашок давно ждал этого часа. Взяв плетку, он поднялся на сеновал и изо всех сил полоснул брата по лицу. Тот спросонья вскочил во весь рост и сильно ударился головой о перила. Жерди под сеном разъехались, и он угодил в конюшню, к лошадям. С перепугу кони шарахнулись, подмяли под себя потерявшего сознание Микки.

Ровно год провел Микки в больнице. Однако толку не было, не помогли ему ни лекарства, ни припарки разные, ни даже заговоры. Остался он калекой на всю жизнь.

А Сашок взялся за учебу. Микки же как мог помогал отцу-матери по дому вести хозяйство, берег каждую копейку — все для брата.

Перед смертью отец Петр призвал к себе младшего сына.

— Ну, сынок, видно, пробил мой час. Ты выучился, вышел в люди, оставляю на тебя твоего старшего брата. Поклянись мне, что будешь милостив к нему до самой смерти... Сам видишь — без тебя, без помощи какой он жилец на этом свете? Как сумеет, будет полезен тебе...

Сашок — тогда уже отец Александр — поклялся перед иконой. Так сделался Микки его батраком на всю жизнь.

В Акрамово они приехали вместе. Однако в приходе ни одна живая душа не ведала о том, что Горбун Микки — родной брат отца Александра. У Александра Петровича и Никифора Петровича Архангельских был давний уговор: «О том, что мы с тобой братья, пусть знает только Бог да мы двое. Тебе все равно, брат ты мне или не брат, а про меня могут пойти сплетни, станут злословить. Живи у меня до последнего часу, работай, ешь... Да и одеждой тебе не следует выделяться, иначе люди могут неладное заподозрить. Одевайся как батрак и спи спокойно. Человек не одеждой красив, а нутром...»

Волей-неволей Микки согласился. Правда, в иной час, вспомнив бывшее, он пытался взбунтоваться, хотелось ему попутать брата в присутствии целой избы гостей.

— Мы ведь с тобой родные братья, отец Александр, — изрядно хлебнув спиртного, вдруг заявлял он.

Салагаик вздрагивал как от озноба и, вынув из кошелька медяков, совал их в руки несчастного, приговаривая:

— Как же, как же, перед Богом все мы равны, все братья... На вот, иди выпей за мое здоровье, повесели душу в честь праздника...

Микки поднялся и ударил в самый большой колокол.

Тан-н-н! разлился медный звон, резанув по сердцам трудящегося люда: бросай работу и иди на молебен! Голуби тоже никак не могут привыкнуть к колокольному звону и сразу взвиваются вверх. Тан! раздалось снова и долго плыло над округой. Тан... н... н!..

И отовсюду заспешили люди, заторопились к храму божьему. Одетые в белое, иссохшие от зноя, непосильной работы и постоянного недоедания старушки в накинутых на головы сурбанах и громоздких черных онучах; старики в белых долгополых рубахах и шароварах, которые при каждом шагу болтаются на них как на колу. Они идут особняком, попыхи-вая трубками.

Молодежь — сзади, как всегда говорлива, с шутками да прибаутками.

Крестный ход

Говорят, споткнулся с утра — почитай, будешь спотыкаться до вечера. Александр вернулся домой из церкви. Стал звать Микки, чтоб накормил свиней, — не дозволялся: видать, набрался калека так, что рухнул где-нибудь без чувств.

Вконец расстроенный, Салагаик сел обедать, и тут ему не повезло: хлебнул ложку-другую, заскрипела сенная дверь и в избу робко вошли два чуваша. Ставни в доме были закрыты от жары и от мух, и в полумраке Салагаик не различил лиц вошедших.

— Хлеб да соль, — приветствовали они отца Александра, и один, разглядев в полоске света, падающей из окна, длинную лавку, прошел и поставил на нее лукошко яиц. Это был мужик из Сеньяла Мигабар.

С приходом непрощенных гостей настроение отца Александра и вовсе упало. Видя, что за стол ему не сесть, он жестом указал на место рядом с собой на лавке. Салагаик никогда не садился на стул, стоящий возле стола, — это было святое, божье место. Не смел на него садиться никто из домашних.

— Садитесь со мной обедать, Мигабар.

Двое о чем-то пошептались, и один исчез за дверью.

— Мы по делу, батюшка, — выступил вперед Мигабар, будто не слыша приглашения попа. — Старики надумали поля освятить. Иначе помрем с голоду — хлеб пропадет. Святой водой бы их окропить.

Салагаик собрался было выйти из-за стола, как в избу, запыхавшись, вкатилась матушка. Пышнотелая Марфа Ефимовна все еще надеялась хоть немного похудеть и потому пыталась ходить быстрым шагом. Гостеприимная и добродушная, как все толстухи, она, едва разглядев Мигабара, запросто взяла его за руку:

— Видать, теща тебя любит: в аккурат к обеду подоспел. Ну, проходи, проходи вперед, пирога горяченького отведай.

— Благодарствуем, матушка, сыт я, не хлопочите, — затнекивался Мигабар, мягко высвобождая свою руку из пухлой ладошки Марфы Ефимовны.

— Ну как же это? Как же не отобедать, коль приглашают? Ежели тут стесняешься, сейчас вон в ласе спроворю...

— Нет, нет, матушка, не беспокойтесь и не обижайтесь: сыт я. У меня к батюшке вот дельце есть...

— Да, да, по делу они пришли, — поддержал гостя Салагаик. — Поля освятить надумали.

— Завтра, что ли?

— Когда вы собираетесь-то? — недовольно спросил поп. — Нынче уже не успеем — больше полудни прошло.

— Нынче же мы хотели, батюшка...

— Что ж, нынче так нынче. До ночи управимся.

— Вот спасибо. Я сейчас... — Мигабар исчез за дверью, а Салагаик стал готовиться к обряду. Марфа Ефимовна, стыдясь своей чрезмерной полноты, придерживая левой рукой излишне тяжелую грудь, правой подхватила лукошко с яйцами и прошаркала в сени.

* * *

По дороге среди хлебного загона, взбивая ногами клубы густой пыли, идут люди. Пыльное облако поднимается выше церкви и издали кажется черной дождевой тучей. Оно неподвижно висит в воздухе. Люди идут и идут, приближаются к горизонту, а облако почти неподвижно остается висеть на небе.

Деревня от мала до велика высыпала в поле. Там, где дорога сужается, людской поток, растягиваясь, извивается подобно речке; в широких местах люди снова сбиваются в плотное стадо. Упаси Бог, чтобы кто-то наступил на хлебный загон. Люди идут молча, настороженно. Лишь изредка заплачет ребенок или вздохнет кто-то шумно и тяжко. Похоже, будто народ собрался не на молебен, а на похороны.

Отец Александр дышит тяжело и поминутно смахивает со лба пот ладонью. Шагах в трех-четырех от него, впереди, несут иконы. Все выбились из сил. Чего бы проще — взять и повернуть к деревне, в прохладу и сень. Но нет, нельзя. Люди, словно влекомые какой-то силой, идут и идут вперед, задыхаясь и ничего не видя в пыльном тумане...

Возле колченогого стола Салагаик с дьяконом, чихая от пыли, спешно творят молитву. Отец Александр осеняет крестом все четыре стороны, потом опрыскивает веником, смоченным в святой воде, людей, поля. Он уже весь сомлел от жары, голова трещит от нестерпимой боли, перед глазами плывут круги. Несбыточным счастьем кажется ему холодный квас в далеком погребе. Да и свињи-то там, поди, не накормлены.

Салагаик гневно смотрит на идущего рядом Мигабара: его это затея с крестным ходом! И чего надо этому мужику? Отчего он ни на шаг не отстает от него, будто привязанный?..

По другую руку от Салагаика еле переводит дыхание вконец запарившийся дьякон. А Мигабару, похоже, все нипочем: дышит ровно, ступает легко...

Нет, никогда не был по душе Салагаику этот мужик. Ни лицом, ни своим поведением на людях, ни отношением к нему сельчан, ни постоянной своей веселостью, ни — тем более статью, плечистостью, — сам-то Салагаик приземист и неказист, — нет, ничем не нравился ему этот мужик, наоборот, вызывал только раздражение. Хотя, говоря по правде, даже оспины не портили добродушного, чуть продолговатого лица Мигабара, да и плотно сжатые губы не делали его свирепым, это видел и сам отец Александр. Но побороть в себе чувство неприязни, даже враждебности к этому человеку был не в силах.

Род Мигабара издавна был бунтарским. Дед Мигабара ходил по округе вместе с людьми Пугачева, помогал им

расправляться с попами. Не сломили в нем духа ни бесчисленные порки, ни царские казематы. Вернувшись из Сибири с одним глазом, он и сейчас еще бодро ходит по деревне, несмотря на свои девяносто лет. Завидев попа, он ни разу не поприветствовал его, а в церковь и ногой не ступает.

Внук во многом удался в деда. Как и дед, не любит излишне кланяться; силой и сноровкой тоже весь в него: даже лютой зимой бегаёт с петлей в лес на зайцев.

Правда, в детях дед с внуком разошлись: у старика Мигабара их было всего двое — сын и дочь, а у Мигабара-младшего — восьмеро, и среди них единственный — предпоследний — сын. А жена снова ходит на сносях. Поговаривают в деревне, будто в позапрошлом году у него родилась дочка, а не сын, да кто их разберет: разрешилась жена в гостях, в какой-то деревне, там и окрестили младенца.

Так-то вот: от «ристана»¹ Мигабара пошел внук Мигабар, который своего сына тоже нарек Мигабаром. И ведь сделал это неспроста, ясно, что хотел этим сказать!..

Остановились в последний раз. Отсюда уже поворот к деревне. Чтоб богослужение запомнилось надолго, Александр Петрович совершал молитву истово — знай наших!

Но люди, несшие образа, вдруг повернули не к деревне, а к лесу. Свернул с дороги один, за ним — другой, третий... И, словно сговорившись заранее, за ними поплыла вся пропыленная толпа.

В груди Александра Петровича будто что-то оборвалось: нет, не видать ему сегодня ни дома, ни кваса...

— Куда это они? — указывая на повернувших в сторону леса людей, спрашивает поп у Мигабара. Но тот, чуть усмехнувшись, только провел по пыльному лицу ладонью:

— Тут недалеко, батюшка. А обратно мы тебя враз на лошади доставим.

— Зачем нам к лесу-то? Поля же все обошли?

— Там у нас, батюшка, ржаной загон есть. Народ и его освятить хочет. Беда стряслась...

— Какая еще беда?

— Землю нашу украли...

Святой отец припомнил вечно пьяных межевых, разъез-

¹ Искаженное «арестант».

жающих по деревням. Да уж, эти кому хочешь и у кого хочешь отрежут наделы, только не пожалей им денег да водки. Сделают свое «дело» — и были таковы. А между соседними деревнями из-за этого начнутся драки да тяжбы бесконечные, которые потом будут из рода в род переходить, и конца им не будет. Подключатся в разбирательство и контора, и округ, и даже... поп. Одни ратуют за одного, другие — за другого. В результате разорятся обе деревни, людей посажают в казематы, самые близкие родственники станут на всю жизнь врагами.

Известно, что рыба во все времена ловится в мутной воде. Потому, едва заслышав о «краже земли», Александр Петрович тут же воспрянул духом, забыл об усталости и жажде.

— Землю украли, говоришь?

— Да, украли, — повторил Мигабар. — Потому и надумали молебен отслужить. Люди так порешили.

— Отрезали, выходит, землю и другой деревне отдали? Об этом бумагу надо составить да контору известить, — назидательно начал поп.

На смело отчаянном лице Мигабара мелькнул испуг.

— Нет, нет, батюшка, не надо в контору, не надо бумагу... нельзя этого. Не резали у нас землю-то, а украли. Злые люди надругались... Сослужите молебен — и конец!.. Иначе с голоду помрем.

«Как же так, — думает отец Александр, — землю украли, а резать не резали... Выходит, увезли? И в контору не велит сообщать. Что-то тут нечисто». Злой от своего непонимания, он свирепо глянул на дьякона, но все-таки повелевая ему идти вместе с народом.

Мигабар, не решаясь открыть правду, замаялся, пытался объяснить намеками. Вопросы Салагаика вовсе сбивают его с толку. Окружившие их человек десять-двенадцать сельчан просят попа отслужить молебен:

— Айда уж, батюшка! А то ведь толку не будет от молебна-то, коль до того загона не дойдем.

Александр Петрович вдруг понял: они ж его провели как мальчишку! Весь этот маскарад с освящением им был нужен только для того, чтобы заманить его сюда, к лесной опушке! Что же там, на ней, приключилось, ему неизвестно, но с народом теперь, пожалуй, не посчитаться нельзя.

И Салагаик согласился.

Шумно собрались на опушке. В нескольких шагах — речка. По берегу ее рожь намного выше, чем на полях, стебли крепкие, налитые. То тут, то там по загону следы, в нескольких местах земля взрыта лопатой. Александр Петрович потом со считал — в семи местах было взято по лопате земли.

Изнуренные длительной ходьбой, зноем и пылью люди должны бы вроде сразу броситься к воде, речке, но туда никто не только и шага не сделал, но даже и не взглянул. Старики осторожно ступили на загон, в безмолвии опустились возле кем-то вскопанных лунок. Александр Петрович, ничего не понимая, хотел было что-то спросить, но увидев, что старцы плачут натуральными слезами, а стоящие на обочине люди застыли как каменные, тихо приказал дякону творить молитву.

Кончилась молитва. Старики снова опустились на колени и забормотали вполголоса свои заклинания. Путая русские и чувашские слова, сказал свое слово и Александр Петрович. Ежели, мол, будем жить так, как велит Бог, нам не страшны ни зло, ни злые люди. А забудем Бога — он сам о себе напомним, ниспослав на нас беды да несчастья...

Чуваши дружно закивали: так, батюшка, истинно, а у самих в головах бесконечные мысли о своем. Батюшка, даже не глядя на их лица, понял: они не верят ни одному сказанному им слову, но на всякий случай справили обряд — авось поможет?

Когда возвращались в деревню, Мигабар вдруг откровенно сказал Салагаику:

— Эх и умах же ты, батюшка. — Поп не обижается, что его называют дураком: в чувашском языке слово звучит не столь унижительно, как в русском, и означает скорее «наивный», чем «глупый». — Ты рос в городе, потому и не знаешь обычаев наших. Так вот слушай! Когда у меня вторая дочка родилась, тогда у нас тоже землю украли. Хорошо, что мы сразу учуяли и по следу кинулись вдогонку. Отобрали землю, привезли обратно. А урожая все равно третий год нет как нет. Спросишь, почему? — Мигабар пристально заглянул в глаза попу. — Знаю, скажешь: про Бога забыли, в церковь не ходим. А я скажу другое: злые люди осквернили нашу землю, вот почему. Раньше-то у нас и церквей не было, и про Бога

мы не знали, а хлеб родился. А сейчас ходи не ходи — ничто не помогает. Хлеба нет, корму скотине нет... Ложись и помирай...

— Пстой, пстой, — будто очнулся Салагаик, — как же это воруют землю-то? Чего с нею делают?

Мигабар долго молчал, ступая в такт бегущим колесам телеги. Не успевшая полинять маленькая лошаденка, опустив голову и хвост, мелко перебирает ногами по толстому слою пыли. Пыльно, душно.

Одна группа людей — передние — уже вошла в деревню.

Мигабар, не глядя на попа, коротко бросил:

— А зачем тебе это? — и зашагал быстрее.

Поп завозился на телеге.

— А как же? Знать чтобы, что к чему...

— Ни к чему это тебе, — отрезал жестко Мигабар. — Об этом ни писать, ни в контору сообщать, ни судьям заявлять нельзя.

Прибавив шагу, он оставил телегу позади и вскоре слился с людьми, отставшими от передней группы.

В силке

Мигабара взяли на третий день. Бояться причины у него не было, так что он не собирался вдаваться в долгие думы — глядишь, к вечеру выпустят и прогонят домой. Да и не хочется Мигабару думать, потому что

Начнешь думу — она повеется.

Кончишь думу — голова с кругу собьется.

И он ткнулся в угол и тут же заснул. Ведь ему уже давненько не выпадал случай отоспаться.

Проснувшись, Мигабар первым делом обследовал подвал, куда его заперли. От двери до противоположной стены — пять шагов, от стены до стены — три с половиной. Пол земляной. Стены сложены из толстых дубовых плах. По натуре человек хозяйственный, Мигабар не оставил без внимания также дверь и потолок. Всюду дуб, дуб...

Будь у него такой подвал, он бы в нем непременно хранил картошку. Отгородил бы у двери сусек, и ни мороз, ни крысы не страшны. И молоко, будь у него корова, тут же

бы держал, а не лазил бы всякий раз в погреб. Три стены, почитай, в землю до самого потолка, одна только — дверная — выходит во двор, словно из глубокого сугроба.

Мигабар покружил, покружил и присел возле двери на пол. Хоть бы работа какая для рук была! Чем так зря убивать время, возился бы и возился... Глядишь, за это время и конторщики меж собой порешили бы его судьбу.

Наверху, в конторе, что-то глухо упало. Видать, потолок, как и дверь в подвал, тоже двойной: звуки доносятся издали-ка-далека.

Сколько же времени теперь? Его взяли перед обедом. Потом он уснул. И как проснулся — времени порядком прошло. Неужто дело уже к ночи? А ведь до ночи-то его должны выпустить...

Мигабар не спеша разул онучи, старательно вытряхнул их, выстукал лапти и блаженно вытянулся на земляном полу, оперев босые ноги в стену. Ишь, как приятно холодит дуб занемевшие без движения ноги! Не зря, видать, Мульдиер, столяр-умелец из Шургасов, почитай, до самого снега ходит босиком. Не промах — знает толк! Вроде бы и неловко мужику бегать по деревне ровно мальчишке босым, зато лапти-онучи будут в целости, да и ходить легко.

Размышляя так, Мигабар поймал себя на том, что краем уха все время прислушивается к малейшим звукам снаружи. Однако наверху тихо. Все тихо.

Он резко поднимается с полу. Все-таки что ж его сюда упрятали? В чем его вина? Пристав привел его сюда, втокнул и, сказав: «Позовут, как понадобится», — захлопнул одну дверь, потом — вторую, зазвенел ключами... И вот во дворе уже ночь, а его до сих пор не зовут, ни о чем не спрашивают, ничего не говорят...

Мигабар думает о завтрашнем дне, о том, что намеревался сделать. С утра вместе с детьми подрядился бы к соседу на прополку. Все, глядишь, были бы при деле и все были бы сыты. Иначе попробуй прокорми этот мелкий народец! За день не оставят ни одного угла, все обшарят, везде залезут...

Бедняк улыбнулся, живо представив свою шумливую ватагу, и снова шагнул к двери. Прислушался. Ни звука. И он с большим остервенением принялся пинать, барабанить в ненавистную дверь...

На дворе уже, должно быть, ночь. Слышно, как по улице бродят не вернувшиеся домой коровы. По топоту передних ног Мигабар определяет направление, куда они идут. Во дворе Салагаика истошно визжит свинья. На церкви сонно перебраниваются не успевшие устроиться на ночлег галки. Ноздри его улавливают дразнящий запах горячего супа; пахнет двором, пылью... Иль ему чудится?

Похоже, ближе к рассвету Мигабар задремал, прислонившись к двери, но, привыкший вставать с первым лучом солнца, вскоре проснулся. В это время он уже помогал бы жене варить яшку, сбегал бы в огород за пучком дикого лука и картофельного цвета.

Воспоминание о доме вызвало голодную тошноту: желудок сжался, рот наполнился слюной.

Мигабар заметил, что не ходит, а почти бегает по подвалу. На лбу его выступил холодный пот, сердце стучит часто и гулко. Он останавливается и, прикрыв веки, долго и внимательно слушает тишину утра. Но не улавливает ничего, кроме ударов бешено пульсирующей в висках крови. С закрытыми глазами он снова начинает мерить шагами длину и ширину подвала. Пять шагов — три с половиной, пять — три с половиной... Даже не касаясь стен, а кружась посередине, Мигабар знает, где он находится. Здесь угол, и, протянув руку, убеждается: верно, угол. Здесь дверь — рука безошибочно нащупывает дверь...

До завтрака отец Александр решил заглянуть в дом головы. В одной руке его — покрытая деревянным кружком кадочка, за пазухой — небольшой сверток в белой тряпице.

Просунув в окно заспанную лохматую голову, голова увидел попа и без слов выбежал ему навстречу. Они садятся под рябиной в огороде, где стоит стол, и молодая женщина с сердитым лицом молча приносит им шипящий самовар. Вокруг стола она выливает несколько ведер холодной воды, не очень-то остерегаясь, чтобы не обрызгать мужчин.

Молча начинается чаепитие. Салагаик разворачивает сверток и выкладывает на стол копченый окорок, ставит кадочку с засахарившимся медом.

Голова пошел было в дом за ложкой, но передумал: вернулся, подошел к куче дров, отщипнул свежую щепку и,

наклонив бочонок, зацепил солидный кусок меда, опустил в чашку.

К столу, заискивающе глядя хозяину в глаза и виляя хвостом, подошла черная, с белой головой собака. Всякий раз, когда мужчины отправляют в рот вкусный пахучий кусок мяса, она невольно приподнимается, машет хвостом и, не сводя глаз с мяса, неуклюже переползает на другое место, истово зевает, хотя ей вовсе того и не хочется. Кажется, в это время она не видит и не слышит ничего вокруг. Но стоит показаться во дворе хозяйке, как собака, наострив уши, уходит в сторонку, мужчины тоже становятся напряженно строгими.

— Не токмо ты, сам я боюсь этой женщины, — шепотом говорит Салагаик голове, опрокидывая свою чашку на угол стола. — С виду вроде ничего не скажешь: грудь, талия, глаза — все на месте. Статная женщина, прости меня, господи. И ругать она меня будто не ругала, слова грубого от нее не слышал, сам знаешь, а вот боюсь ее — и все тут. Отчего боюсь — и сам не знаю, Иван Маркелыч. Как глянет своими глазами-лампадками, так будто и окатит тебя ледяной водой.

Голова молча потирает оставшийся на щеке рубец от старого кафтана, на котором он спал.

— Му... му... — мычит он, пытаясь что-то сказать, но голос не идет, и он хватается за горло обеими руками, массирует его.

— Мученье с ней? — пытается угадать мысли головы Салагаик.

— Мужа прежнего забыть не может, — выговаривает наконец голова срывающимся голосом.

— А скоро ль он выйдет из каземата?

— Да никогда, господь с тобой... не выпустят...

Салагаик осеняет себя крестом и садится в тень рябины на влажную землю. Собака, снова приблизившись к столу, улеглась было на землю, но так ей не видно мяса, лежащего на столе, и она тоже садится. Но эта позиция, видимо, опять не устраивает ее, и она переходит на другое место.

— И чего надо этим бабам — не пойму, — сокрушенно говорит Салагаик. — Сыты, обуты, муж — знатный человек на селе. Живи да радуйся. Так нет, еще чего-то надо... Ох, как

верно сказано в писании божием: женщина — это сосуд, до краев наполненный грехом.

— Мужа, говорит, ты мово живьем съел. Как разозлится, так и палит, так и палит в меня этим.

— Его ж закон судил, а не ты...

— А ей-то что, разве она понимает? Поди поговори с ней... Уж год со мной живет, а сама...

Салагаик вдруг подвигается к уху собеседника и начинает говорить горячо и сбивчиво:

— Послушай, Иван Маркелыч. Или я тебя не понимаю... Ведь что бы там ни было, а переспит баба, прости меня, господи, с мужиком ночь — и она в его власти, на всю жизнь к нему привязана... А у тебя все иначе...

Голова пытается что-то сказать, но голос у него сел окончательно. Он безнадежно машет рукой.

— Что с голосом-то у тебя, Иван Маркелыч?

— Погреб... — еле-еле выдавил из себя голова.

— Чего погреб?.. Кого?

— В погреб, говорю, сел... От жары не знал куда деться. Потный был. Ну и уснул там, прямо на льду...

— А я вот как знал, медку принес тебе! Кстати, выходит, пришелся. Вскипяти чай с медом да водочки налей и дерни в баньке горяченькой. Через два-три дня как рукой всю хворь снимет. Не поможет — к матушке приходи. У нее малина сушеная водится на такой случай.

— Есть заходите! — доносится со двора голос молодухи.

Салагаик и голова поспешно собирают со стола снедь и идут во двор. Собака, воспользовавшись моментом, мигом встала на задние лапы, обнюхала стол и, не обнаружив на нем съестного, потрусила за мужчинами. Но поняв в конце концов, что от них ей не перепадет ни крошки, повернула назад и побрела к копошащимся в навозе курам.

У калитки голова протянул Салагаику ключ от подвала.

— За что ты его посадил, отец Александр? Гляди, как бы с голоду он не того, не подох бы.

— Это за один-то день? Как же, уморишь его, бугая эдакого... Да мне не жалко, я бы и покормил, только ключ-то ведь у тебя...

— Как бы начальство не пронюхало...

— Все мы во власти всевышнего, Иван Маркелыч. Да коль и прознает, ничего страшного — грешный он человек, Мигабар-то.

— Ну ладно, сам посадил — сам и распутывайся с ним. Это твоя находка. Только чтоб большой огласки не вышло.

— Да какая огласка, коль он слова по-русски не вяжет?

И они вошли в калитку, высокий, с грузными ногами голова и приземистый Салагаик.

Молодая, стоявшая за калиткой, выслушала весь их разговор и направилась в огород.

* * *

Прошел еще день. По деревне ходят две растерянные девочки — дочери Мигабара. Суп в деревянном жбане давно остыл, а они все еще с надеждой смотрят на конторский дом: авось кто-нибудь войдет туда или выйдет. Но в конторе тихо. Только сквозь ветви акации видно распахнутое окно да на крыльце, высунув красный длинный язык, лежит черная, с белой головой собака. Время от времени, когда назойливые мухи становятся чересчур нахальными, она вскидывает голову и звучно клацает зубами.

Проходит и ночь. Салагаик слышал, как бесновался в подвале Мигабар, кричал, бил ногами в дверь. Но постороннему уху даже в трех шагах было невдомек, что в подвале заперт человек.

* * *

Только на третий день к вечеру Салагаик открыл наружную дверь подвала. И тут Мигабар увидел, что внутренняя дверь сверху и снизу обита железом, а в середине ее — дыра, ладони в две величины. Он сразу прильнул к отверстию, вдохнул свежего воздуха и, опьяненный, свалился возле двери.

— Открой скорей, батюшка, задохнулся я тут совсем.

Салагаик отступил от двери.

— Да ключа у меня нет, Мигабар. Я и от наружной-то двери тайком у головы взял, а другой ключ он при себе держит, вот какая незадача.

— А где ж он, голова-то? Пошто меня не выпускает?

— Их всех по какой-то надобности в Козьмодемьянск звали. Никого в конторе нету.

— Как нету? Шаги я слышал, ходит там кто-то...

— Да приходящие это, просители. Мало ли за день кто там перебывает. Вон и наша Фекла полы там мыла.

— Послушай, батюшка, до каких пор мне тут сидеть? Когда вернутся начальники-то?

— Не знаю, Мигабар, не знаю. Может, завтра, а может, и через день. Сами хозяева, сколько им надо, столько и пробудут в городе.

— А мне, выходит, голодному сидеть все это время?

— Отчего ж голодному? Я вот принес тебе еду, — Салагак просунул в дыру кусок свинины и хлеб.

Глаза Мигабара исчезли, и тотчас послышалось частое дыхание набросившегося на еду человека. Но вдруг Мигабар снова появился у глазка.

— Нет, не могу есть, батюшка. Не идет. Ты лучше вели снести это моим ребятишкам.

— Да найдем для ребятишек-то, ешь. Скажу вон Микки — он и им отнесет.

— Правда, батюшка? Спасибо тебе. В долгу не останусь.

— Ладно, чего уж там...

— Слушай, батюшка, выпусти ты меня отсюда, что я — разбойник какой?

— С радостью бы, Мигабар, да как?

— Кликни людей, чтоб запер разбили.

— За это нас всех потом закроют. Нельзя, Мигабар. Потерпеть еще немного надо. Много ждал... А пока Расскажи мне все твои прегрешения, как есть.

— Нету за мной никакой вины, батюшка.

— Ой, не говори, Мигабар! Языком твоим бес разговаривает, а не ты. Все мы грешны перед Богом. А потому лучше покайся, попроси прощенья... О грехах твоих мне голова поведал. Сказывал, что ты хорошо знаешь обычай красть землю. Людям ты о нем говорил, я знаю, только ведь это не снимет с тебя греха, ты мне, наместнику божьему, должен все поведать. Это первое...

— Тебе об этом знать, батюшка, ни к чему. Да и говорить о том нельзя. Это — тайна. Даже услышишь ее — сделай вид, что не слышал.

— Перед кражей-то, говорят, в жертву приносят живую душу, а?

— Говорят... Кто говорит-то? Вранье все. Никогда не было этого. Да и землю-то не мы воровали, а у нас украли, я тебе про то еще третьюводни сказывал.

— Так-то оно так... Только в этом деле ты все равно знаток, потому и воров тебе поймать сподручней...

Мигабар гневно сверкнул в темноте глазами, презрительно оглядел приземистую фигуру попа.

— Я ведь не пристав какой, чтоб людей ловить, и не староста. Так что, батюшка, на этот счет и слова не заводи. Кому надо — тот пусть и изловит.

Салагаик неизвестно отчего вдруг усмехнулся.

— Не-ет, Мигабар, покаяться ты все равно должен. Мне Иван Маркелыч сказывал, за тобой еще один большой грех есть. Выведи, говорит, раба своего на путь праведный, помоги ему, говорит...

— Какой еще такой грех, батюшка? — равнодушно спрашивает узник.

— А как же: с ребеночком-то ты нас обманул? Она у тебя девчонка, а ты ее за сына выдал. Это большущий грех, Мигабар, страшный грех.

Дубовая дверь будто треснула, и Салагаик в испуге отскочил, захлопнул наружную и подпер ее спиной. Но из подвала больше не донеслось ни звука. Послушав еще немного, Салагаик отлепился от двери и на цыпочках пошел по двору, воровато оглядываясь. Но вот он снова вернулся к подвалу и, тихо приоткрыв дверь, ехидно спросил:

— Так это правда, сын мой?

Изнутри донесся тяжелый обреченный вздох:

— Правда, батюшка...

— И пошто ты надумал такое?

— Пошто? Детишек чтоб как-то прокормить. Ведь всего два подушных надела на десять ртов — по крупице на каждого выходит. Как тут...

— Грех, большой грех ты взял на душу, раб божий: народ обманул, себя обманул, душу дьяволу продал.

— Никого я не обманывал, — тихо проговорил Мигабар. — Что у меня не сын, а девка, вся деревня знает. И землю мне нарезали из пустошей.

Салагаик покачал в темноте головой.

— И все равно ты грешен. Покайся, искупи свои грехи.

— В чем же я грешен, батюшка? — пробасил Мигабар безо всякого интереса.

— В том, что слушал обманные речи, старался за день завтрашний, богатство на земле надумал нажить, горевал о том, что будешь есть, пить. А ведь наш верховный отец сам обо всем этом заботится.

За дверью послышалась возня, и откуда-то из глубины донесся голос Мигабара, похоже, он опустил на пол.

— Испить бы мне, батюшка...

Спотыкаясь в темноте, Салагаик принес глиняный ковш с водой.

— Ну, теперь можешь закрывать дверь, батюшка, — спокойно сказал Мигабар. — Я спать ложусь.

Салагаик приблизил лицо к глазку. Мигабар, видимо, в самом деле улегся — дыхание его слышно издалека.

— Чего ж ты надумал, Мигабар? — в голосе попа нетерпеливое любопытство.

— Насчет чего, батюшка?

— Насчет покаянья.

— А мне не в чем каяться, батюшка.

Выведенный из терпения, Салагаик звонко, по-бабьи шлепнул себя по бедрам.

— Ох, боюсь я за тебя, сын мой! Знаешь ли ты, чем это может обернуться? Сибирью, сын мой, Сибирью! Не раскаешься в своих грехах, не договоришься добром с начальством — загремишь, как твой дед, кандалами, ей-ей, загремишь.

Мигабар поднялся, подошел к двери.

— Что надо, батюшка, чтоб покаяться? — все так же спокойно спросил он.

— Стань на колени и молись. И брось зариться на богатство. Вон птахи божии — не сеют, не жнут, в амбары не кладут, а все сыты. А люди чем хуже их? И я за тебя, грешного, помолюсь. И по другим церквам попрошу за раба Божия Мигабара свечи поставить. А ты не скупись — положи Богу рублей десять на это... И с начальством будь покорен. Отдай им медвежью шкуру-то, что в прошлом годе содрал. Ведь как в писании-то сказано: не оскудеет рука дающего, Бог тебе трижды за это возвернет...

— Постой, батюшка, — вдруг прерывает пастыря бас Мигабара. — Сказать тебе одну вещь?

— Скажи, — с радостью ожидает ответа Салагаик.

— Меня в этот подвал ведь не голова упрятал, а ты! И потому я с тобой больше рта не раскрою. А денег моих да шкуры тебе вовек не видать. Чего захотел — шкуру медвежью...

* * *

На другую ночь Салагаик снова явился к Мигабару, угваривал, запугивал, однако тот, как обещал, не проронил ни единого слова, не взглянул ни разу в его сторону.

Наступила и миновала третья ночь.

Днем Мигабара никто не беспокоил. Но вечером к нему опять пришел Салагаик. Мигабар не принял от него даже еду.

* * *

Три с половиной шага — пять шагов... Три шага... пять шагов... Только когда закружится голова, Мигабар теряет ориентир и больно стучается о стенку. Нашупав руками дверь, пытается открыть задвижку, рвет ворот рубахи — душно!

Пока ходит, хочется вроде прилечь. Ляжет — не спится, снова встает. Мается Мигабар, тошно ему. Тело налилось каменной тяжестью, сдавливая все нутро. Руки падают, как подрубленные сосенки.

...Детишки, конечно, сидят голодные. Единственный мужчина малолетний Мигабар рядом с отцом делает все, а без отца и он, поди, растерялся. Жена кормит грудью младенца, мало того — болеет часто. Да, в тяжкое время растут его дети. Вот уж третий год неурожай. И приварка нет никакого: всю живность давным-давно зарезали и съели. А как растить без молока ребятишек, как?..

Тяжко, ох, тяжело...

И с женой не повезло Мигабару. Молодая, красивая, а за год вся увяла...

Летом Мигабар всей семьей подражается к богатым на прополку, зимой плетет лапти на продажу, помогает жене ткать холсты, бегает на охоту.

На охоту... Чего стоит одно слово — охота! Мигабар вдруг явственно ощутил свежесть осеннего леса, задышал легко,

свободно. Бывало, чуть свет сварит картошки, сунет ее в мешочек за пазуху, встанет на лыжи и помчится по белому полю, словно олень. Ветер режет лицо, а горячая картошка греет тело под ветхой шубенкой. И отступает колючий ветер, так больно щипавший глаза, вместо этого он теперь ласково гладит щеки.

Зайца, рябчика, куропатку осенью и зимой хорошо брать на петлю. Не ленись только расставить на тропах, по которым они бегают, петли из конского волоса, кто-нибудь наверхья попадет. А иной раз только выйдешь на рассвете на овин и прихлопнешь деревянной лопатой раздобревшую на мякинных зернах, круглую, словно головка масла, куропатку.

Это — способы охоты в одиночку или вдвоем. А гурьбой на охоту ходят зимой с тенетами — широкой сетью, связанной из суровых ниток...

Обычно с тенетами охотятся крепкие мужики. А такие голяки, как Мигабар, годятся только для гонки зайца. И как бы ни была удачна охота, бедняку перепадет не больше одного зайца за неделю.

На крупных зверей, вроде медведя, волка, рыси, лося, чуваша охотятся по-разному. Одни роют на пути зверя глубокую яму-западню и прикрывают ее сверху ветками. Если обнаружат медвежью берлогу, выкуривают оттуда зверя дымом.

Мигабар, по старинному обычаю, ходит на медведя только с ножом. Ляжет на дорогу и притворится мертвым, по запаху стараясь уловить приближение косолапого. Бывает, пройдет полдня, день, неделя — и ничего!.. А уж если изловит кто косолапого, вся деревня соберется и долго еще будет вспоминать, как все было... Тот и этот, говорят, медведя поймали... Почет им и уважение.

Итак, охотник лежит. Незаметно надвигается ночь. На поляну то и дело падают сухие листья. Лицо мокро от моросящего дождя. Далекие верхушки деревьев качаются под порывами ветра, словно подметают громадными вениками звездное небо.

Наступает ночь. Холод пробирает даже сквозь расстеленную на земле шкуру. Хочется есть. Но двигаться нельзя. Сонный лес вздохнет шумно вместе с ветром и снова погружает-

ся в дремоту. Да, много чего его, беднягу, донимает: и голод, и холод, и страх, и сон... Мученье — да и только!

И тут где-то вдаль раздаются тяжелые шаги. Неужто идет? Не открывая глаз, охотник видит его большую лохматую голову, косолапую поступь, из всех запахов выделяет запах медведя. Трещат под грузным хозяином леса сухие сушняки...

Продрогший за ночь охотник вдруг покрывается потом.

Вот уже совсем близко дыхание зверя. Вот он остановился, приподнял переднюю лапу, с интересом разглядывал маленькими глазками распростертого перед ним человека. Медведь смелеет: сделав последние шаги, переступает через неподвижного охотника, обнюхивает его. А тот только и ждал этой минуты! Вскинувшись пружиной, он всаживает медведю нож в брюхо и, оседлав его, присасывается к нему как клещ...

Неправда, что победителем всегда выходит охотник. Побеждает тот, кто окажется более увертливым, расторопным.

* * *

Пять шагов, три с половиной... Три, пять... Мигабар ходит осторожно, как по качающейся на волнах лодке. Стоит ему углубиться в свои размышления, как он, забыв, где находится, ударяется о стену и мешком сползает на пол. Временами он уже не замечает, когда садится: только что ходил, отсчитывал шаги — и вот очнулся на полу.

Так прошло восемь, а с нынешним уже девять дней.

* * *

— Послушай, Мигабар, ты вроде мужик неглупый! Себя не жалеешь, детей своих пощадил бы. Помрешь с голоду — на кого их оставишь? Семью легко разорить, а вот как ее собрать?.. Гляди-ка, я тебе блинов горячих принес. Матушка особо для тебя напекла...

И зачем тебе староста — не пойму. И голова не придет: занят он, мне велел с тобой поговорить... Не хочешь блинов, может, мясца принесу, а? С хлебом? Не пьешь, не ешь, со мной не разговариваешь — этим ты все Бога гневишь, Мигабар... Грех на себя опять же берешь, — продолжает увещевать своего узника отец Александр. — Да говорил я с Ива-

ном-то Маркелычем, говорил. Не надо ему теперь твоих денег. Отдай шкуру — и дело с венцом, он ее начальству поднесет... Да про обычай расскажи, про кражу земли-то. А? Молчишь? Ах, раб Божий, раб Божий...

* * *

На рассвете распахнулись обе подвальные двери, и Мигабар вышел во двор конторы. Сделал шаг и покачнулся. В глазах потемнело, круги пошли. Прислонился к забору, постоял. Отдышавшись, выпрямился, победно глянул в сторону стоявшего с ключами в руках Салагаика.

— Ты меня сломить думал?! Нет, не выйдет, батюшка. Не сломишь ты нас, не сломишь! — сказал Мигабар и зашагал домой.

В страду

Стоит жара. Травы и листья деревьев, испекшись на солнце, скручиваются в трубку, опадают с шумом на землю. От солнца пышет словно от натопленной печки, прожигает насквозь тело. Одуревшие от жары галки и грачи с раскрытыми клювами, не страшась ни людей, ни собак, безмолвно спасаются в тени дворов, стен, заборов, телег — лишь бы была тень.

А деревня от мала до велика — в поле. Улицы пустынные, будто жители ее вымерли. Лишь изредка выбежит торопливо из ворот какого-нибудь дома женщина с кувшином в руках — и опять в поле: понесла воду или уйран или сготовила немудрящий обед.

По вековому обычаю, в поле вышли с серпами. Но жать нечего: ржаные колосья сморщились, высохли, пусты и легки; от малейшего ветерка клонятся, словно хлипкая мятлица. Стебли не выше черенка ложки, и те подернуты белым налетом, будто инеем. Даже издали видятся черные проплешины на несжатых загонах — так редки и хилы хлеба. Единственный за все лето дождь, пролившийся в ночь убийства Яриле, не промочил землю и на вершок.

Невдалеке от деревни, у дороги, трудится с семьей сосед Ухтивана — Мульдиер. В конце загона — детская лубяная люлька, в ней голый, ничем не покрытый ребенок. Другой карапуз копошится на дороге. Восьмилетняя Кельбиге неподалеку

от отца выбирает колосья, бережно освобождая стебли от земли, — как бы не осыпалось драгоценное зерно. С непривычки у девочки болят руки, шея, спина. Как только она наберет горсть стеблей, сразу выпрямляется и несет их к отцовскому снопу.

— Трудись, трудись, дочка, — подбадривает ее отец. — Трудюлюбивый, говорят, на все руки мастером стал...

— Папаня, а мы испечем хоть разок новый хлеб?

— Испечем, дочка, испечем, коль от семян останется.

Девочка голодна, у нее нестерпимо саднят исколотые, поцарапанные руки, вдобавок солнце палит нещадно.

— Мама, наверно, уж яшку заварила...

— Заварила, поди...

«Господи, какие счастливицы эти малыши! — думает девочка. — Одна вон копошится в дорожной пыли, другая — спит. А ты — целый день в работе! Хоть бы мама поскорее пришла!..»

— Уж кипит, поди, суп-то, папаня?

— Кипит, кипит. Мать ведь давно ушла. Потерпи еще маленько, дочка, скоро придет она...

А через загон от Мульдиера уже сели обедать работники Сухорукого Эрнюка. Босая, как и отец, в длинном холщовом платье Кельбиге, приложив руку ко лбу, не мигаючи смотрит в их сторону, глотая голодную слюну.

— Папаня, можно я опять пойду нянчиться с Эрнюковым внучонком?

— Ты ж сама от них сбежала...

— Хозяйки боюсь. Как заплачет маленький, она враз меня таскать за волосы...

— А ты гляди, не давай ему плакать. Зыбку посильней качай.

— Так ведь он выпадет! Нет, я лучше волосы остригу, ладно, папаня?

— Ладно, дочка, ладно. Ты маленько теперь того, помолчи, молча поработай, устал я...

Девочка, вырвав несколько стеблей, вновь выпрямляется.

— И чего это мама долго нейдет?

Мульдиер тоже поднимается, сердито шикает на дочь.

— Не ной-ка ты ради бога... Вон в деревне шум какой-то, неуж тряслось чего?

Из ворот околицы выехал всадник. Потоптавшись на месте, словно раздумывая, в какую сторону поскакать, он прищипорил коня и понесся в поле, к жнецам. Возившиеся в пыли ребятишки шарахнулись с дороги в стороны, словно испуганные куры. Взрослые настороженно подняли головы, застыли: ждут!

И вот всадник — сын Петра Велята Павел — на загоне.

— Эй, мужики, все собирайтесь в деревню! Все-е! Конторщики приехали! Велели быстро!..

— Зачем приехали-то?

— Узнаете на сходе. А сейчас — скорей все в деревню. Работникам Эрнюка велено оставаться на поле.

— Нашли же времечко для схода, — ворчит Мульдиер, собирая серпы, и не торопится: ждет, когда пойдут мужики с других загонов.

Люди потянулись вниз, к деревне.

К Мульдиеру подошел Касьян.

— Идешь, кум?

— Всем, вишь, велено, как не идти? — И Кельбиге: — Скоро мать подойдет, не бойся, гляди тут...

И, посадив маленьких на телегу, зашагал, кривоногий и худой, вместе с Касьяном за всеми.

Кельбиге с радостью плюхается в пыль: отдых!

Деревня, казавшаяся только что вымершей, вмиг ожила, задвигалась. Петр Велят с десятниками носятся из избы в избу. Илле Щеголь и одноглазый Шахрун стоят возле дома Эрнюка. То и дело скрежестет дверь, там и тут кудахчат куры, заходятся в плаче ребятишки. Не привыкшая ходить в туфлях, Пазя тащит лагун с пивом...

Крестьяне, спускающиеся с поля, вмиг оказываются загнанными во двор караулки, у ворот которой стоят люди с ружьями.

А к дому Эрнюка все идут и идут люди, несут прирезанных кур, пиво, мед, вино... «Дары» принимает Шахрун и передает женщинам, стряпающим во дворе.

— Что еще надо? — услужливо спрашивает он у волостных «гостей».

— Масла! — доносится со двора.

— Яиц!

— Творогу-чигыту!

Не проходит и несколько минут, как требуемое словно в сказке оказывается уже у дома Эрнюка.

— Еще чего требуется?

И пошло-поехало снова:

— Пива!

— Меду!

— Масла побольше!

— Вина, водки!

Даже Шахрун дивится: и куда в них лезет столько еды-питья?!

— Придется гнать в Хурагасинский кабак — кончилась водка!

— Гони куда ближе!

— А деньги кто да...

К Шахруну подскочил Ивук, больно ткнул в подбородок:

— Ты что, ополоумел? Какие сейчас разговоры о деньгах!

Найди где хочешь, потом сквитаемся. Скажи вон дяде Петру...

Через минуту по дороге в Хурагасы уже мчался верховой, до небес вздымая густые клубы пыли.

— Мне домой али как, Ивук?

— Не смей никуда, Шахрун! Тебе сам голова, Иван Маркелыч, тут велел стоять и никого не впускать, понял?

В сенях, прямо на полу, освеженном холодной водой, сидят за низеньким столом Эрнюк, Илле, конторщики. Ивук, по молодости лет, не участвует в пьянке. А староста с десятниками продолжает шарить по деревне. Если в доме не оказывается никого, они сами лезут в погреб, в ларь и выгребают, что можно. Застав хозяев, Петр Велят сразу начинает выкладывать им недоимки, «грехи».

— Подушные заплатили?

— Не успели... Так ведь время-то еще терпит...

— Кому терпит, а кому и нет! Давай скорей яйца, масло, чигыт.

— Да нет ничего, корма не уродились нынче...

— Ну, пусть тогда конторщики поищут. Уж они-то найдут все, что надо.

И Петр Велят идет к двери. Перепуганная насмерть хозяйка окликает его:

— Постой, есть у меня маленько яйца-то...

— И масло нужно, масло, масло...

— Ах, господи, помилуй! Ты уж больно круто жмешь, кум Петр! Мы, почитай, и забыли, как оно пахнет, масло-то.

— Ну как знаешь. Мне с тобой базарить некогда, мне велят...

— А коль я масло-то отдам, — есть у меня с полфунта про запас, — куланай с нас спишут?

— Сказали, спишут. Да ты наперед думай не о том, а как умягчить начальство! Давай скорей масло!

Во дворе караулки полным-полно народу. У ворот — куча серпов: Ивук надоумил оставить серпы за воротами. Целый день пекшиеся на солнце мужики тычутся в тень, как овцы в таборе, раскуривают трубки, негромко перебрасываются словами. То, что неожиданно пришлось прервать работу, иных вроде даже обрадовало: распустив ворота рубах, они блаженно растянулись прямо на земле, — мол, вины за нами все равно нет никакой, так что надо воспользоваться выпавшим случаем и передохнуть. Не наводит ужаса и долговязый верзила с ружьем: что бы там ни было — на миру все не так страшно: что людям, то и нам...

В воздухе стоит терпкий запах мужского пота, смешанный с пылью. Душно.

Мульдиер и Касьян схоронились в тени амбара.

— Чего ради нас тут согнали, Мульдиер, не знаешь?

— У конторщиков да попов одна песня — чего-нибудь вымогать приехали.

— Да, да. Уж возьмут, непременно возьмут...

— И ведь никогда не насытятся. Ровно в прорву какую сыплют. Раньше в волости было три-четыре начальника, теперь — целое стадо. А к ним еще прибавить их жен, детей, дедушек, бабушек... И все хотят пожрать послаще, приодеться понарядней. А ведь одежда-то зря не дается, и блины с неба не падают. Где взять? Вот они с нас и лупят.

— Не говори, кум, не говори... Но куланай-то вроде еще рановато собирать?

— Рано не рано, с меня взятки гладки: нет у меня ничего. Сами сидим голодные. Не зря, видать, говорят: у счастливого жена умирает, у несчастного — лошадь. С вечера в конюшню загнал живу-здорову, а наутро вздуло ее как гору. То ли корм не годился...

— Так без жены-то тоже не жизнь, — вдруг признается Касьян.

— Да я к слову только. Пока живешь, все надобно человеку.
А среди мужиков, сидящих под навесом, разговор идет об Ухтиване.

— Как парень-то, выживет — нет?

— Да не заметно пока толку. Вряд ли выкарабкается.

— Кто ж его так, ножом-то пырнул? И за что?

— Я так и не понял ничего: в чем его винят, Ухтиванато? Болтают, будто деньги большие где-то украл. Ивук эту сплетню разносит. Другие рассказывают, будто лошадей он вместе с отцом воровать ходил, да вот попались...

— Да уж дыму без огня не бывает.

— «Сказывают, говорят!» Нашелся умник. Один выпустит слово, а ты подхватываешь! Тьфу!

— Нет, ты уж договаривай давай, не плюйся!

— А чего с тобой говорить? Хитрецы нарочно сплетни распускают, а ты им веришь. Кому не знать, был ли в роду Яриле хоть один нечистый на руку, а? В жизни такого не было. А послушать Илле, так...

— Да, земля ему пухом, бедолаге Яриле...

Через двор наискосок проходит Ивук.

— Тише, мужики, пес конторский идет.

— Ну, скоро пообедают начальники, Ивук?

— Какой я тебе Ивук? Иван Ильич я!

— Да я попросту, мол, земляк ты мне...

— Ха, земляк нашелся! Ты сперва долги мне отдай, а потом я посмотрю, земляк ты мне али нет! Лежа еще разговаривает, свинья! Я тебе кто, какой-нибудь Ухтиван, что ли? А ну-ка, поднимайся.

Люди проворно повскакали на ноги.

— С вами человек из волости разговаривает, а вы, как быки, лежа мычите. Порядка не знаете?!

— Так мы ведь прямо с поля, устали, чай...

— Постой, тебя как звать?

— Своих земляков-то, поди, всех знаешь...

— Опять «земляки»?! У меня таких земляков, как ты, целая волость, черт вас всех упомнит!

— А ты у людей вон спроси.

— Как его зовут, этого зубоскала?

Никто не отозвался. Тихо.

— Ладно. Поглядим. Я ж тебя так и так знаю: Ягур ты.

- Видать, не перезабыл все же односельчан-то...
- Я тебе покажу «односельчан»! Ты у меня узнаешь, как бунтовать! Чтоб у меня не смел тут лежать! Слышали? Всем стоять на ногах. Власти из-за них ночей не спят, стараются за них, а они разлеглись тут, как в стаде.
- У ворот Ивук оглянулся и еще раз пригрозил:
- Еще только увижу, кто ляжет!..
- И ушел.
- Вот так отпрыск у Щеголя вылупился!
- Соседей своих перестал узнавать, собака.
- Чем это он сапоги свои мажет, дух-то какой тошный, за версту прет.
- Э-э, не скажи! Ты за всю жизнь столько масла не съел, сколько он его извел на свои сапоги да на волосы.
- А нам и понюхать нечего...
- Да, не жизнь это. Каждый сопляк тебя норовит запугать.
- Как горох при дороге: кто ни пройдет, всяк ушипнет...
- Ничего, начнет чересчур зарываться, пообломаем ноги-то и ему...
- Сломал вон один, Ухтиван-то... Видал, чего с ним сделали?
- Да, это у них такой порядок нынче...
- Порядок, говоришь? Ты, дядя Нягусь, не подпевай этим душегубам. Коль дело на то пошло, мы тоже не станем ушами хлопать...
- Я в Хурагасах слышал, будто где-то на Урале русские бунт подняли против хозяев.
- Так-то русские, Ягур. Они-то могут...
- Пугач тоже из русских был, ан чувашаи к нему примкнули. Вон дед Мигабара из Оринина чай с самим Пугачом пил, говорят.
- Да мне твой чай даром не нужен. Кашель от него приключается...
- Ну и сказал! Вовсе не так — все нутро от него мягчеет.
- А ты больно много его пил, видать?
- Да нет, где там, сам не пил, не приводилось, а как барин пил, мой дядя сказывал.
- Что с тобой, дядя Нягусь? Охаешь чего?
- Стар стал, ноги ломают.

— Присядь вот тут...

— И вправду, сяду маленько. А крапивник покажется, ты мне в бок толкни.

— А где этот Урал-то, Ягур? В городе, что ли?

— За Волгой, на той стороне, говорят. Русские там за себя крепко бьются, сказывают...

Уже недалеко вечер. Охранников у ворот сменил Шахрун; с ружьем в руках он ходит, с хрустом подминая жухлую траву. Сквозь щели в заборе смотрят любопытные мальчишки. Женщины в поле.

— Долго нам тут еще стоять-то?

— А покуда не свалишься.

— Эх, и издеваются же над нашим братом, изверги! Согнали, как овец, и заперли, а? Сами обжираются-опиваются, а мы тут сиди, жди их, рты разинув.

— Потихе ты. Вон уши наострил Иллин лис-то...

— Кто, Шахрун, что ли? Да он не лис, а волк настоящий.

— Кол осиновый, вот чего.

— Ничего, схлопочет и его рано или поздно, получит свое, супостат.

— Пока не наедятся, не напьются до отвалу, об нас не вспомнят, это точно. Сорвали с поля и ладно. Мало того, что неурожай...

— Эх, приди Пугач, я бы первым делом вспорол им толстые брюха. Сгинь, бесово отродье!

— Папань, а папань! — зовет из-за забора детский голос.

— Чей это ребяенок-то? Мульдиер, никак, твоя дочка?

В щели забора блестят глазенки Кельбиге.

— Папаня, ты, наверное, есть хочешь?

— Оно бы неплохо, дочка, поесть-то, только не выпускают нас отсюда. Сход, говорят, будет.

— А я тебе яшку сюда принесла, вот, в чирясе.

— Мать где?

— В поле осталась. А меня сюда, к тебе, послала...

— Сама-то ты поела ли, Кельбиге?

— Нет, я после тебя, что останется...

Мульдиер присел возле стены, хлебнул две-три ложки похлебки и вернул посуду дочери.

— На, с матерью доедите, насытился я...

Только перед самым заходом солнца в конце улицы появились волостные. Не считая Ивука, охранников, сборщиков податей и хищного, как ястреб, козьмодемьянского мещанина, их трое: помощник окружного начальника, волостной голова и исправник. Все трое краснолицые, сытые. Приземистый исправник, качаясь из стороны в сторону, придерживает волочашую по земле шашку; голова изо всех сил старается идти прямо, но его тумбовидные ноги то и дело пьяно подламываются. Помощник окружного начальника выступает не хуже, чем на смотре, довольно легко подбрасывая свое круглое плотное тело. Фуражку он почему-то снял и несет в руках, ступает чересчур старательно, отчего еще больше заметно, что он пьян.

Поднявшись на крыльцо караулки, власти прошли коридором во двор. Группа деревенских богатеев — Эрнюк, Илле Шеголь, Петр Велят и городской мещанин с воровскими глазами — остались за забором. Словно рыбаки на рыбной ловле, они выжидают, что же нынче попадетя на их удочки.

Ивук стоит на крыльце как раз посередине между волостными и «рыболовами». Кто его позовет — он мигом успеет и в ту, и в другую сторону. Когда он смотрит на начальников, глаза его подобострастны, и он готов исполнить все, что ему ни прикажут. На земляков-богатеев он смотрит покровительственно: мол, знайте, кто ваш защитник...

Но вот его поманил пальцем помощник окружного начальника. Позвали и старосту.

— Начнем. Ты им переводы на чувашский лад, — приказал помощник Ивуку, кивнув на двор.

Наработавшись чуть свет, а потом изнывая полдня здесь, во дворе, без дела, Мульдиер едва держался на ногах. Но как только чиновник заговорил, он пробрался вперед, словно пытаясь самостоятельно все услышать и понять. Мульдиер слышит непонятные слова «общественная запашка», «государь», «на благо народа», но видит только опущенные, словно у kota, усы русского господина да его круглый, как сама буква «о», рот, на которую он налегает изо всех сил. Когда он повышает голос, глаза его тоже округляются, как и рот. Речь сытого чиновника мягка, туманна, так и обволакивает голову сладким дурманом; слова касаются уха и мягким войлочным мячиком тихо скатываются наземь. «Общественная

запашка» голодному Мульдиеру почему-то напоминает утреннюю водянистую картошку, которой он позавтракал, а то вдруг кажется похожей на одежду нараспашку. А слово «государь» так и бьет палкой по его ребристой спине...

Чиновник продолжает упиваться своей речью: то картинно закатит, а потом и вовсе закроет глаза, то завертит головой во все стороны, будто раскланивается... Разгоряченный выпитым, он больше всего доволен тем, что народ слушает его стоя.

Едва он закончил, вперед предупредительно выскочил Ивук.

— Господин начальник изволили сказать...

Мульдиер, Касьян, Ягур, все людское море заволновалось, задвигалось. Слова родного языка дошли до сознания каждого, развеяли туман, навеянный речью русского чиновника.

— Изволили сказать... Надо делать запашку...

— Аппашку¹?

Мульдиер почувствовал, как екнуло у него внутри. Он понял одно: начальник требует какого-то дела. Может, починить мост? Или валить лес? Что ж, закончат с уборкой, можно и поработать. Работать — не долги отдавать, вот долги ему платить нечем...

— Что это за «аппашка»?

Ивук позыркал по рядам, остановил маленькие глазки на Мульдиере.

— Ну, хлеб надо посеять... Чтоб потом пополнить амбар магази.

— А семена кто даст?

— Отрежем землю возле Гнилой опушки, — торопливо, боясь, как бы его не прервали, тараторит Ивук, — а по правой стороне все останется по-старому. Тем, кто по левую сторону дороги, нарежем наделы в другом месте.

Двор зажужжал, как осиновый улей.

— Опять зерно для магази! Ведь в прошлом году деньги содрали за то, чтоб не брать у народа землю!

— Не надо нам магази!

— Тридцать десятин — это выходит тридцать наделов!

Маленький Мульдиер подступил к самому крыльцу.

— Спросить хочу, Ивук, я у начальника... У меня один

¹ Обыгранное чувашское «аппа» — сестра, тетя.

всего и есть мало-мальски плодородный надел как раз у дороги. Ежели его отдам, где рожь посею?

— Около леса тебе надел отрежем, — не переводя вопроса Мульдиера, сам отвечает Ивук.

— Нет, ты у него спроси, — настаивает Мульдьер, — я вот этот самый надел вспахал да засеял на Эрнюковых лошадях, а после отработал за это у него на молотье. А у леса глину чем мне пахать? Пальцем разве?

Ивук нервничает.

— Отойди-ка ты лучше в сторонку. Ты что, один тут, чтоб с тобой растабаривать?

— А ты не спеши, еще спроси: отчего ты только по левую сторону дороги землю режешь, а по правой не трогаешь? Чьи там загоны-то, знаешь?

— Как же: там земля дяди Эрнюка...

— А еще, рядом с ним, чья?

Ивук молчит. Мульдьер помогает ему вспомнить:

— Прошлой осенью там Шахрун с Пазей сеяли...

— Ну, выходит, наши тоже есть...

— Так отчего же их не режете?

Оба спорщика вспотели. Наконец Ивук отмахнулся от Мульдиера, как от мухи, зло бросил:

— Да отстань ты от меня, репей проклятый!

Но на глаза ему неожиданно явился Ягур.

— Скажи, Ивук, — специально упирая на имя дьяка, — весной к нам приезжал голова?

— Ну, приезжал...

— Тогда он вместо земли приказал ссыпать в магазю от каждой семьи по мере зерна да собрать деньги, так?

— Ну, так...

— О земле тогда не говорили ни слова. Отчего ж теперь крутите-мутите сызнова?

— Свыше бумага пришла, понимать надо!

— Хлеба-то у многих нынче будет не больше семи-восьми пудов, а в каждой семье, считай, три-четыре рта. Их всех надо накормить да еще озимые посеять. А вы говорите: семена собрать. Где же взять их, семена-то?

— Ты, я гляжу, больше всех знаешь, Ягур. Чересчур умных много стало у нас.

— Да уж поузнели вот...

Ивук переговорил о чем-то с волостными и снова повернулся к народу.

— Ну, как договоримся, люди? Господин начальник и господин голова спешат в Акрамово. Нехорошо их задерживать!

Мульдиер протиснулся к Ягуру.

— Ты вроде по-русски маленько кумекал? Скажи-ка им, отчего это больно начальства много стало? Над округом начальник, помощник его, дьяки, волостное правление, деревенские опять же — староста с дьяконом... Пусть бы было, как прежде, лет десять назад. А землю мы не дадим. Семь бед — один ответ. Скажи, Ягур, как это будет по-русски?

— По-старем, надо сказать...

— По-старем! — звонко пронеслось над толпой. Из переполненных гневом, неизвестностью и нуждой душ, будто сквозь пробоину, неслось:

— По-ста-а-арем!..

Двор шумит, гудит, глушит все голоса и звуки:

— По-старем! Не надо нам семьдесят и семь судей-начальников! Им хорошо на сытое-то брюхо кострику веять! По-старем, к черту все!

Помощник окружного начальства спрашивает у Ивука:

— Что они кричат? Что значит «по-старем»?

— По-старому значит, как раньше жили, так и сейчас, мол, хотим.

— Ага, вон в чем дело. А ты им скажи: не согласятся — ни завтра, ни послезавтра не отпустим их по домам.

Ивук переводит слова чиновника.

— По-старем! — еще мощнее несется в ответ. — Не надо, не хотим аппашки!

— Гнать их всех в шею!

— Будьте прокляты, живодеры!

...Ездовые, сборщики податей, десятники, рассыльные, Шахрун — все встали в караул вокруг двора. Кто посмеет сбежать домой, того в каземат. Жен, детей, пытающихся передать мужикам еду, гонят прочь, бьют горшки, выливают наземь хлебку.

Люди смолкли, устроились на ночлег где попало. Чиркает огниво, вспыхивают огоньки трубок; кое-кто вполголоса разговаривает меж собой.

Деревня тоже молчит, ни огонька, ни звука, но люди и

тут не спят. По улицам скользят молчаливые тени, останавливаются, прислушиваются. Коротко скрипнет где-нибудь дверь, калитка — и опять все тихо. Не спят ошалевшие от горя жены, ходят со двора на двор, каждая толкуя о своем наболевшем, пытаясь хоть как-то умалить боль сердца.

Стоит пыльная, густая, душная ночь.

Мульдиер хотел прикорнуть на погребнице, но ему не спится. От голода и табачного дыма у него кружится голова, к горлу подступает тошнота. Рядом с ним копошится Касьян. Мульдиера раздражает и его возня, и попытки заговорить. Он и сам ворочается с боку на бок: то щепка упрется неловко в тело, то муравьи и всякий там гнус пробегают по коже.

Эх, будь он один, уж как-нибудь прокормил бы себя! Говорят, на Волге полно работы, мог бы туда податься. И в городе рабочие руки требуются. Сыт ли, голоден ли — все равно прожил бы один-то. Никто не плачет, не просит у тебя хлеба. А сейчас куда ни кинь — везде клин. Хоть ложись и помирай.

Мульдиер раскуривает трубку и ложится на спину. Небо чистое, темно-синее. В просвете между навесом и погребницей виден Млечный Путь — дорога лебедей. Звезды крупные, ясные и холодные, словно зимой, помигают-помигают и сгорают, исчезают бесследно.

Вечно занятый по горло работой, Мульдиер ничего этого и не замечал вокруг. Цветы видел только на сенокосе да на прополке, небо тоже мельком, когда спал на улице. А чтоб взглянуть на все это внимательно да полюбоваться этой красотой, у него, конечно, не было времени, да и не до того ему всегда было.

А сейчас вот лежит себе и разглядывает звезды, и напоминают они ему детские глазенки с блестящими в них слезинками...

Вернувшись со схода, исправник тут же призвал к себе старосту.

— Ну, что твои люди?

— Так же все... Не соглашаются...

— Плохой ты, выходит, староста, коль своих односельчан не можешь склонить на свою сторону.

— Да как их склонишь, господин исправник? Они за землю... боятся, что отнимут у них землю.

— Так, так...

— Что говорите?

— На твое место человека, говорю, надо подыскать. Плохо службу несешь.

— Господин исправник, я уж и так... Жизни не жалею... Готов...

— Нет, не готов. Видишь, народ тебя не слушается, не хочет земли обществу нарезать!.. А может, с них деньги собрать?

— Как весной, что ли?.. Понимаю, господин исправник.

— Скажем, на голову по двадцать копеек. Ну, начальнику округа и кто повыше — поболее. Тогда и землю не надо будет трогать. А магазееу тоже пополнить за счет них же зерном.

— Отчего ж только по двадцати, господин исправник? Надо бы собрать по двадцати пяти.

— А это уж в твоей власти. Соберешь больше — мы от имени начальника округа и про тебя не забудем.

— Спасибо, господин исправник, премного благодарны.

— Только запомни: деньги ты собираешь не по чьему-либо там приказу, а народ, дескать, сам пожелал собрать, понял?

— Понял, господин исправник.

* * *

...Мульдиер проснулся на рассвете от чьего-то окрика. Открыл глаза — перед ним стоит Петр Велят.

— Ну, что думаешь, сосед?

— Насчет чего?

— А насчет того, что люди вместо земли порешили собрать начальству денег.

Сон с Мульдиера сдуло как ветром.

— Чтобы нас опять надули, как весной?

— Нет, больше не надуют. Весной были другие, не эти...

— А они все на одно лицо. Голова вон и весной был, и сейчас явился. Исправник тоже...

— Не знаю, как ты, а люди хотят собрать. Никому не хочется идти в крепостные к барину.

— Как это в крепостные?

— А так: сейчас отрежут девяносто десятин, на будущий год — еще столько же. А там, глядишь, и барин приедет.

— Нет у меня денег — и весь мой сказ.

— Ты что, против народу хочешь пойти? Люди так все порешили. Тогда уедет начальство из деревни, и с землей все останется как было...

— Нет, нет у меня денег! — Мульдиер в отчаянии развел руками.

— Продай что не то! Все одно ведь заставят! Пока не возьмут все, что им надо, не уедут!

Мульдиер, рассвирепев, поднимается с полу.

— Убирайся к чертовой матери! У меня полкопейки нету за душой!

— Ну, как знаешь! Не уплатишь деньги, отдашь землю... Без того никого отсюда не выпустят.

— Послушай-ка ты, Петр Велят: отчего это начальство все время с меня денег требует? Я что, брал у них займы когда, а?

— Так ведь я... я что? Они велят...

— Велят!.. Заучил одно слово: велят, велят! А с чего им велеть-то, а? По какому такому праву? Я ведь у них не брал и не беру.

— Землю потому как засеваешь...

— Да я за эту землю столько заплатил, что мне впору полдеревни купить! Давным-давно я за землю-то эту расплатился.

— Порядок такой, Мульдиер, порядок... Велят... Начальству деньги нужны.

— А мне они не нужны?

— Ну, мы с тобой люди маленькие. Мы и без денег проживем. А начальство не может.

— Тогда пусть работают. А у меня для них денег нет.

Староста отступил от разъяренного Мульдиера к Касьяну.

— А ты как думаешь, сосед?

— У меня тоже денег не густо...

— Смириться надо, Касьян. С людьми что в ад, что в рай, говорят. Продай что-нибудь.

— Что продавать-то? Я ж сюда, с собой, ничего не принес.

— А я тебя сейчас же домой отпущу, только согласись. Пожалста, иди, и покупатель там же найдется...

Народ во дворе в самом деле поредел. Люди сколотились в группки по трое-четверо и говорят, говорят... Спорят, решают.

К Мульдиеру подходит Илле Шеголь.

— Дай-ка прикурить.

— На, прикури вот. Уж лучше пусть трубка горит, чем душа...

— Зря ты упорствуешь, Мульдиер, отдай деньги, и пусть они катят себе своей дорогой.

— Нет денег. Были б... — на этот раз совсем беззлобно ответил Мульдиер.

— А я помогу тебе. Правда, с деньгами у всех туго, но помогу. Ты же мне взамен хмелю дашь, а? Остальное после обговорим.

— Хмеля у меня продажного больше нет. Все, что было, продал, оставил только для уплаты долгов несколько фунтов. А нового урожая не видать, похоже, сам знаешь.

— А ты не спеш с долгами-то. Небось Эрнюку задолжал? Мужик он кондовый, обойдется пока. У меня вон и землю-то не отрезают, а я все одно плачу наравне со всеми. Куда деревня, туда и я. А то как же?

— Нет, Илле, последний хмель как отдать — не отдам. Обожду малость.

Шеголь уходит ни с чем, останавливается около Эрнюка и городского мещанина. Мульдиер и не заметил, когда они появились во дворе. Они ходят от одного мужика к другому, уговаривают, запугивают. Тех, кто согласился внести деньги, отпускают домой. К началу дня во дворе осталось всего двадцать-тридцать человек. Потом и тех поубавилось.

А в деревне вовсе идет купля-продажа. Хозяева и хозяйки тащат к дому Эрнюка и Илле всякую всячину: кадки, лукошки, бочонки, прошлогодний хмель... Вещи идут за бесценок.

К обеду во дворе караулки остались Мульдиер, Ягур, дед Нягусь и еще человек пять-шесть молодых мужиков. Когда стало невмоготу от голода, они тоже стали звать «рыболовов». Но теперь заупрямился Илле Шеголь. Помимо хмеля он вытянул из Мульдиера полпуда зерна и две пары лаптей.

Только к вечеру второго дня шургасинцы вернулись на свои тощие полоски...

Тетушка Ульдусь

Осень наложила на все свои приметы, всюду чувствуется ее приход. В огородах высятся кучи желтой соломы, на макушках овинных жердей висят тощие снопики. Правда, в этот год не с зерном, а пустые пучки соломы. Урожай нынче скудный, и все же над деревней плывет сладковатый запах свежесваренного пива, по обочинам дороги ходят сытые куры, горланят петухи.

Деревня готовится к осеннему чуку¹.

Ухтиван сегодня впервые поднялся и вышел на улицу. Знахарка Ульдусь, не помня себя от радости, опустилась на колени и долго и благодарно молилась Пюлеху: еще одна живая душа осталась жить на белом свете, и в этом немалая заслуга ее, Ульдусь. Скрипку Ухтивана она спрятала подальше, чтоб не травил себе парень лишний раз душу грустным напевом.

Тетушка Ульдусь на своем долгом веку повидала и плохое, и хорошее. Когда-то была и у нее семья — муж, дети. И сама она не горбилась, как кочерга, а была стройна и гибка, точно молодая березка. По праздникам, бывало, вся улица возле их дома была запружена санями, а дом ломился от гостей.

Но вдруг жизнь повернулась к Ульдусь недоброй стороной: задрал медведь на охоте мужа, один за другим поумерли детишки, родственники стали сторониться осиротевшей вдовы, а вскоре и вовсе перестали знать. Тетушка Ульдусь замкнулась и чувствовала себя в родной деревне пришлой чужачкой. Вдобавок она пережила всех своих одногодок, и ровни в деревне ей не осталось.

Но тетушка Ульдусь не обижалась на судьбу: на то она и жизнь, чтоб расставлять все по-своему. Старились и умирали одни, их место занимали вновь народившиеся...

Годы изменили тетушку Ульдусь только внешне — с возрастом она все больше пригибалась к земле, как осенняя травка, но привычки свои не оставляла: одевалась чисто, всегда была опрятна, повязывала непременно сурбан, платье ее было белее снега.

¹ Жертвоприношения к празднику.

Неподвластны времени были и ее глаза.

Природу она любила с раннего детства и знала любую травку, любой цветок, какая в них польза или вред. Зеленый луг, лес были ее родным домом, а все живое в них — истинными друзьями...

А сколько запахов лета сохранялось в маленькой избушке Ульдусь до глубокой зимы! В самые трескучие морозы пахло там свежей малиной, луговыми цветами и травами...

Стоило кому-то в деревне заболеть, поломать руку, ногу или попасть еще в какую беду, тетушка Ульдусь не дожидаясь, когда за ней придут, а шла к бедняге сама. И лечение почти всегда приносило пользу — то ли и впрямь ее травы были целебны, то ли люди верили ей как Всевышнему.

Вот и в ту летнюю ночь, когда Шахрун напал на Ухтивана с ножом, а утром чуть свет старик Яриле нашел на пасеке полуживого сына и привез его домой, тетушка Ульдусь, услышав об этом, тут же явилась в дом Яриле.

Она не думала о том, всем ли угодно ее лечение, как посмотрят на это недруги Ухтивана, знала одно: людям надо помочь, коль они оказались в беде. И она помогала.

Сморщенная, как сушеный гриб, старушка промыла рану на теле бездыханного парня, присыпала ее толченым кварцем, прикрыла листьями подорожника и перевязала. Кровь остановилась. А к обеду пролежавший полсутки без признаков жизни, бледный, как полотно, Ухтиван вздохнул глубоко и, разбросав руки, попытался перевернуться. Потрясенная рана вновь засочилась.

К вечеру у парня началась горячка.

Потом его стало лихорадить.

Люди, повздыхав, поохав, разошлись, а тетушка Ульдусь вскипятила в молоке березовых почек и влила ложку этого заvara в рот не приходящего в себя парня, снова перевязала рану.

И Ухтиван открыл глаза. Увидев это, тетушка Ульдусь вышла в сени и стала истово молить всех богов — Хырбана, Пюлеха, Пихамбара, чтобы помогли они бедному поправиться.

...В избе тихо. Посередине на чурбаке сидит молчаливый Мульдиер. Возле нар, где лежит Ухтиван, горит лучина; время от времени ее отгоревший кончик падает в лохань с водой и с шипением гаснет.

Ухтиван задремал, у его изголовья, как неусыпный страж, сидит старушка в белом, раскачиваясь из стороны в сторону и горячо шепча молитвы:

«Только тогда, когда порежет и поранит медную наковальню железо, пусть только тогда порежет и поранит Ухтивана. Только тогда, когда порежет и поранит серебряную наковальню железо, пусть только тогда порежет и поранит нашего Ухтивана...»

В медном тереме медный человек. Только тогда, когда медного человека порежет и поранит железо, пусть только тогда порежет и поранит нашего Ухтивана...»

Тетушка Ульдусь по порядку поминает медную, серебряную, золотую наковальни, медного, серебряного и золотого человека.

К утру усталость взяла свое: тетушка Ульдусь свернулась калачиком на длинной лавке и уснула. Приснился ей нехороший сон. Будто пошла тетушка Ульдусь за целебными травами к стогам сухого сена, что в поле. Шуршит тетушка Ульдусь сухим сеном, словно мышь, перебирая травинки и стебли, и удивляется самой себе: «Зачем я это делаю? Ведь у меня с лета всего припасено вдоволь!» Старушка неожиданно взглядывает в сторону деревни. И вдруг до нее доходит, почему она здесь: избенка ее вся охвачена пламенем, а вместе с нею горят и целебные травы...

Старушка пытается бежать в деревню, но ноги отказали: то ли окаменели они, то ли приросли к земле, не поймет тетушка Ульдусь, только не может она сдвинуться с места.

«Земля, видно, меня к себе тянет, — думает она, — старая стала, да и грехов, поди, за всю-то жизнь накопилось у-ух сколько?»

А на деревне кричат, стучат в окна... Тетушка Ульдусь внезапно просыпается и подходит к маленькому, словно волоковому, оконцу. В рассветном сумраке она видит под окном человека, который в самом деле барабанит в раму.

— Ухтиван! Ты слышишь?

— Кто там? Чего надобно? — спрашивает старушка.

— Это я, Шахрун... Скажи Ухтивану, пускай отца забирает.

— Как отца? Откуда? Что с ним стряслось?

— На воровстве его поймали, ну и... пришибли. Возле дома дяди Илле он лежит.

Дрожащими руками старушка зажгла лучину и глянула на Ухтивана. Их глаза встретились. Парень слышал все, до единого слова.

Тетушка Ульдусь медленно опустилась рядом с лежащим Ухтиваном и, свесив белую голову на грудь, затряслась в беззвучных рыданиях.

После известия о смерти отца Ухтиван стал совсем плох, он надолго впал в беспамятство. Губы его почернели и потрескались, рана на спине вспухла, нагноилась.

Но только тетушка Ульдусь не сдается, хлопочет возле него с утра до ночи. Носит воду, готовит настои, промывает, перевязывает рану. Так день за днем. С ее приходом домик Яриле тоже пропах травами, сушеной малиной, взварами...

Ухтиван лежит, уставившись взглядом в одну точку на стене, и молчит. Молчит часами. То ли его гложет дума об отце, то ли он вовсе не думает ни о чем — не поймет бедная старушка. Но не пристаёт к нему с разговорами: знает, что лучший лекарь при сердечной ране — время. Молча сделает свои дела, потом неслышно выходит на улицу. И тут ее сразу обступают люди. Кто-то сует узелок с едой, кто-то принес горшочек молока. А вопросы у всех одни и те же:

— Ну, как он, Ухтиван-то?

— Ест ли хоть чего?

— Взглянуть бы на него...

— Много вас больно, — отмахивается тетушка Ульдусь, — нельзя его тревожить. Да он сам уж вот-вот встанет, да. Ежели мне не верите, Мульдиера вон спросите.

Когда старушка почувствовала, что парень пошел на поправку, она негромко, как бы между делом, спросила:

— Откуда у тебя эта рана-то, сынок?

Ухтиван удивленно взглянул на тетушку Ульдусь, присел на нарах.

— А разве я тебе не сказал об этом? Я-то думал, что давно уж ты знаешь... Шахрун меня это... ножом. Мед они ворованный на нашу пасеку пришли забрать, а я их поджидал там...

— Эх, сынок, давно бы сказать тебе это... А то вон на деревне-то всякое болтают. Тебя даже винит кое-кто.

— Меня? В чем винят-то?

— Будто с конокрадами тебя вместе видали... Ивук с Павлом. Лошадей будто ты с ворами...

— Тетушка Ульдусь, ты не знаешь, Ивук по вечерам приходит в деревню?

— Не знаю, сынок. Не хожу я по деревне-то. Правда, в прошлое воскресенье видала его с дочкой Касьяна, на базар шли...

Тетушка Ульдусь тут же пожалела о сказанном. Бледное лицо Ухтивана покрылось нехорошей синевой.

Спустя неделю старушка-сиротка перешла в дом Ухтивана насовсем.

Окончательное решение

Ухтивану вначале показалось чудно, даже смешно, что его ославили вором. «Как это? Ну кто в это поверит?» — думал он, когда приходил в себя и часами неподвижно глядел в одну точку. Потому и не придавал значения словам тетушки Ульдусь, а там и вовсе забыл о них.

Молодость победила: Ухтиван выздоровел.

Однажды, возвращаясь с кладбища — ходил на могилу отца, — он по привычке завернул на пасеку. И поразился запустению, которое царило теперь там: полянка с блеклой травой выглядела скучно и заброшенно; один только улей, словно сопротивляясь судьбе, хотя и косо, но крепко висел на старой черемухе.

Ухтиван вошел в сарай, лицо его опутала паутина. Посредине ровного земляного пола выросла тонконогая бледная поганка. На сплетенной из ивовых прутьев скамейке лежит соломенная труха, пыль.

Парень тяжело опустился на чурбак. Камень, тяжелый камень на сердце! С того дня, как ушел из деревни, — нет, раньше: с того дня, как он помнит себя, — какая-то непроходящая, неотпускающая тяжесть холодной змеей лежит на груди Ухтивана, словно привязана невидимой цепью. Как избавиться от этого камня, от этой постоянной тяжести? Как разорвать цепь, сковавшую его? Да и где она, эта цепь?

Он невольно опять и опять возвращается мыслями к отцу, снова и снова начинает вспоминать его жизнь. Жил же человек! Родился, вырос, обзавелся семьей, мечтал, а вот разор-

вать невидимые путы, связавшие его по рукам и ногам, так и не сумел. Словно заарканенная животиная, бился, крутился на одном кружке и, так ничего и не добившись, сошел в землю. И то не как все, а за чертой кладбища, как бездомный пес...

А его мать? А сам Ухтиван? И еще много-много других? И всюду цепи, цепи. Разговаривать громко, петь, ходить прямо — не могли, сказать худое слово про начальство, коштанов — упаси тебя господь! Задумал какое дело — непременно испроси позволения у властей; собрался в путь-дорогу — дяки, старшины, исправники — боги и цари на земле, все от них! Скольких из них помнит Ухтиван, как они, выгнанные за пьянство и лихоимство с одних мест, устраивались здесь, среди чувашей, и через два-три года на двадцати подводах увозили награбленное добро. А ведь когда они заявлялись сюда, у них под мундиром с блестящими пуговицами, почитай, не было и нательной рубахи!

Почему они смеют топтать людские души, уродовать жизни людские, грабить, пускать по миру целые семьи, хозяйства?

В деревне тоже неладно. Доведенные нуждой до отчаяния люди ненавидят друг друга, ссорятся, дерутся меж собой, разносят друг о друге злые сплетни. Злоба, зависть, раздоры...

Ухтиван с горечью разглядывает покосившуюся крышу сарая, труху, осыпавшуюся с нее на земляной пол. Всюду запустение, бедность, разор... И тишина, словно на кладбище, давящая на душу, сжимающая горло, застилающая глаза. Бедное семейное гнездо, рухнуло вместе с тобой последние надежды! А ведь сколько бессонных, холодных ночей провел твой хозяин, чтоб сохранить тебя, уберечь! Да, скоро вот от пасеки не останется и следа, все заполнит крапива...

Перед взглядом Ухтивана оживает щуплая фигурка отца, его робкие, вечно боязливые глаза. Бедный, бедный отец, о чем хоть он думал перед смертью? Вспомнил о нем, о своем сыне? Простил ли ему все обиды, которые он причинил ему невольно, не из злобы, конечно, а от отчаяния?

Будь у Ухтивана десять жизней, отдал бы все, чтобы воскресить отца...

Но нет! Нет, Ухтиван не будет жалок, как отец: он не будет робким и боязливым, он отплатит им за его смерть,

да, оплатит! Только расплата за смерть отца облегчит душу, облагородит прах отца за кладбищенской чертой.

При этих мыслях Ухтиван, забывшись, резко поднялся и, обессиленный болезнью, чуть не упал — закружилась голова. Он прислонился к плетню. В глазах потемнело, руки-ноги ослабли, и он сполз наземь, потерял сознание.

...Очнувшись, в последний раз обвел глазами сараюху и медленно побрел лесной тропинкой к дому. Для себя он решил: больше на пасеке его ноги не будет, с этого дня в его жизни начинается новая пора. Все, что было до нынешнего дня, останется в душе едким дымом, будет напоминать Ухтивану о том, за что он должен мстить.

В деревне его теперь удерживает один-единственный человек — Савдеби. Вспомнив о девушке, парень зашагал резвее, словно сил у него поприбавилось. Велико горе, но и его надобно перемочь, выдюжить...

Ухтиван идет к дому. Дом... Киль¹... Само слово кажется каким-то зовущим, притягивающим. Даже если вместо дома торчит обгорелый черный столб, душа все равно стремится туда, к дому. Что поделаешь, ведь это уголок, где ты родился. Там и дым сладок, и воздух согретый, и земля словно масло...

Ухтиван был тогда маленький, но помнит, как в одно лето под карнизом их избенки свила гнездо старая, с облезлой головой галка. Когда она вывела желторотых птенцов, ребятишки с улицы разорили гнездо, а птенцов скормили кошке. Несколько дней кружилась галка над крышей — все искала своих птенцов. Залетала даже в сени, ходила по двору и вдоль плетня, пригибая к земле голову, высматривала: не упали ли ее детеныши из гнезда и не забились ли где-нибудь в укромное место? Нет, не нашла галка птенцов. Но за кормом для них не переставала летать. Принесет червяка или еще какую букашку, сядет в гнездо — в щель между досками и сидит, пока не задремлет и не раскроет клюва. Только тут и очнется, как выпадет из клюва червяк. И тогда она снова улетает на поиски корма...

Сама она почти не ела, лишь изредка, чтобы совсем не ослабеть, проглотит какую-нибудь мушку — и все.

А когда похолодало, галка уже не в силах была летать за

¹ По-чувашски слова «дом» и «иди, приходи» звучат одинаково: киль.

кормом. А вскоре выпал снег, и галка погибла. Спрятав совсем облысевшую голову под крыло, она так и заснула между досками навечно.

Галка умерла в своем гнезде, в своем доме...

Нет, Ухтиван не умрет, как та галка. Вот уже неделю из трубы его очага вьется, как и у всех людей, дымок: в доме тоже есть живая душа. И все равно надо побыстрее подаваться в дорогу, найти людей, таких же, как он сам. Чувствует Ухтиван, что они есть, такие люди, в каждой деревне: и в Вурманкасах, и в Чиришкасах есть свои ухтиваны, свои ивуки. Только бы вот поскорее увидеть Савдеби, поговорить с ней, оставить хоть маленькую надежду в деревне, тогда можно и в путь...

Слова тетушки Ульдусь о том, что она видела Савдеби с Ивуком на базаре, Ухтиван изо всех сил старается забыть. Ну и что с того? Ведь она девушка. А сердце девичье — что ртуть. И не оттого пошла она с Ивуком, что позабыла своего друга. Так уж устроена она, девичья душа. Иная вон готова влюбить в себя десяток парней, а... а Савдеби другая, да-да, конечно, другая, потому что... потому что так нехорошо. И в том, что она не навестила его, когда он лежал больной, Ухтиван не видит ее вины; у человека, особенно у девушки, могут быть разные причины. Может, работа одолела, а может... стесняется. Да мало ли какие в жизни закавыки!

Впереди Ухтивана какая-то девушка гонит по дороге корову. Парень слышит, как звякают мониста на ее тухье и на груди, любуется ее красивой поступью.

Девушка, заметив идущего позади парня, вдруг заторопилась, стала подгонять корову и вскоре скрылась за воротами околицы.

Ухтиван вытер рукавом рубахи выступивший на лбу пот и присел на камень у обочины дороги передохнуть. Нет, ему показалось: конечно, это была не Савдеби, иначе зачем бы ей так спешить?

Говоря по правде, Ухтиван сразу признал в девушке свою возлюбленную, но почему-то не решился ни окликнуть ее, ни пойти за ней следом. Вдобавок, он заметил на тропинке, которой возвращался с пасеки, приближающегося к нему старика. Когда он подошел совсем близко, первое, что увидел

Ухтиван, это его острые живые глаза. Одет был старец в выцветшие бурые рубаху и шаровары, на голову по самые глаза надвинута шляпа из выгоревшего до красноты войлока. Его облик Ухтивану показался знакомым, но вспомнил он его только потом.

Незнакомец вышел на дорогу и, подойдя к Ухтивану вплотную, остановился.

— Ой, парень, как живешь-можешь? — цепко вглядываясь из-под полей шляпы в Ухтивана, выдохнул он. По его голосу, взгляду и недомолвкам Ухтивану показалось, что старцу известна вся его незадавшаяся жизнь. — Ой, сынок! — повторил он сочувственно еще раз, не поясняя ничего словами, стянул с головы шляпу. Хотя на вид он был не очень стар и даже крепок, волосы и брови были сплошь белыми.

Ухтиван вдруг растерялся. Сначала Савдеби... теперь вот старец. Парень не знал, что сказать, что ответить.

— Без ног остался, — сказал между тем старик, опускаясь рядом с Ухтиваном на придорожный камень и блаженно вытягивая ноги. — На сыновнии могилки ходил. Старший у меня в Моргаушах схоронен. Средний — на Нурысовском кладбище. А от младшего и следочка не нашел. Его в Казани на той стороне Волги похоронили; видать, смыло могилку-то полый водой.

Откровенность незнакомца поразила Ухтивана еще больше. Или он принял его не за того человека, или...

Будто угадав его мысли, старик, легко поднявшись с камня, спросил:

— Ты ведь Ухтиван? — и, не дожидаясь ответа, зашагал обратно в тальник, на ходу бросив: — Идем со мной. Поговорить надо...

Кует

Ветхая избенка тетушки Ульдусь примостилась у самой околицы на окраине Шургасов, шагах в семи-восьми от дороги, ведущей в черемисские земли, на берегу речки. Ее окружили плотным шатром развесистые ивы, на густых ветвях которых висят, словно шапки, грачиные гнезда. По утрам из волокового оконца избушки вьется жидкий дымок.

Вот уже второй месяц живет тут крепкий, хотя и белобородый старик с живыми глазами — кузнец Кошель. Слава об

умелом мастере быстро облетела округу, и не проходит дня, чтобы разговорчивого умельца-кузнеца не навестили люди: тут и странствующие в поисках заработка русские, и мордва, и черемисы. С русскими Кошель говорит по-русски, с черемисами — по-черемисски. Всюду побывавший за свою долгую беспокойную жизнь, во всяких передрыгах, с людьми он себя чувствует как рыба в воде. Потому многие принимают его за земляка. Но чуваша за семь верст определяют в нем своего кровного брата. Говорит он больше шутками да прибаутками, а коль найдет на него веселый стих, тут уж держи, народ, животы — того и гляди полопаются от смеха. С малыми Кошель разговаривает по-малому, со стариками — по-стариковски, с пьяным — он и сам делается пьян. И знает старик много: по одному лишь запаху воздуха скажет, какая будет погода; какую рану или болезнь какой травой лечить.

Но если хорошенько приглядеться к нему самому, к его жизни, найдется тут немало загадок, непонятных вещей. Вот, к примеру. У Кошеля нет ни жены, ни детей. Сам о себе он говорит, что старый вдовец. По дому, да и в кузнице старик работает один, хотя к нему немало ходит просителей в ученики. Никого не хочет брать — и все тут. Сам стирает, сам варит, моет пол, кует...

Вторая его странность — это любовь к железу как к живому существу. На первый взгляд, в этом нет ничего странного: кузнец любит железо, пахарь — поле. У каждого свое призвание, своя мечта. Но и в этом, казалось, ясном, как божий день, деле можно было заметить одну диковину: Кошель не просто любит металл, он боготворит его. Скажи ему: там, мол, в поле лежит сломанный заржавелый сошник, он в глухую полночь готов идти за тридевять земель: не пивши, не евши будет возиться с ним, ковать, стучать.

Время от времени Кошель, покинув Шургасы, обходит близлежащие земли: Козьмодемьянск, Ядрин, Курмыш, Аликово, Цивильск, должно быть, опять же в поисках заработка. И всюду находятся у него друзья, знакомые и близкие люди, некогда мыкавшие с ним нужду по белу свету. И всюду Кошель чувствует себя словно в родном доме, в родной семье.

Живой, подвижный, он меняется в лице и чувствах мгновенно: вот он вскипел от ярости, побагровел, руки затряс-

лись, как в лихорадке,— и тут же взял себя в руки: лицо помягчело, и он уже смеется радостно, балагурит. Всегда поджарый, крепкий, под стать любимому им железу, едва он открывает дверь кузницы, как в нее тут же набивается народ. У всех до него находится какое-нибудь дело: одному кочедык согнать, у другого топор раскололся, третьему надо наточить серп. И многие тут же забывают, зачем пришли, и уносят непочиненные вещи обратно — «не дошел черед». «Да что там — завтра день будет, ладно, не к спеху. Слава богу, мастер-то в своей деревне...» — утешают себя дребезжащими голосами древние старцы, мелко перебирая негнушимися ногами и болтая мотней у самых колен.

Работая, Кошель вволю потешит крестьян веселыми рассказами, шутками-прибаутками. Люди смеются до слез, а на завтра слово кузнеца известно уже всей деревне.

Работает кузнец играючи. Раскаляет железо — поет, насвистывает; кует с таким наслаждением, причмокивая и покрякивая, будто ест наивкуснейшую еду, или шутя замахнется на пугливых женщин щипцами — те врассыпную, а кузнецу весело, будто его ремесло самое радостное и легкое на свете.

Так, балагурия с народом, Кошель, однако, ни на минуту не забывает о деле. Из бесформенного куска железа то и дело вылетают готовые вилы, пятка косы, дверные ручки, скобы...

Не богач кузнец, но с многих Кошель не берет за работу никакой платы.

— Ладно, пусть работа пойдет в дело. При случае ты мне из Чебоксар прихвати кусок-другой железа,— говорит он Сухорукому Эрнюку.

У Илле он берет на день лошадь, и катаются они на ней вдвоем с Терушем Зайцем.

Закончив дневные хлопоты, Кошель запирает кузницу, хотя в деревне никто никогда ничего не запирает, и идет к людям. Кому подправит покосившийся забор, кому сплетет лапти или еще чем поможет-подсобит.

— Не слышать чего про Ухтивана, Мульдиер? Где он теперь мыкается?

— Нет, не слышать. Уж не попал ли опять в беду какую? — вздыхает Мульдиер.

— Не должно,— глядя себе под ноги, раздумчиво, будто сам с собой, говорит кузнец. — Вернется, глядишь... не сразу, конечно. Успокоится тут у вас... — И, обратив взгляд на Мультиера, живо спросил: — Магазию-то нынче ты караулишь?

— Я. Вчера Шахрун всех домой прогонял. Говорит, есть один караульщик, хватит. Не то, говорит, в контору извещу.

— Ничего, пусть бесится. А ты нарочно мозоль ему глаза, на виду ходи. Шахрун амбар стережет, ты — Шахруна с амбаром, а люди, деревня все видят. Так что народный хлеб никуда не позволим вывезти.

Вот Кошель у Ягура.

— Позавчера в Моргаушах Григорьева видал. Кланяется тебе. Ежели, говорит, все, как Ягур с Мультиером, настырнее будут, никакие власти нам не страшны.

Ходит старик. Умные острые глаза все видят, примечают, сравнивают — бедняку везде худо живется, забит он всюду, задавлен, будь он русский, мариец или чуваш. Выбившегося из сил утешит словом, голодному отдаст последний кусок хлеба; живущему особняком, чужающемуся людей поможет сойтись с людьми, обрести друзей. О себе же в Шургасах он поведал всего одному-двум людям. Других, кто пытается завести разговор о нем, о его житье-бытье, он быстро потопит в словах, будто в воде. Не любит он чересчур любопытных, а также излишне мягких, добреньких тоже не любит. Зайдет такой бедолага в кузницу, Кошель тут же бросает работу и сурово спрашивает:

— Ну, какая еще беда с тобой приключилась? Лошадь твою, знаю, давным-давно забрали, корову — тоже, теленка давно съели, самого уж не раз выстегали. Что еще-то осталось? Иль хлеба остатки вымели?

— Илле деньги не отдает.

— Какие еще деньги?

— Хмель я ему прошлой осенью продал...

— И не хочет платить?

— Не хочет. Я с тобой, говорит, тогда же, осенью расплатился. Осколок зеркала дал вот этот...

— Что думаешь делать? — сердито спрашивает обиженного Кошель и ходит вокруг него так, будто ударить собирается.

— А что поделаешь с этим злодеем? — обреченно разво-

дит руками пострадавший. — Властям только пожаловаться ежели...

— Вот-вот, нынче же и ступай,— как будто только того и ждал Кошель.

— Куда? В контору, что ли?

— В контору, в нее. И старосту извести. А то они, небось, и забыли про тебя, что ты есть на свете, вот и напомни. Только сначала приготовь подушные деньги, без них тебя к конторе близко не подпустят. Холста возьми локтей пять-шесть — для подарка. Курицу последнюю зарежь.

Перепуганный бедняга в растерянности глядит на разгневанного кузнеца, который носится по кузнице, как зверь в клетке, и не поймет: правду ли тот говорит или насмехается над ним?

— Так уж придется, видать...— соглашается бедняк.

— Курицу, курицу не забудь,— подначивает кузнец.

— Не знай уж... И холста-то у меня нет...

— Нет, говоришь? — подскочил к нему, как ужаленный, Кошель-Авостей.— Тогда ты в Козьмодемьянск иль в Казань подайся! Найди самого главного судью и расскажи ему: так и так, мол, Илле и ваши чиновники меня по миру пустили. Только не забудь со старухой попрощаться, потому что тебя за такие слова оттуда не выпустят — посадят в каземат и сгноят!

Тут уж бедняга окончательно понимает, что кузнец его подначивал, и обессиленно опускается на лавку.

— А я-то, как перепуганная утка, чуть было задом не нырнул,— говорит виновато, уставясь на мехи.

— Да ты даже не утка, а мокрая курица! — гневно кричит кузнец и с силой швыряет молоток в угол. — Я уж с тобой и говорить-то устал. Эх, Ярук-дружок, старый ты человек, а все не возьмешь в толк. Кто, по-твоему, в конторе сидит? Сын Илле, Ивук. В Козьмодемьянске, в Казани — тоже ивуки свои сидят. А для чего туда посадили? Чтоб тебя грабить, меня, других прижимать. А Илле тоже на их повязке. И выходит, что ты про них им же и рассказать хочешь. Неужто так надобно нам поступать, а? Скажи: так нам надобно?

В голосе Кошеля — обида, гнев, жалость. Серые взмокшие пряди его опустились на лоб, кончики ушей побелели, словно их схватил мороз.

Озадаченный старик боязливо взглядывает на рассвирепевшего кузнеца и молчит. Кошель опять не выдерживает:

— Сам же говоришь: лошадь продал, теленка съели. Единственная дочь мыкает нужду в чужих людях. А тут еще Илле в долю лезет, норовит тебя ограбить. А почему бы и нет? Что ты сделал им наперекор, этим хапугам, этим душегубам? Ничего! Слезы льешь да жалуешься. Ну и как, помогли тебе твои слезы?

Старик опустил голову и по-прежнему молчит. Кошель тоже помолчал, с жалостью глядя на согбенную тщедушную фигурку, и подсел к старику.

— Вижу — тяжело тебе. Но ходить только да разводить руками — тоже не дело. Один смолчит, другой стерпит — что ж с нами станется? Нет, друг, надобно быть злыми. На дыбы научиться надо вставать. Иначе дня белого невзвидим. Чем прятаться, как ежу, да с голодухи пухнуть, уж лучше в драке с коштанами погибнуть. Видишь, русские-то за себя как стоят? Хватают своих притеснителей да в воду, в огонь их, дома ихние сжигают. Верно, туда и дорога им, кровопийцам! А мы чем хуже русских? Мы что, не люди? Или не хотим жить? Чем валяться у мироеда в ногах, я лучше залезу вон на крышу да закричу изо всех сил: «Караул! Грабят!» И то на душе легче станет. А что? Они грабят, а я молчи?! Иль у нас неостанет сил, чтоб их скрутить? Иль мы дурнее их? На хитрость надо хитростью, на обман — обманом!..

Кошель вдруг осекся и осторожно прислушался. Лицо его постепенно обрело свой обычный естественный цвет, дрожащие руки легли на ручку мехов. В кузницу вошла женщина с ребенком на руках.

— Не окуришь ли малютку, дедушка?

— Сглазил кто?

— Отец, наверно. Вчера к нам нищие ночевать зашли, вот он с ними и шумел долго... С утра нынче грудь в рот не берет.

Кошель еще не совсем остыл после горячего разговора со стариком. Он молча вышел, вымыл руки и подошел к огню. Задумавшись, некоторое время глядел на пылающий огонь, не видя его. Очнулся, услышав несмелое покашливание старика, пятящегося к двери. Кузнец подобрал подол длинной рубахи и, загнув его, присел на чурбак.

— Давай младенца-то, молодуха... Ну, что случилось, дружок Хелип? Опять приболел? Ишь, и голова не держится, набок валится, как у позднего цыпленка, не смотрит ни на кого... Нищие-то с какой, говоришь, стороны были?.. С самарской, значит, чуваши. Гляди ж ты: раньше про них говорили — богачи, а тут побираются. Выходит, и у них стало голо... Заури-ка вон тот гриб, молодуха... От Бога добро, от человека здоровье. На золотой ели сидит золотой соловей, когда на него падет черный глаз, только тогда пускай и на нашего Хелипа... Ты бы отошла от двери-то, молодуха, дует оттоль... На семидесяти елях сидит каменная кукушка... Нищих-то много ли было?..

С вечерней темнотой в кузницу вошли трое нищих в рваных кафтанах, с посохами в руках.



КУЗЬМА ТУРХАН (1915—1988)

Кузьма Турхан (Кузьма Сергеевич Сергеев) родился 8 октября 1915 года в д. Подлесные Чурачики Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Комсомольского района Чувашской Республики). В связи со смертью родителей воспитывался в детском доме.

Окончил Канашский педагогический техникум, Ленинградский институт журналистики.

Работал учителем языка и литературы в сельской школе, редактором Комитета радиосообщений при Совнарком ЧАССР, редактором Чувашского книжного издательства, начальником Чувашглавлита.

С 1937 по 1940 годы писатель служил в Красной Армии, принимал участие в походе по освобождению Западной Белоруссии и в боях с белофиннами.

Первая книга «В атаке» была опубликована в Чувашском книжном издательстве в 1941 году. Она повествовала о недавних событиях — суровой войне с белофиннами, ежедневном солдатском труде, мужестве и подвигах советских воинов при освобождении Западной Белоруссии и Западной Украины. Писатель в рассказах и очерках, включенных в эту книгу, пытался раскрыть боевой дух наступающей армии в тяжелых условиях войны. Затем он приступил к созданию более масштабных произведений — романа «Деревня в ветлах» (1950), повести для детей «На Кубне» (1958), романа «Раны Земли» (1958). Самой большой работой по объему и значительной в творчестве К. Турхана является роман-трилогия «Свяга впадает в Волгу», за который он был удостоен Государственной премии Чувашской АССР им. К.В. Иванова.

Эта трилогия о судьбе чувашского народа, о трагедии утраты чувашами своей государственности и самостоятельности. Писа-

телю удалось мастерски показать, как пытались чувашей привести к нравственной и духовной смерти, вырождению, как уничтожалась его культура, традиции, как шел процесс русификации и перехода чувашей в магометанство. Как же удалось тогда самосохраниться в процессе исторического развития? На это и другие вопросы К. Турхан ищет ответы прежде всего в духовно-нравственных качествах чувашского народа.

Роман «Свияга впадает в Волгу» отличается национальным колоритом, который проявляется в языке, использовании ярких образцов фольклора, бытовых картинах, характерах, философии, психологии, поведении героев.

К. Турхан был известным литературным переводчиком. Им переведены на чувашский язык пьеса «Русские люди» К. Симонова, повесть «Тарас Бульба» Н. Гоголя, повесть «Двенадцатый год» С. Григорьева и другие произведения русских писателей.

Свияга впадает в Волгу*

Роман

(В сокращении)

Новоград Свияжский

Вроде бы все есть у Шигалея на белом свете: имя, почести, золото. Чего ему не хватает — так это казанского престола. Завладей он снова престолом — был бы самым счастливым человеком на земле.

А до счастья было рукой подать: два дня назад Шигалей вместе с русским войском мог бы ворваться в Казань, но Аллах и тут обошел его милостью. Уж он ли не старался, бывший хан, подступая к городу с разных сторон: и от Казанки, и с Волги, и по Арской дороге; кремль, где он жил не так давно, возвышался совсем близко, так близко, что казалось: вот-вот распахнутся его знакомые кованые ворота. Увы! Не распахнулись, снова что-то помешало взять столицу Казанского ханства.

Ныне отступает русское воинство вдоль обоих берегов Волги. Государь еще в своем шатре, и воевода с ним, а войску уже велено отходить. Слушают воеводы высочайшие указы: какой дорогой двигаться, кому подчиняться при отходе, как долго

* Перевод А. Дмитриева.

держат ратников в сборе. Выслушав, один за другим покидают царский шатер. Остаются приближенные. Среди них и Шигалей. Он знает себе цену. С ним, царевичем, достойным продолжателем ханского рода и наследником казанского престола, у великого князя особый разговор. Хан прекрасно знает, чем кончится их беседа. С улыбкой через силу, присущей человеку крутому и раздражительному, Иван Васильевич скажет ему:

— Тебе, Шигалей Шейх-Аулиярович, велю обратно в бой идти. Добавь басурманам, дабы не воображали про нас: слабы, мол, куда им... Как напустишь страху казанцам, догонишь нас.

Не в диковинку эти слова Шигалею. Слыхал и еще раз услышит.

Вот Иван Васильевич, подавшись вперед, встал с сиденья, — высокий, статный, подошел к Петру Семеновичу Серебряному, положил свои руки ему на плечо и изрек:

— Твое дело, Петр Семенович, потруднее будет. Опять в бой вступишь. Побей татарву как следует. Пусть не радуются: испугался-де царь Иван, улепетывает. Чтоб до будущего года помнили. После поведешь своих людей на Углич. Затем ужо поясню. Мы будем ждать при устье Свяги...

От таких слов большие уши Шигалея покраснели, он дернулся — того и гляди выбежит из шатра. Великий князь, не смотревший в его сторону, вряд ли заметил вспышку обиды, но от воевод она не могла ускользнуть.

Шигалей осерчал не на шутку. Царь не считается с ним, посылает бить татар князя Серебряного. По какому праву отличает его в конце похода и посылает на новую битву, где воевода еще раз прославит свое имя? Как бы там ни было, Иван Васильевич мог бы предупредить Шигалея. Он, Шигалей, не простолюдином пошел в поход, а союзником великого князя и самодержца, возьми они Казань — наравне с ним стал бы царем именоваться.

Государь повелел своим приближенным и оставшимся воеводам седлать лошадей. А Шигалея задержал в шатре, усадил рядом и спросил:

— Хорошо ли ты знаешь здешние края, Шигалей Шейх-Аулиярович?

— Кажись, неплохо знаю, государь, — ответил тот, стараясь уловить нить беседы. — Сколько хожено здесь с тобой

и с твоим отцом. И в ранешние годы, будучи казанским ханом, немало путешествовал.

— И устье Свияги знаешь, Шигалей Шейх-Аулиярович?

— Много раз воевать в той стороне приходилось. В поход шли — на этот берег воины каждый раз там переправлялись.

— А есть ли в том устье Круглая гора?

— Как не быть, государь. В самый раз промеж Щучья озера и Свияги-реки. Кругом вода, посреди остров — лепота. Я туда на охоту ездил. Круглая-то гора вся травой покрыта. В свияжском устье диких уток полно, лежи себе и дожидайся, когда они от Волги прилетят. Кто же тебе поведал про сей остров, великий князь?

— Гора ли лесная, остров ли — того не ведаю. А доложил мне о том татарский князь Хосров. Знаешь ли, Шигалей Шейх-Аулиярович, что мне покоя не дает в последние дни? Замыслил я город поставить близ Казани. Сколько походов совершили, а завоевать ее не можем. Отчего? Оттого, что у нас нет здесь крепости. Наши опорные города — Нижний Новгород да Арзамас — далеко стоят. Великие препятствия надобно одолеть, дабы привезти сюда припасы разные. Нужно надежное место для оружия, да и войску в канун боя надобно где-то отдохнуть. Князь Хосров посоветовал мне укрепиться на Круглой горе в свияжском устье. Можно ли довериться татарскому князю, нет ли подвоха тут? Как ты мыслишь, Шигалей Шейх-Аулиярович?

Шигалей от этих слов так и просиял лицом.

— Великолепно то место, Круглая гора! Очень сподручно для крепости. мудро замыслил ты, великий князь. Ах, какая славная мысль пришла тебе в голову! Но скажу прямо, государь. Вели строить новый город мне и никому другому. Никому другому — мне, государь!

Горячая речь Шигалея пришлась, верно, по душе великому князю, он одобрительно улыбнулся:

— Пошлю, коли сам горишь желанием, отчего не послать? Я возлагаю на этот город большие надежды, Шигалей Шейх-Аулиярович. На тамошние работы хочу отрядить самых удалых воевод своих.

— Дай побольше удальцов, государь, — по-прежнему с жаром говорил Шигалей. — Чтоб работали и не опасались татар. Ох и будут вороги выходить из себя, как заложим кре-

пость на Свягие! Всего в тридцати верстах от них! Ха-ха! Это же мы словно за пазуху залезаем, вот куда! — Шигалей нетерпеливо расстегнул шубу, запустил руку и хлопнул по груди.

— Правду говоришь, так и будет, — согласился Иван Васильевич. — Но ставить город будем особый, брат Шигалей. Чтоб враг не нападал на него. А коли нападет — чтоб взять его не смог. Это будет неприступная крепость.

— Так и сделаем, государь! Увидишь — глазам своим не поверишь.

— А что, остаешься строить?

— Остаюсь, государь! А не оставишь — смертельно обижусь.

— Добро, уговор дороже денег. Видал, кого я из воевод отрядил?

— Видал, государь, видел. Храбрых воевод отрядил, моих любимых соратников.

Вошел царский стремянной и доложил, что кони к походу готовы. Великий князь с Шигалеем вышли из шатра, вспрыгнули в седла и вместе с большим отрядом стрельцов и пищальников выехали на великую приволжскую дорогу.

По ровной дороге великий князь пустил свою лошадь рысью. За ним, с шумом и гиком, гнал своего серого в яблоках жеребца Шигалей. Поотстав немного, парно следовали воеводы. Позади подпрыгивали царские дьяки, стремянные, думные дворяне.

Возле устья Свягии великий князь повернул коня в сторону Волги — по уговору там должны дожидаться свиты в разбитом по этому случаю шатре воевода Семен Микулинский с татарскими князьями. Царь не остановился, хотя приметил шатер, а погнал своего коня в гору. На приверхе он соскочил наземь и, сняв с головы шлем, отдал его подбежавшему стремянному. Засим громко обратился к оставшимся внизу:

— Э-ге-гей! Идите сюда, Семен Иванович! Сверху лучше видно. — Голос у царя зычный — эхо далеко разнеслось по раздольному лесу.

Стоявшие в нерешительности воеводы собрались наверху. Одни татарские князья не смели приблизиться к государю без особого приглашения, так и остались торчать у шатра.

Великий князь будто бы и позабыл про них. Стоя с непокрытой головой на ветру и сильно размахивая руками, он говорил и говорил собравшимся.

— Вон там, направо, где Свияга впадает в Волгу, да будет православный град! — возвестил он, выделив ударением слово «православный». — Мы ставим его по велению Божьему. Воеводы мои — Даниил Юрьев, Иван Хабаров, Михайло Воротынский, Семен Микулинский, Петр Шуйский, Петр Серебряный, Григорий Булгаков, Иван Шереметьев да казанский хан Шигалей Шейх-Аулиярович — это славное дело поручаю вам. А помощником вам и указчиком во всех делах будет дьяк государев розмысл Иван Выродков. Достопочтенный Иван Григорьев сын! — царь отыскал дьяка глазами, позвал к себе поближе. — Я знаю и про тебя, и про твои таланты. На пагубу басурманам поставь град-крепость рядом с их столицей. Тебе велю так: ты и с тобой воеводы Семен Микулинский, да Петр Серебряный, да Даниил Юрьев, да Иван Хабаров не сегодня-завтра отбываете в Углич. Там срубите стены града нового да на низ отправите в судах и водою...

После таких повелений Иван Васильевич зашел в шатер, разбитый для него. Вскоре по его требованию вошли татарские князья.

Царь воссел в кресло, служившее походным тронном, а татары, согнув ноги под себя, опустили перед ним на палас.

— Располагайтесь поудобнее, — предложил Иван Васильевич, как бы давая понять, что строгие домашние обычаи можно в походе и не блюсти. — До возвращения в Москву с вами хочу еще раз словом перемолвиться. — Все это без запинки выпалил по-татарски, затем перевел всю речь на русский, которую бойко переводил молодой красавец дьяк. — Ваш совет, князь Хорсов и князь Чапкун, пришелся нам по нраву. Будем ставить город на Круглой горе.

— Великий князь, мы готовы помогать тебе и словом и делом, — вставил Чапкун.

— Рехмет тебе на добром слове, князь Чапкун. Не утаю, и впредь будет нужда в ваших услугах. Мы решили на боярской думе: надо усилить борьбу против Казани. Доколь терпеть низкий обман казанского хана и князей, кои на его стороне! В прошлом годе казанские князья да мурзы, да уланы всю-то

зиму подметные письма водили. Нам ведомо учинилось, слали их дабы нас успокоить и время тянуть. Памятуя о том, что вы есть други Москвы, так вам сказать могу: наступает время, кое решает судьбу Казани. Бог даст, и ханство, что доселе покоилось на лжи и обмане, хитрости да лицемерии, сгинет в ближайший срок.

— Да сгинет! Да сгинет! — в один голос воскликнули татары.

— А теперь я выслушаю вас, — обратился Иван Васильевич к гостям, чувствуя их нетерпение.

— Слушай, великий князь, что мы скажем, много у нас накопилось, — начал Чапкун. Остальные молчали, и ему же пришлось говорить дальше. — Дела в Казани очень плохи, великий князь. Там вся жизнь перемешалась. И в столице, и в Арске смуту затевают.

— Отчего смута, чем недоволен народ? — спросил Иван Васильевич, не дожидаясь перевода.

— Порядка нет, оттого и смута.

— А от чего нет порядка, по-твоему?

— Сююнбике и Кучак хотят вдвоем управлять ханством. Нас не допускают ни до каких дел, поэтому нет порядка. Вдобавок казанские дела Крым сильно путает. Крымские князья замышляют своего Булюка поставить ханом. А Сююнбике будто говорит: «Пока живу, не допущу Булюка до ханства».

— А Булюк-то согласный?

— Он в сильной ссоре с Сахиб-Гиреем. Хан-то Булюка держит в заточении, поскольку тот с пьяну чуть не задушил его.

— Вражда Гиреев нам на руку, — заметил великий князь.

— Так-то оно так. Но в столице беспорядки. Народ волнуется, мы в страхе...

— Народ надо усмирить, князья. Иначе он что стадо овец. Четыре года тому назад на Москве смерды так же вот бесноваться попробовали. Мы живо усмирили. А вы, поди, лозу для них жалеете?

— Не жалеем. Все одно бунтуют. Арские кшиляры едва не разорвали на части Кучака.

— Возьмем Казань и смердов успокоим. У нас и лозы, и березы много, можем плотами по Волге сплавливать, — молвил царь.

Он подробнее расспросил о Кучаке.

— Кучак он славный улан, — пояснил князь Хосров. — Не

приложи он столько стараний, наше ханство давно бы разрушилось. Однако уж очень норовом непокладист, точь-в-точь Сахиб-Гирей.

— Злобен, — добавил сын Бурнаша.

— И вы не можете прогнать его в Крым? Такая в нем сила, что вы все дрожите от страха? — с издевкой стал допытываться государь.

— В его руках отборное ханское войско, это придает ему силы. Юз баши там все крымчаки, одного его и слушаются.

— Стало быть, в повторном походе опять придется с Кучаком воевать?

— Вестимо, с ним, с кем же еще? В казанском ханстве одно знатное лицо осталось — Кучак. Учитель матери хана — он, предводитель придворного войска — он, главный полководец всей рати — опять же он. Другие по нынешним временам не в чести.

— Вся надежда наша на тебя, великий князь, — взмолился Чапкун. — Поставь своего человека на казанский престол — и мы выйдем в люди. А пока у нас собачья жизнь.

— А вы идите ко мне служить, — предложил Иван Васильевич. — До взятия Казани в русских войсках службу несите. Ваши князья так и поступают.

— И об этом мы помышляли, — отозвался князь Хосров. — Но ведь наши домочадцы в Казани. У нас у всех много детей. Без них в Москву не поедешь.

Сын Бурнаша пожелал расспросить царя о другом.

— Великий князь, — обратился он, — мы бы с радостью остались в низовьях Свяги, облюбованных для будущего города. Ведомо тебе, в Казань нам путь отрезан, нужна твоя воля. Или дай нам деревни в Нагорной стороне, тогда мы будем ждать тебя там до нового похода, либо определи на службу к воеводам, приставленным город строить.

Вопрос, видать, для великого князя прозвучал неожиданно, он призадумался. И тут же, стрельнув взглядом по татарам, — а не хотите ли обвести меня вокруг пальца, твердо произнес:

— Мое, государево, слово такое: велю быть при воеводах нового града. А будет возможно, приведите детей и жен ваших. Я приказал ставить особые избы для князей и мурз, пришедших к нам.

— Эх и славно, коли так! — не удержался Чапкун от вос-

торга. — Подле Казани больше пользы принесем тебе, великий князь. Через своих людей можно всего добиться.

— Кучака изловим и предадим в руки воевод!

— Отсель будем дразнить казанцев.

— Хорошо будет, хорошо!

Государь молча слушал возгласы возбужденных князей. Видимо, поразмыслил украдкой: «Прав ли я, что ставлю при новом городе временщиков, убежавших от ссоры с Кучаком?» Но, судя по выражению лица, сомневался недолго. Качнувшись вперед, государь встал на ноги, одного из дьяков послал за Воротынским.

Скоро в шатер вбежал коренастый молодой воевода с пригожим лицом и кудрявыми волосами. Запыхавшись, предстал перед царем.

— Государь, ты меня...

— Звал, звал, — прервал его Иван Васильевич. — Вот, Михайло Иванович, казанские князья, кои изъявили желание служить мне. Они останутся тут. Ты за них передо мной, государем твоим, головой отвечаешь, сегодня же переправляйся с ними на тот берег и устрой как подобает. Ты для них с этих пор и за отца, и за брата, и за наставника будешь. Знакомы ли они тебе? А то представлю каждого...

— Знакомы, — спешно ответил Воротынский.

— Добро. Ну с богом. Там тебя дожидаются. Удачи тебе, Михайло Иванович, в делах твоих.

Великий князь обнял воеводу обеими руками и прижал к своей груди, они немного постояли так, не шелохнувшись, затем резко, будто от толчка, отделились друг от друга.

Воротынский, вытирая влажные глаза, бегом покинул шатер. Государь в знак окончания приема повернулся к своим дьякам, о чем-то шептавшимся меж собой.

Вокруг шатра шумел весенний ветер. Овершья деревьев гнулись и снова выпрямлялись, гнулись и выпрямлялись...

Неподалеку Волга перекатывала свои крупные волны.

Грамота с золотой печатью

В последнее время, с завершением весенних дел в поле, в деревню Девлизерево потянулись из разных селений чуваш и горные марийцы. То мурзу им подавай, то воеводу. Тугай и

Акпарс ведут их на площадь, к дому, в котором живут воеводы Шуйский и Булгаков. Воеводы выходят на крыльцо и только головами качают.

— Что это значит, мурза? Отчего их так много? — спрашивает Петр Иванович Шуйский, прикидываясь простаком.

— Народ Горной стороны желает перейти в ваши руки. Люди хотят послать гонцов к великому государю, — самодовольно извещает Тугай. — И еще хотят жалованную грамоту от царя, дабы она прикрепила Горную сторону к русскому государству.

— Ладно, поговорю с Шигалеем. Пожалуй, придется-таки послать в Москву людей. Никаких грамот без повеления великого князя дать вам не можем. Переведите сии слова народу, мурза Тугай и мурза Акпарс. Прибудет-де бумага от царя — всех созовем. И тогда пускай идут хоть с ребятишками...

Мурзы переводят слова Шуйского на чувашский и марийский языки. Старики слушают его, держа войлочные шапки на груди или под мышкой. Затем совершают два поклона — воеводам за добрые слова, мурзам за толмачество — и без лишнего шума расходятся по домам.

Стоит Иливан в это время у ворот и по-детски радуется. Тому, что видит такое скопище людей, тому, как они слушают воевод. Для него каждый день словно праздник какой — давно начатый и нескончаемый.

Вспоминается ему разговор с одним стариком. Юный лучник спросил его, почему они так часто собираются у дома воевод.

— Нешто сам не догадываешься? — проворчал старик. Но, узнав, что Иливан недавно вернулся из полона и во многом еще не разбирается, охотно пояснил: — Русские новый город поставили. Мы хотим быть с ними заодно. Оно вроде бы мы уже вошли в Россию, однако бумаги о том у нас еще нет. Вот и добиваемся от царя бумаги. А то как получается: загон есть, а тамги нет. Как узнать, чье поле? И еще скажу: вконец разорили нас войны. Хотим просить русского эмбю: пускай облегчит нашу жизнь, года два-три не берет ясак...

Вернувшись с Тугаем в его дом, Иливан про все, что видел и слышал, рассказывает лучникам. Слушают его не перебивая. Кажется, все равнодушны к тому, что происходит у воеводского дома. Иногда вспоминают цивильских чувашей,

ругают их за то, что они вышли из повиновения мурзы, отказались строить замысленный город и сбежали. Иливан же, помнивший отцовские слова и видевший собственными глазами, как жили на Цивиле, пробует заступиться за «бунтарей».

— Так жить — любой сбежит, братцы, — доказывает он. — Сутками в непролазной грязи. Вместо похлебки — помои. Все перехворали. И молодых, вроде меня, кашель измучил.

— Без пищи, верно, какой работник.

— Несмазанная телега тоже сильно скрипит.

Мурза в разговоры лучников не вмешивается. Не в его правилах с работниками общаться. Оседлает коня — и в путь, с собой возьмет одного-двух, не более. А случается — лишь вдвоем с зятем скачут.

Не в меру разговорчивый Иливан своими не всегда уместными вопросами порядком надоел, видать, ему, — мурза в последнюю неделю не стал брать его с собой. Молодой лучник не унывает: подумаешь, оставили ухаживать за лошадьми, хлопотать в конюшне. Зато он улучал несколько минут, чтобы сбежать к отцу, в хижину под кручей Свяги. Отец рассказывает о новом городе: вместе с другими он не раз ходил туда. А лучников, вроде Иливана, не пускают. Но есть у него другое утешение.

Чуть выдалась свободная минута — бежит Иливан к ограде, отделяющей соседний двор. Не раз видел он удивительно прекрасные глаза. С любопытством, удивлением, с каким-то вызовом смотрят на него эти чистые глаза. И вдруг исчезают.

Первый раз юноша увидел их после своего приезда, спустя неделю. Он сидел на колоде вблизи ограды и чинил седло, напевая про себя. Вдруг юноша почувствовал чей-то взгляд и поднял голову. В щель смотрели. Он подошел поближе — глаза как в воду канули. Вернулся на прежнее место — они опять заблестели в проеме. Иливан снова приблизился. Тут же, на его глазах, в соседний дом вбежала девушка с черной паранджой на лице. Только ее и видели. И на другой день она убежала. «Не бойся», — сказал Иливан. Даже не оглянулась. Ну что ж, придется за ней последить. Долго ждал он ее появления, в конце концов дождался.

Как всегда после завтрака, когда из дому все ушли, к проему подбежала стройная девушка, чуть приоткрыла паранд-

жу и приникла к отверстию взглядом. Юноша вышел из укрытия и посмотрел в щель с этой стороны. Вот чудеса, на сей раз соседка никуда не убежала, убрала с лица покрывало и застыла как вкопанная. Иливан всмотрелся в ее лицо. Незнакомка показалась ему лучше всех девушек, которых он встречал в жизни. Ее лучистые глаза, черные брови, цвета спелой земляники губы — все взволновало его пылкое сердце. Он застеснялся. Чтобы скрыть свое смущение, спрятался за только что привезенный воз свежескошенной травы. Рука сама нащупала в траве лиловую фиалку. «Отдам ей, если не убежала», — мелькнуло в голове. На его счастье, соседка стояла на прежнем месте. Ничего не говоря, он просунул цветок в просвет и стал ждать: примет девушка фиалку или нет. Не взяла. Цветок упал на ту сторону.

В другой раз Иливан притащил целую охапку синих колокольчиков. Они росли прямо в огороде. Девушка снова не взяла. Только один цветок выбрала, затем перебросила обратно и рассмеялась.

— Не нравится, что ли, мой букет? — впервые заговорил Иливан.

— Красивый, — приветливо ответила девушка. — Но такие цветы и у нас растут.

— А какие цветы ты больше любишь? Из тех, что у вас не растут?

— Герань луговую.

— Хочешь, отыщу?

— Не надо, — мягко произнесла соседка. Но в ее нежном голосе почудилась Иливану просьба: «Хочу, хочу, найди и принеси, если любишь меня».

— Завтра принесу. А ты выйди к этому времени.

— Не выйду.

— Почему?

— Вдруг отец увидит.

— А ты дождись, пока уйдет.

— То ли уйдет он завтра, то ли нет... Как увидит, со стыда хоть сквозь землю провались. — В то же мгновение у них во дворе скрипнула дверь и за забором упало полешко — девушка, видимо, спряталась за поленницу.

Иливан чуть выждал, затем спросил:

— Как тебя зовут?

— Хабиба, — тихо откликнулась она.
— Чем ты, Хабиба, занимаешься?
— В няньках хожу. У меня есть сестренка.
— Еще чем?
— Корову дою.
— Еще?
— Зачем спрашиваешь? Мало ли по дому забот? А вы что тут делаете, по соседству с нами?
— Что мурза велит, то и делаем. Я конюх.
— Вижу. А скоро уедете?
— Не знаю, — ответил Иливан. — А что, мешаем тебе?
— Просто так спрашиваю. Мне-то что, хоть до самой осени живите, — улыбнулась девушка.

Позже юный лучник узнал, что она тут в прислугах ходит и что тот, кого она назвала отцом, — ее хозяин. Девочка жила сиротой в деревне неподалеку, ее привезли оттуда смотреть за ребенком.

Побыть с ней на воле, с глазу на глаз, удалось Иливану совсем мало. Как-то раз, вечером, девушка косила в огороде траву. Юноша тут же подбежал к ней. Ни о чем не успели поговорить, за сараем кто-то окликнул его:

— Иливан, тебя мурза зовет.

Он вертел в руке серп — приготовился было помогать ей. Зов насторожил его, и он бросился во двор. Беспокойство было не напрасным. Не успели закрыться ворота, как перед ним возник мурза Тугай и без единого слова полоснул его через плечо ременной нагайкой.

— Вот тебе за встречи с девчонкой, — приговаривал он. — Люди здесь работают, а ты в огороде шуры-муры разводишь? Вот тебе за лень. Еще добавить? Бог, говорят, троицу любит. На тебе и третий! Чтоб впредь неповадно было.

Мурза не спешил уходить. Заспорь Иливан, наверняка досталось бы еще. Но он стоял, стиснув зубы и прикрыв рукой лоб, больно задетый концом нагайки.

«Не знал до сих пор, вон как ты привечаешь меня! — в сердцах думал юноша. — У тебя отзывчивая душа, вон как ты жалеешь человека. Спасибо за урок. Ладно, вперед и мы будем умнее...»

Может быть, Иливан долго не прощал бы мурзе, долго искал бы случая отомстить ему, но в эту пору на берегу Сви-

яги произошли знаменательные события, и гнев парня постепенно угас...

Однажды Тугай вернулся в сумерках и всем лучникам приказал собраться во дворе. Когда все сбежались, торжественно заговорил:

— Ну, воины мои, к срочному делу приступайте. Седлайте коней и скачите по чувашским деревням. Пришла долгожданная грамота из Москвы. Зовите людей — пускай к дому воеводы сходятся.

— Прямо сейчас ехать? — раздался чей-то голос.

— Он еще спрашивает! Сей же час по коням — и в путь. Постарайтесь до самых дальних селений добраться. Лошадей не жалеть — дело такое!

Гонцы вернулись только на другой день. Коней, и правда, не берегли. Бока у них запали. Да и всадники, скакавшие ночь напролет, еле держатся в седлах. Однако настроение у всех бодрое. Пусть вчера Магмет Бозубов при всех объявил, кому куда скакать, тем не менее только и слышно среди всадников: кто где был, докуда добрался. Иливана, как самого молодого, Магмет послал в отдаленные места, поэтому лучник самозабвенно врет, что он сумел добраться до своей родной деревни и пригласить своих бабушку с дедушкой, хотя скакать до них не один день.

Зато вот отец Иливана рядом, его непременно надо оповестить.

Увидев на крыльце Тугая, парень стремглав бросился к нему.

— Дозволь, Тугай эмбю, верхом к берегу съездить, — обратился он, засовывая в карман недоеденный кусок.

— Купаться, что ли, надумал там, дерзкий? — при охране нарочно повысил голос мурза.

— Нет, хотел отца упредить, Тугай эмбю.

— Кто он, мурза, что ли, твой отец?

— Нет, конечно! Но пусть от людей не отстает.

— Никуда не пойдешь, — отрезал Тугай. — У нас есть кого пригласить. Вы не встречали марийского мурзу Акпарса? — обратился он с вопросом ко всем.

— Нет, в эти дни не приходилось.

— В таком случае, Иливан, скачи к нему, — приказал мурза. — Передай, чтоб всех марийских мурз созывал в Девлизерово. Уразумел?

— Понял, я мигом, мурза Тугай, — откликнулся Иливан, глубоко пряча свою обиду.

На глазах Тугая кинулся он седлать лошадь и, пока хозяин наставлял остальных лучников, уже верхом очутился за воротами.

Однако не побоялся юный лучник послушаться Тугая. Как только вернулся от марийцев, сходил за несколько верст звать отца на предстоящий сход. «Пусть лютует мурза, — думал он, — если надо, пусть еще раз плетью накажет, но не оставлю отца в стороне».

Званные гости — мурзы, тарханы, сотники, старейшины — к загаданному Тугаем сроку, к обеду, не успели. Когда они с Акпарсом выходили удостовериться, на площадке не было ни души. Но к полудню перед мечетью выросла целая толпа. Путники на свияжской дороге придерживали лошадей и удивленно вопрошали:

— Что тут деется? Какой такой курултай басурманский?

— Уж не делят ли землю для бедняков, вроде нас?

— Землю раздадут и вам достанется, — кричали из толпы.

— Казанскую ярмарку в Девлизерово перевели. Идите скорей торговать, менялы-барышники!

Один обратился к Иливану за разъяснением. Тот ответил:

— Счастье раздают.

Потом, когда люди разбрелись, хорошенько подумал и не пожалел о сказанном: ему сегодня и впрямь почудилось, будто чуваша наконец получили счастливую жизнь.

А было в тот день так. На высоком крыльце показались воеводы, государевы дьяки, служилые люди. Начальства много, каждый был богатырского телосложения, так что Иливану казалось, вот-вот провалится пол под ними. Но нет, новые и новые особы появлялись, уже иные, опасаясь перелететь через перила, хватались за стойки, за карниз, но деревянное крыльцо выдержало.

На самой верхней ступени показался тучный человек в красном кафтане и тонким голоском заговорил на татарском языке. Люди называли его Шигалеем. Тот же Шигалей долго читал послание царя. Слово слабое зрением, то подносил бумагу близко к глазам, то обеими руками отодвигал от себя.

— Се аз царь и великий князь Иван Васильевич, государь всея Руси... Пожаловал есмь в своей отчине... чувашу и чере-

мису, и мордву землями, бортными лесами, отдал ясаки на три годы, — тянул он подобно дьякону на паперти. — Привести их к правде на том, что им государю царю и великому князю служить, хотети во всем добра и от города от Свяжского неотступным быти, и дани и оброку черным людям всякие платить, как их государь пожалует и как прежним царям платили, а полону им русского никак у себя не держать, весь освобожати...

Чуть передохнув, чтец добавил:

— Дана на Москве. Лета 7059¹... Подпись: царь и великий князь всея Руси... К жалованной грамоте приложена золотая печать.

Шигалей поднял над головой царское послание, нате, мол, все смотрите. Иливан заметил, как на подвешенной к жалованной грамоте золотой печати заиграли солнечные блики.

Толпа одобрительно загудела, кое-где, в особенности среди молодежи, взлетели в воздух войлочные шляпы.

Шигалей уступил место Воротынскому. Иливан, привстав на цыпочки, разглядел его как следует: среднего роста, с курчавой головой, аккуратный, ловкий.

— Слыхали ль вы, нагорные мурзы и тарханы? Слыхали ль вы, старейшины? — обратился он к толпе далеко слышным звонким голосом. — Великий князь являет вам милость, три года не будете платить ясак.

— Слыхали! Очень правильно! — заревел сход.

— Одобряем!

— Эриса!

— Навеки с русским народом!

Несмотря на то, что воевода обратился только к мурзам и воеводам, эти возгласы принадлежали всему сходу. Рядом с Иливаном толковали так:

— Хорошую грамоту прислал русский царь.

— Славная бумага!

— Ты подумай, три года без ясака!

— С золотой печатью, говорят, грамотка.

— Завладеть бы нам этой бумагой!

— Ее, конечно, мурзам дадут.

¹ Соответствует 1551 году.

— А нам она нужнее!

Дотемна обсуждали люди сегодняшние добрые вести. В задних рядах шли разговоры. В это время те, кто стоял впереди, видели, как мурз одаривали именными царскими подарками. Площадь опустела лишь с наступлением ночи. Воеводы Петр Шуйский и Григорий Булгаков в тот же день отправились в глуть Горной стороны принимать от народа клятву.

Иливан с отцом пошли по берегу Свяги к Вязовской горе. Сперва ни о чем не говорили. Что можно, обсудили давно, что нужно, обмозговали. Даже посмеялись от души. Как тут удержаться от улыбки — Ахтубай-то возвращается без шляпы. Как и все, он тоже орал «Эриса!», «Слава!». И шляпу свою швырял вверх. А однажды не поймал. Ее затоптали. Нашел потом не шляпу, а кусочек кожи величиной с ладонь.

Опасаясь гнева мурзы за опоздание, Иливан не стал заходить к кузнецам. Они присели на большой придорожный камень.

— Не собирается ли Тугай уходить? — спросил Ахтубай.

— Я не знаю. С чего бы ему уходить куда-то? — удивился Иливан.

— Как с чего? Ближе к дому, в нашу сторону. Город построен, зачем чувашскому сотнику тут околачиваться с личной охраной?

— В таком разе и мне с ним уйти, что ли?

— Придется. Мурза тебя не оставит.

— А ты, отец? Тоже домой?

— Мне надо остаться. Я не вернусь, пока не найду твою мать, Иливан.

— Эх, и мне бы с тобой! Разыскали бы маму и все вместе — домой, — размечтался юноша.

— Нет уж... Если бы не Тугай, может, работали бы вместе. Но мурза взял тебя в свою охрану, считай, в рабство.

— Ы-ых, злобные души! Чтоб их киреметь согнул! — сердито произнес Иливан, грозя кулаком в сторону Казани. — Не отпускают пленных, до смерти работать заставляют.

— У шереметьевских стрельцов каждый день справляюсь — говорят, больше ни одного человека оттуда не прибыло.

— Все равно ты жди, отец, не гляди на меня.

— Подожду, сынок. Пока не найду ее, сердцу не будет покоя.

Время позднее. На востоке намечается утренняя заря. Звезды покидают ночные игрища. Месяц, недавно казавшийся теплым, смотрит холодным взглядом. В его бледных лучах выступают крепостные стены.

Не только днем, но и ночью издалека виден Новгород Свяжский. И днем и ночью красив новый город на реке Свяге. Иливан еще не был в нем, им, простым лучником, туда хода нет. Но, авось, до отъезда удастся и ему заглянуть за его стены.

...Тугай думал, что с основанием нового города на Свяге и получением жалованной грамоты от великого князя для Горной стороны его ежедневные поездки к воеводам и Шигалею, а также хлопоты, связанные с приемом своих соплеменников, кончились. Но все сложилось иначе. Люди Горной стороны, арские чуваша и марийцы, продолжали прибывать. Вскоре в устье Свяги между Вязовой и Круглой горами скопилось целое войско. Многие прибывали на конях и с оружием, привозили для русских хлеб, крупу, мед...

На большое скопление народа, видимо, обратили внимание и русские воеводы. Один из них подал мысль, что-де ратных людей Горной стороны неплохо бы испытать на верность, послав их под Казань. Воевода Семен Иванович Микулинский, собрав мурз и сотников, так и сказал: «Хотим испытать на верность».

— Вы что, не верите нам? — с некоторой обидой спросил Тугай. — Вся Горная сторона дает клятву на верность русским, на вечную дружбу с ними. Спросите воеводу Булгакова, он только что вернулся из наших селений, сам принимал присягу...

— Верим, мурза Тугай, — тоже резко ответил Микулинский. — Но у нас в этом деле есть более существенное намерение. Мы походом ваших людей на Казань хотим показать татарским князьям, что Горная сторона окончательно отпала от них.

Эти слова показались убедительными, и мурзы согласились с воеводами.

На другой день сразу приступили к делу. Полку Горной стороны дали несколько пищальников, немалый отряд стрельцов и под наблюдением русских служилых людей ночью переправили через Волгу.

Чуваши и марийские воины храбро вступили в битву с казанцами, сначала потеснили скопления неприятеля. Но, видя, что у горных людей нет наряда, казанцы выкатили из крепости свои пушки и начали обстреливать конников и пеших. Чуваши и марийцы, также казаки и стрельцы, пришедшие им на подмогу, вынуждены были отступить. Захватив в полон татарского князя и несколько юз баши, они отошли к Волге. Ханские воины не посмели их преследовать.

На правой стороне Волги ратников, получивших боевое крещение, радушно встречали довольные произведенным на Казань впечатлением воеводы. Довольны они также были разгромом отрядов казанских князей Шах-Чуры и Яуша, грабивших чувашские и марийские селения. В преследовании и уничтожении грабителей отличился мурза Тугай со своим отрядом.

Микулинский, оценивая эти сражения, происшедшие за неделю, сказал, что поставленные цели достигнуты. Он и Шигалей преподнесли особо отличившимся подарки.

Под конец Микулинский доложил, что великий князь и бояре во исполнение великих намерений решили начать еще один поход на Казань и что русские войска уже двинулись в путь.

Два города

Иван Семенович Черемисинов прибыл в Новоград Свяжский в самые жаркие дни. Едва он успел спешиться с коня, как слуга Воротынского тут же повел его в баню воевод. Думный дворянин от души хлестался только что нарезанными в лесу и запаренными в кипятке вениками. А после бани вышел просвежиться и полюбоваться городом.

И впрямь город поставлен на красивом месте. Остров небольшой, будто сотворен руками человека — круглый такой, нет на нем ни речушек, ни оврагов. Со стороны Волги строения прикрывает густой ивняк.

Стены крепости толстые да высокие — и с разбегу не перепрыгнешь. По всей стене в два ряда бойницы. Ворота «зажаты» в крепкие башни. Возле них разбросано оружие — праща, тесак, пика, сулица, кистень, бердыш, чекан, шестопер, пернят, лук, секира... Их, видно, только что привезли и еще не успели убрать в склады.

Его сопровождал стремянный Воротынского, показывая богатые дома — здесь живет Шигалей, здесь — воевода Шереметьев, это — постоялый двор, рядом с ним дома татарских князей. Для себя Воротынский велел срубить длинный дом в несколько комнат, для великого князя тоже строят отдельные хоромы.

Сразу бросается в глаза, что город делится на две части; наверху живут воеводы, знатные вельможи, на склонах и у подножия ютится черный люд. Забираться выше простолудинам, очевидно, запрещено — вот и месят они грязь у самого берега.

На другой день Черемисинову по делам посольского приказа предстояло быть у Воротынского, но помешал непредвиденный случай.

В Новоград Свяжский из Казани прибыли татарские мурзы и сказали Шигалею, что глава ханского отряда Кучак надумал переправиться через Каму и удрать в Крым. Отряды Шигалея и Шереметьева спешно двигались вниз по берегу Волги наперехват Кучаку. Не утерпел и Черемисинов — с разрешения воеводы вместе с людьми Микулинского поскакал к югу.

Мимо Казани он со своей охраной прошмыгнул незамеченным. Затем вышел к Волге и с небольшим отрядом стрельцов переправился в поймы.

Шигалей с Шереметьевым также вовремя прибыли в Прикамье — переправы теперь всюду под наблюдением русских.

Когда забрались в глубь поймы, Черемисинову попались охотники-татары с той стороны. От них узнал: Кучак для переправы коней начал ладить тяжелые плоты. Черемисинов тут же послал гонца с вестью к Шигалею и Шереметьеву.

Русским теперь оставалось только лежать и ждать, когда кучаковцы управятся с плотами. Опаска была только в одном: не пронюхал бы глава ханского отряда про засаду и не перебрался бы через Каму где-нибудь выше.

Наконец в сумерках с той стороны показались одновременно несколько плотов. Впереди на лодках плыла довольно сильная охрана Кучака.

Шереметьев приказал стрельцам не вступать в бой с неверными, пока не переправятся все. И как только отряд Кучака вступил на берег, завязался короткий бой. Рус-

ских было намного больше — и татары не смогли удержаться долго.

На маленькую полянку к Шигалею и Шереметьеву привели улана Кучака, его младшего брата Багадура, их жен, привели князя Торчи, князей Барболсуна и Шах-Амета с их слугами. После небольшой перепалки между Шигалеем и Кучаком пленных взгромодили на коней. Шигалей распорядился:

— Погибших захоронить: татар — по-татарски, русских — по-христиански.

И отряд тронулся в обратный путь.

Через два дня неудачников-беглецов доставили в Новгород Свяжский, а оттуда отправили в Москву. В тот день весь город — начиная от воевод и кончая стрельцами — только и говорил о пленении Кучака.

Попытка самого надежного улана Сююнбике бежать в Крым живо обсуждалась в народе. Военачальники и ратники не могли взять в толк: как это улан, побывавший в стольких сражениях и ведавший наверняка, что с Волги глаз не спускают русские, как это он проявил неосторожность и, не проверив, есть кто или нет на этом берегу, рискнул на плотях переправиться через Каму?

Иван Черемисинов стоял и с удовольствием слушал рассуждения стрельцов о Кучаке.

— Жаль ханского воеводу, жаль, — проговорил пожилой стрелец. — И чего это он не спросил у меня совета, я бы научил его как нужно бежать. Теперь там у Сююнбике дела плохи, совсем даже плохи. С кем же осталась мать бедного хана в стольном граде? Уж не подумает ли она сама бежать к отцу в Ногай? Ежели еще подстеречь в Прикамье, не удастся ли схватить и сыночка Сююнбике?

— Иди подстереги, авось и поймаешь казанскую красотку, — подсказали другие.

— Царь бы тебе ценный подарок пожаловал, стрелец!

— Эх, будь у меня такие славные усищи, как у тебя, уж я бы не упустил раскрасавицу.

— А я не думаю ее упускать. Вот доложу воеводе, и он всех нас отрядит в Прикамье.

Однако события развернулись быстрее, чем предполагали стрельцы.

Сююнбике и ее маленького сына не было необходимости подстергать на Каме.

Среди казанцев господствовало смятение. Россияне перекрыли все дороги в Казань. В городе было не более двадцати тысяч воинов. Подданные изменяли хану, князья покидали столицу, искали прибежище то у нагайцев, то у Шигалея. Кшиляры бунтовали, вельможи враждовали меж собой. Ханству грозил полный развал. В один из августовских дней, когда в разгаре была жатва хлебов, на берегу Казанки собрался курултай — «сход всей земли казанской». После долгих споров с князьями народ решил: с малым ханом, лишь ползающим под столом, да с его сварливой матерью водворить порядок в Казани не удастся, их лучше отправить в Новоград Свяжский для передачи в руки Москвы и просить у русского царя нового хана для казанского престола.

Едва сход закончился, как город в Свяжском устье уже принимал послов. Карачи Бибар Растов и Нуралей Ширин, также ходжа Али Мирген о решении курултая доложили воеводам и Шигалею.

— Сююнбике с сыном берите себе. А нам на престол дайте нашего любимого Шигалея Шейх-Аулияровича, — сказал Гуралей Ширин.

— Это уж воля великого князя. Как великий князь скажет, так и будет, — пояснил им Шигалей.

— Курултай так решил. Мы просим князя отдать нам в ханы тебя.

— О вашем желании доложили великому князю, — заверил Воротынский, расстелив на столе пергамент, поданный ему карачи. — Сейчас вы можете возвращаться в Казань. За Сююнбике и ее сыном пошлем надежных людей...

Сказал вроде спокойно, но, когда послы ушли, не стал скрывать восторга. Оживились и другие. Трудно поверить этому: казанский хан с матерью будут в Новгороде Свяжском, а «сход всей земли казанской» просит Шигалея! Спать здесь не годится, надо все делать быстро. Как бы, перепугавшись, Сююнбике не бежала из города. Как бы казанские князья, войдя в сговор, не учинили измену. Скорее гонца к великому князю! Пусть знает князь про удачу в Казани и радуется. Да и про Шигалея надо доложить — без повеления великого князя не посадишь же его на престол.

Воевода вызвал Семена Ивановича Микулинского, долго беседовал с Шереметьевым, зная, что царь не зря прислал сюда Черемисинова, просил совета у него.

В тот же день с Горной стороны вернулся князь Петр Семенович Серебряный. Воротынский больше не стал раздумывать — пошлет в Казань любимцев царя, Серебряного и Черемисинова.

— Я бы прослыл глупцом, если бы отказался от такого поручения. Выеду хоть в полночь! — как обычно шумно заявил князь Серебряный. С радостью берусь за дело, Михайло Иванович. За Сююнбике да не поехать... Кто со мной? Иван Семенович, говоришь? И это для меня приятственно донельзя. С Черемисиновым можно кашу сварить.

Выехали на рассвете. Перед обедом, когда солнце стало припекать сильнее, отряд устроил привал на берегу Казанки. Из кремля вышли князья и уланы, чинно и с достоинством приблизились к русским.

— Готова ли мать хана казанского, бывшая жена Сахиб-Гирея Сююнбике, принять послов великого князя? — спросил воевода после обмена приветствиями.

— Мать хана Утямыша, регентша Сююнбике, к приему досточтимых послов готова, — с поклоном ответил князь Бибар Растов. — Она ждет в своей палате.

Группа татар и русских неторопливо поднялась в гору, к воротам кремля. Без единого слова миновала ворота, безмолвно прошла по двору. Как только подошли к дворцу хана, татары, встав по обе стороны входа, пропустили русских вперед.

Сююнбике находилась в светлице — передней половине большой палаты.

— Мать хана казанского, уважаемая Сююнбике! — обратился Петр Серебряный, встав в нескольких шагах от нее. — Более ты не вольна в своей судьбе. С сего момента ты переходишь в руки нашего Бога и в руки благочестивого русского царя, самодержца Московского. Собирайся...

Сююнбике, сидевшая с видом, будто смотрела в окно, повернулась на голос и вдруг, уткнувшись лицом в руки стоявшей рядом служанки, заплакала. Подбежало еще несколько женщин, все начали всхлипывать, плакать. Одна из них, упав на колени перед князем Серебряным, всхлипывая нарочито громко, принялась умолять:

— Русский князь, будь добр, не увози нашу ханшу сейчас. Нездорова она. Мне не веришь — спроси у этих женщин. Аллах не даст соврать, русский князь.

Когда бы не предварительная договоренность с Черемисиновым и проводившими их воеводами, для князя это было бы полной неожиданностью. Хорошо, что еще до выезда предусмотрели, что делать, если татары пойдут на попятную, как быть, если Сююнбике закапризничает или скажется больной.

Князь Серебряный вышел из светлицы и справился у татарских князей о здоровье хана и ее матери.

— Сююнбике вроде не совсем здорова, — ответил Али Мирген.

— Почему сразу не сказали об этом? Скрыли ее болезнь, а мы — красней, — стал выговаривать князь.

— Прости, князь, — сказал Бибар Растов. — Забыли предупредить.

— Договоримся так. — Князь не выдал перемены в настроении. — Сююнбике может оставаться в кремле еще десять дней. Однако выходить из палаты она не вольна. Да приставить к ней неотлучную стражу. Чтоб на себя руки не наложила. А вы, князья и уланы, ходжи и шейхи, оказавшие нам любезную встречу, будете отвечать за ее жизнь головой. Есть что спросить — спрашивайте, охотно вам растолкую, — с достоинством завершил свою речь Петр Серебряный.

— Все понятно, князь, так и будет, как сказано, — ответил за всех Али Мирген.

Князья и уланы, ходжи и шейхи проводили воеводу до берега Казанки...

Видимо, от нетерпеливого ожидания эти десять дней показались воеводам Новограда Свяжского очень длинными. В доме Воротынского для ханши и ее сына приготовлено несколько светлых палат, и тарантасы, на которых повезут их, уже смазаны дегтем, а день поездки за ханом и ее матерью никак не настает.

Из Москвы прибыли князь Дмитрий Палецкий и окольный Алексей Адашев. Великий князь уполномочил их отвезти Шигалея в Казань и посадить там на престол.

До приезда князя и окольного Шигалей ходил такой

окрыленный, шутил к месту и не к месту, со всеми беседовал добродушно и весело, а вот побывал у Палецкого с Адашевым и сразу голову повесил. «По ошибке стал он другом царя, — ворчал он, вспоминая разговор с Адашевым. — Вчера, как встретились, даже обниматься лез. Словно кот возле кринки со сметаной увивался подле меня. А за пазухой сам камень припас. Сидел бы в Москве, грея свой зад, нет — приперся сюда, негодник...»

Под вечер, когда Адашев еще раз позвал его на беседу, Шигалей, хоть и не был занят ничем, долго оставался у себя. Пусть-де поворчит, побеснуется окольный царя, пусть не мнит, что побегу сломя голову... Видали мы таких думных дворян. Пусть знает наперед, как привозить подобные условия для казанского хана.

И в беседе с окольным будущий хан был дерзок, пытался возражать Адашеву. Не нравилось ему условие, которое привез окольный — отдать Шигалею только Луговую сторону, поскольку Горная сторона отныне приписана к Новогороду Свяжскому.

— Если бы я не знал тебя, хан Шигалей, то осерчал бы не на шутку за непослушание, — примирительно, но и неуступчиво заговорил Адашев. — Когда беседуешь с невестой, веди себя как жених. Так, кажется, молвили встарь? Ладно уж, оставим словесную перепалку. Я и сам тебе сочувствую, Шигалей Шейх-Аулиярович. За Горную сторону казанские князья не раз упрекнули тебя.

Глаза Шигалея заблестели, он посмотрел на окольного тепло, с благодарностью.

— Все-таки ты умница, Алексей Федорович, — признался он. — Понял, почему душа моя не на месте. Только не договаривал до конца. Мало сказать, не простят — живьем проглотят, Алексей Федорович. Отобрать у Казани Горную сторону и сделать меня ханом — не насмешка ли это надо мной? По ту сторону Волги — твои владения, а на этом берегу не ты хозяин — каково это слышать, Алексей Федорович? — Шигалей придвинулся ближе к окольному и спросил заискивающим тоном: — А все же признайся, Алексей Федорович, кто подсказал такое условие Ивану Васильевичу? Язык за зубами держать умею, не бойся.

Адашев ответил ему с усмешкой:

— Ей-богу, не знаю. По-моему, государь сам так задумал. Как бы там ни было, об условиях впервые я услышал от великого князя.

— Хитер ты, окольниковый! — засмеялся Шигалей. — Все валишь на великого князя. А вы с Сильвестром только, выходит, сидели, наострив уши. Так, что ли?

— Наше дело такое, — сказал Адашев. — Царь повелевает, мы исполняем. Прикажет прыгнуть в Свяягу — надо прыгать. Мы все исполнители воли великого князя, Шигалей Шейх-Аулиярович.

— Наверно, наверно, — Шигалей уж отчаялся выведать у окольникового что-нибудь. — Если ты уж готов прыгнуть в воду, мне тут и говорить нечего. Остается одно: убираться в Казань и сразу начинать войну с князьями и мурзами.

— Надобно снова стать ханом, Шигалей Шейх-Аулиярович. И на сей раз — надолго, — с улыбкой заметил окольниковый. — А что, мы прибыли в Новоград Свяжский только затем, чтобы полеживать, задрать ноги, да поплевывать в потолок? Не на отдых нас сюда прислали, хан Шигалей. Видишь, построенный вами город затмил Казань. Стало быть, ты поймал синицу, что дважды вырывалась из твоих рук. Теперь держи крепче — третий раз вступаешь на престол. Надеюсь, он навсегда останется в твоих руках. Завтра мои люди едут в ханский кремль наводить порядок, чтобы и духу Сафа-Гирея и Сююнбике там не было. Может, и твои касимовцы не будут там лишними?

— Не будут, не будут, — согласился Шигалей. — Пусть едут и вместе готовят для меня дворец.

За Сююнбике снова послали князя Серебряного и стрелецкого голову Черемисинова. Как и в тот раз, отряд Черемисинова остался ждать на берегу Казанки. Князь Петр Серебряный также в кремль не пошел, вместе с другими думными людьми находился в отряде стрельцов и пищальников.

В ожидании регентши воины запели, воевода не стал им запрещать — пусть немного отведут себе душу. Но как только в устье Казанки показалась разукрашенная ладья хана, махнул рукой:

— Повеселились — и будет. Хана и родительницу надобно принимать с почестями.

Стрельцы и пищальники выстроились по обоим берегам, взяв орудие в руки, как на смотру.

Ближе к встречающим гребцы перестали работать веслами, и вскоре ладья, получившая разгон, ткнулась в песчаный берег. По трапу с носа ладьи сошли на землю посланные в кремль люди Серебряного и казанские князя Бибар Растов с ходжой Али-Миргенем. Бибар Растов сказал воеводе, что по решению «схода всей земли казанской» хан и его мать для препровождения в Москву доставлены. Кроме них, были выданы крымские князья с их женами и детьми, два сына улана Кучака, сын улана Ак-Мухаммеда и их прислужники.

Сопровождать их выделены князь Хосров и ходжа Али-Мерген.

— Названные люди и их прислужники находятся в этой ладье. Примите, просим, — сказал Растов, показывая на пленников, разодетых, как на праздник.

— Примем, примем, — Серебряный с удовлетворением поглядел на своих людей. — Вы там никого не забыли, головы стрелецкие?

— Всех, кого называл князь Растов, привезли, воевода! — весело прокричал один из них.

— Ну, с Богом, в путь. Кормчий, держи на Новоград Свяжский! — распорядился воевода и по сходням поднялся на ханскую ладью, за ним последовали татарские князья, следующие в город на Свяге, стрелецкие головы и думные люди.

Ладья уже должна была тронуться, гребцы уже опустили было весла на воду, как в это время послышался женский вопль:

— Аман!¹ Бисмиллах!² И вправду ли увозят нас? Такая ли судьба выпала на мою долю?

Это был голос Сююнбике. Увидев в пойме много провожающих, мать хана, бледная, осунувшаяся, встала на ноги и, словно пытаясь улететь, замахала руками. Кто-то, сорвав со своей головы, подал ей белый платок. Сююнбике подняла его над головой, и платок долго развевался на ветру.

¹ А м а н (татар.) — пожалуйста.

² Б и с м и л л а х — именем Аллаха.

Женщины на ладье то и дело пронзительно вскрикивали и всхлипывали, всхлипывали беспрестанно.

Воевода дал знак кормчему и гребцам подождать: ханше и ее знатным спутникам надо было попрощаться с Казанью.

Наконец Сююнбике, видно, устала держать платок над головой, присела и уткнулась лицом в колени прислужницы, чтобы наплакаться вдоволь. Платок, вылетевший из рук, отнесло ветром чуть в сторону и вот, словно раненый лебедь, тихо опустился на воду, покачался немного на волнах и скрылся из глаз...

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От составителя</i>	3
---------------------------------	---

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Легенды	5
Земля Улыпа	—
Гора Чабырлы	7
Мост Азамата	8
Чемень	9
Лунная девушка	10
Народные заговоры, заклинания	11
Народные песни	19

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЦЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Ермей Рожанский	33
О чувашах	—
Хведи Чуваш	37
«Куковала кукушка на елке...»	—
«Жил, на черной работе состарясь...»	—
«Плачет жалобно чибис в осоке...»	38

РАННЯЯ ЧУВАШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Никита Бичурин	39
Байкал	40
Максим Федоров	51
Мы чувашами родились...	—
Спиридон Михайлов	53
«О ты, Юнга...»	54
«Человек предполагает, а бог располагает» (Хитрая кошка)	—
Разговор на постоялом дворе	55
Злополучный сын	58

НОВОПИСЬМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Иван Яковлев	65
Духовное завешание чувашскому народу	66
Нужда	69
Как мужик искал пропавшую лошадь	71

Михаил Федоров	72
Леший	73
Федор Павлов	78
В деревне	79

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
(первая половина)

Михаил Акимов	112
Шутка	113
Удивительно!	115
Константин Иванов	116
Нарспи	117
Михаил Сеспель	184
Или! Или! Лима савахвани!	185
Чувашский язык	186
Чувашскому юноше	187
Стальная вера	—
К морю	189
Воистину воскрес	191
Чуваш! Чуваш!	192
Отныне	194
Голодный псалом	—
Тяжелые думы	195
Метри Юман	197
Ветла Пюлеха	198
Конокрады	204
Илья Тукташ	208
Родина	209

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
(вторая половина)

Петр Хузангай	210
Песни Тилли	211
Я живу в России	242
Были мы, и есть, и будем!	243
Яков Ухсай	245
Дед Кельбук	246
Лирика Якова Ухсай	271
Меня татаринном считают	272
Хведер Уяр	275
Тенета	276
Кузьма Турхан	354
Свияга впадает в Волгу	355

Учебное издание

ЧУВАШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

**Хрестоматия для школ
с многонациональным составом
учащихся и русских школ**

10 класс

**Автор-составитель
Пушкин Василий Николаевич**

**Редактор *Р.И. Крысина*
Художник *В.Н. Гончаров***

Художественный редактор *И.Е. Калентьева*

Технический редактор *А.В. Семенова*

**Корректоры *З.И. Гаврилова, О.Г. Васильева, Н.Г. Орлова,
Н.Н. Маслова***

Компьютерная верстка *Е.Л. Карпеевой*

Общероссийский классификатор ОК 005-93—95 6600. Подписано к печати 15.11.07. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,0. Учетно-изд. л. 20,11. Тираж 10 000 экз. Заказ № К-7494. Изд. № 63.

ГУП Чувашской Республики «Чувашское книжное издательство»
Минкультуры Чувашии, 428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13.
Отпечатано в ГУП «ИПК «Чувашия»,
428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13.



ЧУВАШСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО